

ПИСАТЕЛЬНИЦА, ЧЬИ КНИГИ ЗАВОРОЖИЛИ ВЕСЬ МИР

Джоанн Харрис



ПЯТЬ
ЧЕТВЕРТИНОК
АПЕЛЬСИНА

Annotation

От матери в наследство Фрамбуаза получила альбом с кулинарными рецептами – негусто, если учесть, что ее брату Кассису досталась ферма, а старшей сестре Рен-Клод – винный погреб со всем содержимым. Но весь фокус в том, что на полях альбома, рядом с рецептами разных блюд и травяных снадобий, мать записывала свои мысли и признания относительно некоторых событий ее жизни – словом, вела своеобразный дневник. И в этом дневнике Фрамбуаза пытается найти ответы на мрачные загадки прошлого.

- [Джоанн Харрис](#)
 - [Слова благодарности](#)
 - [Часть первая](#)
 - [1](#)
 - [2](#)
 - [3](#)
 - [4](#)
 - [5](#)
 - [6](#)
 - [7](#)
 - [8](#)
 - [Часть вторая](#)
 - [1](#)
 - [2](#)
 - [3](#)
 - [4](#)
 - [5](#)
 - [6](#)
 - [7](#)
 - [8](#)
 - [9](#)
 - [10](#)
 - [11](#)
 - [12](#)
 - [13](#)
 - [14](#)

- [15](#)
- [16](#)
- [Часть третья](#)
 - [1](#)
 - [2](#)
 - [3](#)
 - [4](#)
 - [5](#)
 - [6](#)
 - [7](#)
 - [8](#)
 - [9](#)
 - [10](#)
 - [11](#)
 - [12](#)
 - [13](#)
 - [14](#)
- [Часть четвертая](#)
 - [1](#)
 - [2](#)
 - [3](#)
 - [4](#)
 - [5](#)
 - [6](#)
 - [7](#)
 - [8](#)
 - [9](#)
 - [10](#)
 - [11](#)
- [Часть пятая](#)
 - [1](#)
 - [2](#)
 - [3](#)
 - [4](#)
 - [5](#)
 - [6](#)
 - [7](#)
 - [8](#)
 - [9](#)

- [10](#)
- [11](#)
- [12](#)
- [13](#)
- [14](#)
- [15](#)
- [16](#)
- [17](#)
- [18](#)
- [19](#)
- [20](#)
- [21](#)
- [22](#)

- [notes](#)

-

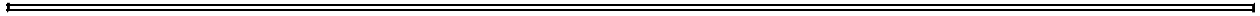
- [1](#)
- [2](#)
- [3](#)
- [4](#)
- [5](#)
- [6](#)
- [7](#)
- [8](#)
- [9](#)
- [10](#)
- [11](#)
- [12](#)
- [13](#)
- [14](#)
- [15](#)
- [16](#)
- [17](#)
- [18](#)
- [19](#)
- [20](#)
- [21](#)
- [22](#)
- [23](#)
- [24](#)

- [25](#)
- [26](#)
- [27](#)
- [28](#)
- [29](#)
- [30](#)
- [31](#)
- [32](#)
- [33](#)
- [34](#)
- [35](#)
- [36](#)
- [37](#)
- [38](#)
- [39](#)
- [40](#)
- [41](#)
- [42](#)
- [43](#)
- [44](#)
- [45](#)
- [46](#)
- [47](#)
- [48](#)
- [49](#)
- [50](#)
- [51](#)
- [52](#)
- [53](#)
- [54](#)
- [55](#)
- [56](#)
- [57](#)
- [58](#)
- [59](#)
- [60](#)
- [61](#)
- [62](#)
- [63](#)

- [64](#)
- [65](#)
- [66](#)
- [67](#)
- [68](#)
- [69](#)
- [70](#)
- [71](#)
- [72](#)
- [73](#)
- [74](#)
- [75](#)
- [76](#)
- [77](#)
- [78](#)

○

- [1](#)
- [2](#)
- [3](#)
- [4](#)
- [5](#)



Джоанн Харрис

Пять четвертинок апельсина

*Жоржу Пайену,
моему любимому дедуле (aka P'tit Père),
который все это видел собственными глазами*

Слова благодарности

От всего сердца благодарю тех, кто с оружием в руках защищал эту книгу: Кевина и Анушку, прикрывавших меня артиллерийским огнем; моих родителей и брата, постоянно меня поддерживавших и подкармливавших; а также Серафину, Принцессу-воительницу, которая вышла на мою защиту с фланга, и Дженнифер Луитлен, отвечавшую за обеспечение внешних связей. Не менее благодарна я и Говарду Морхайму, победившему пришельцев с Севера, и моему верному издателю Франческе Ливерсидж, а также Джо Голдсуорси, который вывел на поле боя тяжелую артиллерию издательства «Трансуорлд», и моему верному знаменосцу Луизе Пейдж; ну и, разумеется, Кристоферу, за то что всегда был рядом.

Часть первая

Наследство

После смерти матери нам досталось наследство: мой брат Кассис получил ферму; моя сестра Рен-Клод – роскошный винный погреб; а я, младшая, – материнский альбом и двухлитровую банку с заключенным в нее черным трюфелем (из Перигё) размером с теннисный мяч, одиноко плававшим в подсолнечном масле; стоило приоткрыть крышку банки, и сразу чувствовался густой аромат влажной земли и лесного перегноя. На мой взгляд, несколько неравноценное распределение богатств, однако в те времена мать была подобна силам природы и раздавала свои дары исключительно в зависимости от собственных прихотей и душевных порывов; во всяком случае, предвидеть или понять, на чем основана странная логика того или иного ее поступка, было совершенно невозможно.

Впрочем, Кассис всегда утверждал, что именно я – ее любимица.

Ну, допустим, пока мать была жива, я этого что-то не замечала. У нее вечно не хватало времени и сил быть к нам хотя бы просто снисходительной, даже если б она и обладала склонностью проявлять к кому-то снисходительность. Но подобной склонности у нее не было и в помине, особенно если учесть, что после гибели мужа она одна тянула на себе все хозяйство, а мы со своими шумными играми, драками и ссорами ей скорее просто мешали; во всяком случае, утешением в тяжелой вдовой доле мы ей точно не служили. Если мы заболели, она, конечно, за нами ухаживала – заботливо, но как-то неохотно, словно подсчитывая, во что ей обойдется наше выздоровление. И даже нежность к нам она проявляла самым примитивным образом: могла, например, позволить вылизать кастрюльку из-под чего-нибудь вкусного или соскрести с противня пригоревшие остатки самодельной пастилы, а то вдруг с неловкой улыбкой возьмет да сунет тебе горсть земляники, собранной в носовой платочек в зарослях за огородом. Поскольку Кассис остался единственным мужчиной в семье, мать обращалась с ним еще суровее, чем со мной и Ренетт. Сестра была очень хорошенькой, на нее с ранних лет оборачивались на улице мужчины, и мать, будучи весьма тщеславной, втайне гордилась тем, что ее старшая дочь пользуется таким вниманием. Ну а меня, младшую, она, по всей видимости, считала просто лишним ртом, ведь я не была ни сыном, который впоследствии поведет хозяйство и, возможно, расширит ферму, ни такой красоткой, как Ренетт.

От меня всегда были одни неприятности; я вечно шла с ротой не в

ногу, вечно спорила и дерзила, а после гибели отца и вовсе отбилась от рук, стала угрюмой. Я была тощая, с такими же темными, как у матери, волосами, такими же длинными некрасивыми руками и широченным ртом; я даже плоскостопием страдала, как она. Должно быть, я здорово на нее походила – стоило ей взглянуть на меня, она каждый раз сурово поджимала губы, а на ее лице появлялось выражение стоической покорности судьбе. Словно, оценив все мои достоинства и понимая, что именно мне, а не Кассису и не Рен-Клод суждено увековечить память о ней, она все-таки явно предпочла бы для этой памяти более пристойный сосуд.

Возможно, поэтому именно мне мать оставила свой альбом, не имевший никакой ценности, если не считать мыслей и озарений, которые маленькими буквами были рассыпаны на полях рядом с кулинарными рецептами – ее собственными и вырезанными из газет и журналов – и составами целебных травяных отваров. Это и дневником-то назвать нельзя, там нет почти никаких дат и никакого порядка в записях. Дополнительные страницы вставлены как попало, а те, что выпали, попросту вшиты мелкими стежками; некоторые странички из папиросной бумаги, тонкой, как луковая шелуха, другие же, наоборот, чуть ли не из картона, старательно вырезанного ножницами по размеру потрепанного кожаного переплета. Всякое заметное событие своей жизни мать отмечала либо очередным кулинарным рецептом собственного изобретения, либо новым вариантом тех блюд, которые издавна известны и любимы всеми. Кулинария была ее тоской по прошлому, ее торжеством, насущной потребностью, а также единственным выходом для творческой энергии. Первая страница в альбоме посвящена гибели моего отца и носит отпечаток какого-то жутковатого юмора: под его весьма нечетким снимком намертво приклеена лента Почетного легиона, а рядом аккуратно, мелким почерком записан рецепт блинчиков из гречневой муки. Ниже красным карандашом выведено: «Не забыть: выкопать иерусалимские артишоки. Ха! Ха! Ха!»

Кое-где мать более словоохотлива, но и там множество сокращений и таинственных упоминаний. Одни события для меня узнаваемы, другие слишком зашифрованы, третьи явно искажены под влиянием момента. Иногда у нее и вовсе все выдуманно, по крайней мере, кажется ложью или чем-то уж слишком невероятным. Во многих местах попадаются кусочки текста, написанного мельчайшим почерком на языке, которого я не в состоянии понять: «Ini tnawini inoti plainexini. Ini canini inton inraebi inti upani egomni»^[1]. А порой это просто слово, нацарапанное будто случайно вверху страницы или где-нибудь на полях. Например, слово «качели», старательно выведенное синими чернилами, или оранжевым карандашом:

«грушанка, бездельник, пустышка». А еще на одной странице я обнаружила что-то вроде стихотворения, хотя ни разу не видела, чтобы мать открыла хоть какую-нибудь книгу, кроме книги кулинарных рецептов.

Ах, эта сладость,
Во мне скопившаяся!
Она подобна соку яркого плода,
Созревшей сливы, персика или абрикоса.
Возможно, дыни.
Во мне ее так много,
Этой сладости...

Данное проявление ее натуры удивило и встревожило меня. Значит, моя мать, эта твердокаменная женщина, казалось бы совершенно чуждая всякой поэзии, в тайниках своей души порой рождала подобные мысли? Она с такой свирепостью всегда отгораживалась от нас – да и от всех прочих, – что мне неизменно казалась попросту неспособной на нежные чувства и страстные желания.

К примеру, я никогда не видела ее плачущей. Она и улыбалась-то редко, и то лишь на кухне, в окружении набора излюбленных приправ, непременно находившихся у нее под рукой; в такие минуты она то ли разговаривала сама с собой, то ли что-то монотонно напевала себе под нос, точно по списку произнося названия разных трав и специй: «корица, тимьян, перечная мята, кориандр, шафран, базилик, любисток»; иной раз это перечисление прерывалось замечанием вроде: «Надо черепицу на крыше проверить» или: «Надо, чтобы жар был ровный. Если мало жара, то блины выйдут бледные, если много – масло гореть начнет, дым пойдет, а блины получатся слишком сухие». Позже я поняла: она пыталась меня учить. Впрочем, я слушала ее внимательно, потому что только во время этих уроков на кухне мне удавалось заслужить капельку ее одобрения; ну и потому, конечно, что любая, даже самая беспощадная война время от времени требует передышки и амнистии пленным. Моя мать родом из Бретани, так что рецепты тамошних деревенских кушаний всегда были ее любимыми. Блинчики из гречневой муки мы ели в самых разных видах и с самой разной начинкой, в том числе и в виде блинного пирога, например *galette bretonne*^[2]. Эти пироги мы также продавали в Анже, расположенном немного ниже по течению Луары. Там же мы продавали и домашний козий сыр, и домашнюю колбасу, и, конечно, фрукты.

Мать всегда хотела завещать ферму Кассису. Но именно он первым из нас, невольно ее послушавшись, покинул дом и уехал в Париж. Всякая связь с ним оборвалась; разве что раз в год на Рождество приходила поздравительная открытка с его подписью; и когда спустя тридцать шесть лет мать умерла, полуразвалившийся дом на берегу Луары уже ничем не мог заинтересовать Кассиса. Я выкупила у него ферму, истратив на это все свои сбережения, всю свою «вдовью долю», и, кстати, заплатила недешево, но это была честная сделка, брат с радостью ее заключил, понимая, что отцовскую ферму стоило бы сохранить.

Однако теперь все переменялось. Дело в том, что у Кассиса остался сын, который женат на Лоре Дессанж, той самой, что пишет книжки по кулинарии, и у них в Анже свой ресторан под названием «Деликатесы Дессанж». При жизни брата я всего несколько раз видела его сына, и тот совершенно мне не понравился. Темноволосый, вульгарный и уже начинающий заплывать жирком, как и его отец; но физиономия все еще довольно смазливая, и ему об этом прекрасно известно. Он все суетился, все пытался мне угодить, называл меня тетушкой, сам принес мне стул, постарался усадить как можно удобнее, сам приготовил кофе, положил сахар, налил сливок, а потом стал расспрашивать о моем здоровье и всячески мне льстить, так что меня от этих сладких слов и ухаживаний чуть не стошнило. Кассису к тому времени уже перевалило за шестьдесят, сердце у него стало сдавать, и он сильно отекал; впоследствии коронарная недостаточность и свела его могилу. На сына своего он взирал с нескрываемой гордостью, в его глазах читалось: «Ты посмотри, какой чудесный у меня сынок! Какой у тебя прекрасный внимательный племянник!»

Кассис назвал его Янником в честь нашего отца, но мне это любви к племянничку не прибавило. Помнится, мать тоже терпеть не могла всех этих условностей, этого фальшивого, «семейного» сюсюканья. И мне отвратительны бесконечные объятия и слащавые улыбки. Совершенно не понимаю, почему родственная связь должна непременно вызывать в людях взаимную симпатию. Неужели мы должны любить друг друга только потому, что в нашей семье столько лет тщательно хранится одна тайна, связанная с пролитой кровью?

Нет-нет, не думайте, что я забыла об этом деле. Ни на минуту не забывала, хотя другие очень даже старались забыть, Кассис – дряхлый писсуар в сортире одного бара в парижском пригороде, Ренетт – трудящаяся билетершей в порнокинотеатре на площади Пигаль и, точно бродячая собачонка, стараясь пристать то к одному хозяину, то к другому. Вот чем

кончилась ее любовь к помаде и шелковым чулкам. Дома-то она была Королевой урожая, красавицей, другой такой во всей деревне не сыскать. А на Монмартре все женщины выглядят одинаково. Бедная Ренетт!

Я знаю, о чем вы думаете: вам не терпится, чтобы я поскорее продолжила рассказ о своем прошлом. А точнее, поведала ту самую историю, которая всех вас теперь волнует. Верно, это единственная ниточка в моем изрядно запятнанном старом флаге, которую видно достаточно ясно. Вам хочется послушать о Томасе Лейбнице. Хочется выяснить все до конца, разложить по полочкам все наши поступки. Только сделать это ох как непросто. Ведь в моей истории, как и в материнском альбоме, страницы не пронумерованы. Да и начала-то, собственно, нет, а конец выглядит отвратительно, точно неподшитый, обтрепавшийся подол юбки. Но я уже стара – похоже, все здесь слишком быстро стареет, наверно, воздух такой, – и у меня свой собственный взгляд на те события. Так что торопиться не буду, а вам придется во многом разобраться и многое понять. Почему моя мать поступила именно так? Почему мы так долго скрывали правду? И почему я решила именно сейчас поведать эту историю людям, совершенно мне незнакомым, которые к тому же уверены, что целую жизнь можно уместить в сжатом виде на двух полосах воскресного приложения, снабдив материал парочкой фотографий и цитатой из Достоевского? Дочитал, страницу перевернул – и дело с концом. Нет. На этот раз они у меня каждое слово запишут. Конечно, я не могу их заставить все напечатать, но, Богом клянусь, они выслушают меня. Это я заставлю их сделать.

Меня зовут Фрамбуаза Дартижан. Здесь я и родилась, в этой самой деревне Ле-Лавёз, что на Луаре, километрах в пятнадцати от Анже. В июле мне стукнет шестьдесят пять; за эти годы я высохла, пожелтела, как сушеный абрикос, и насквозь пропеклась солнцем. У меня две дочки: Писташ^[3] замужем за банкиром из Ренна, а Нуазетт^[4] еще в 89-м переехала в Канаду и пишет мне два раза в год. Есть у меня и двое внуков, они каждое лето приезжают ко мне на ферму. Хожу я в черном – это траур по мужу, умершему двадцать лет назад. Под фамилией мужа я и вернулась тайком в родную деревню, чтобы выкупить ферму, некогда принадлежавшую моей матери, но давным-давно заброшенную и наполовину уничтоженную пожаром и непогодой. В Ле-Лавёз я известна под именем Франсуазы Симон, la veuve Simon^[5], и никому даже в голову не придет связать меня нынешнюю с семейством Дартижан, покинувшим эти края после того ужасного случая. Сама не знаю, почему мне понадобилась родительская ферма. И в эту деревню меня, возможно, потянуло из чистого упрямства. Впрочем, я всегда была упрямой. А Ле-Лавёз – моя родина, здесь мои корни. И годы, прожитые с Эрве, я теперь воспринимаю как пробелы своей биографии, как тихие полосы воды, которые порой встречаются среди штормящего моря – некие мгновения безмятежного ожидания и забвения. Но родную деревню я никогда по-настоящему не забывала. Ни на мгновение. Какая-то часть моей души всегда оставалась там.

Понадобился почти год, чтобы старый дом вновь стал пригодным для жилья; все это время я обитала в южном крыле – там, по крайней мере, хоть крыша сохранилась. Пока рабочие плитку за плиткой меняли черепицу, я работала в саду, вернее, в том, что от него осталось, полола, подрезала ветки, выдирала из земли здоровенные плети хищной омелы, оплетшей стволы. Моя мать страстно любила все фруктовые деревья, кроме апельсиновых; апельсины она на дух не переносила. Она и всех нас в угоду собственной прихоти назвала в честь различных фруктовых лакомств. Кассис^[6] получил имя в честь ее пышного пирога с черной смородиной, я, Фрамбуаза^[7], – в честь ее малиновой наливки, а наша Ренетт, Рен-Клод, – в честь ее знаменитых тартинок со сливовым джемом^[8]. Этот джем она варила из слив-венгерок, росших вдоль всей южной стены дома, сочных,

как виноград, и с середины лета истекавших соком из-за впивавшихся в них ос. Одно время у нас в саду было больше ста деревьев: яблони, груши, сливы, обычные и венгерки, вишни, айва, я уж не говорю о стройных рядах аккуратно подвязанных кустов малины, о целых полях клубники, о зарослях крыжовника, смородины и коринки; все эти ягоды сушили, консервировали, превращали в конфитюр и наливки, а также в крошечные круглые пирожные из *rôte brisée*^[9] со сладким кремом и миндальной пастой. Мои воспоминания наполнены этими ароматами, этими красками, этими названиями. С фруктовыми деревьями мать обращалась точно с любимыми детьми. Если случались заморозки, она готова была истратить все наше драгоценное топливо, окуривая сад. Каждую весну в землю у корней бочками вносился навоз. Летом, чтобы отпугнуть птиц, мы привязывали к концам веток фигурки из фольги, которые шуршали и трепетали на ветру, а также туго натягивали по всему саду проволоку и развешивали на ней пустые консервные банки, своим дребезжанием отпугивавшие птиц; еще мы делали «мельнички» из разноцветной бумаги, которые крутились как бешеные. В итоге наш сад весь сверкал и звенел, украшенный как для карнавала, и казалось, будто мы среди лета устроили рождественскую вечеринку.

У каждого материнского дерева имелось свое имя. «Прекрасная Ивонна» – так мать с нежностью называла старую кривоватую грушу. «Аквитанская роза, бере короля Генриха, – машинально произносила она, проходя мимо, и голос ее звучал мягко и задумчиво. – Конферанс. Вильямс. Гислен де Пентьевр». И невозможно было понять, то ли она обращается ко мне, идущей рядом, то ли разговаривает сама с собой.

Ах, эта сладость...

Теперь в саду меньше двух десятков стволов. Впрочем, мне самой и этого более чем достаточно. Особой популярностью пользуется моя кисленькая вишневая наливка, а вот название этого сорта вишни я уже не помню, из-за чего чувствую себя немного виноватой. Готовить наливку проще некуда, главное – не вынимать из ягод косточки. Берете широкогорлую банку, кладете в нее слоями ягоды и сахар и каждый слой заливаете чистым спиртом – лучше всего использовать кирш, но можно водку или даже арманьяк, – и так до половины банки. Сверху долейте еще немного спирта и ждите. Каждый месяц надо аккуратно встряхивать банку, чтобы оставшийся сахар окончательно растворился и прошел внутрь. За три года мякоть вишен выцветет добела, и весь красный цвет вберет в себя наливка; покраснеют даже вишневые косточки, даже крошечное ядрышко внутри станет ярко-розовым, и его вкус и аромат пробудят воспоминания о

давно минувшей осени. Наливку следует разливать в ликерные рюмки и непременно подавать каждому ложечку для вылавливания вишен. Вишенку следует держать во рту, пока она, пропитанная ликером, не растает на языке. Сперва ее надо прокусить и выпустить изнутри самую вкусноту, а потом долго катать кончиком языка, словно бусину от четок, пытаясь вспомнить, как эта вишенка зрела тем жарким летом, сменившимся не менее жаркой осенью, когда наш колодец совершенно пересох, а в саду завелось немыслимое количество ос; вот так все минувшие дни и годы, утраченные и вновь обретенные, воскресают в памяти благодаря лишь крошечному вишневому ядрышку.

Да знаю я, знаю. Вам не терпится поскорее перейти к сути истории. Но ведь и прочие подробности не менее важны. Таков уж мой способ повествования; и это только мое дело, сколько времени я потрачу на рассказ. Если уж мне понадобилось целых пятьдесят пять лет, чтобы его начать, то теперь дайте мне и закончить его так, как мне самой нравится.

Когда я вернулась в Ле-Лавёз, то была почти уверена: никто не узнает меня. И расхаживала повсюду открыто, даже несколько вызывающе. Я решила: если кто и впрямь меня вспомнит, если разглядит в моем облике черты матери, лучше мне сразу это заметить. Предупрежден – значит, вооружен.

Каждый день я ходила на берег Луары и сидела на плоских камнях, где когда-то мы с Кассисом ловили линей. От нашего Наблюдательного поста остался только пенёк, и я на этом пне немного постояла. Теперь и некоторые из Стоячих камней обвалились, однако на Скале сокровищ все еще виднелись вбитые нами колышки, на которых мы развешивали свои трофеи: гирлянды, ленты, а потом и голову той проклятой Старой щуки, когда ее наконец удалось поймать.

Я посетила табачную лавку Брассо – теперь там хозяйничает его сын, но и старик еще жив, и глаза у него по-прежнему черные, острые, гибельные; потом заглянула в кафе Рафаэля и на почту, которой заведует Жинетт Уриа. Я даже к памятнику павшим воинам сходила. С одной стороны там высечен в камне список из восемнадцати имен наших солдат, убитых во время войны, и над ними надпись: «Они погибли за Родину». Я заметила, что имя моего отца стесано стамеской, теперь между «Дариус Ж.» и «Фенуй Ж.-П.» темнеет лишь грубая бороздка. С другой стороны памятника прикреплена бронзовая табличка с десятью именами, написанными более крупно. Эти имена мне и читать было незачем, я и так знала их наизусть. Но все же притворилась, будто впервые вижу, поскольку не сомневалась: кто-нибудь непременно возьмется рассказать мне ту

трагическую историю. А также, возможно, покажет то самое место у западной стены церкви Святого Бенедикта и пояснит, что здесь каждый год служат особую мессу по погибшим и вслух зачитывают их имена со ступеней мемориала, а потом возлагают к памятнику цветы. Интересно, думала я, удастся ли мне все это выдержать? Вдруг кто-то по выражению моего лица догадается, что тут дело нечисто?

Мартен Дюпре, Жан-Мари Дюпре, Колетт Годен, Филипп Уриа, Анри Леметр, Жюльен Ланисан, Артюр Лекоз, Аньес Пети, Франсуа Рамонден, Огюст Трюриан. Еще очень многие помнят этих людей. Многие носят те же фамилии и даже похожи на почивших здесь родственников. Все эти семьи по-прежнему живут в Ле-Лавёз: Уриа, Ланисаны, Рамондены, Дюпре. Почти шестьдесят лет прошло, но они ничего не забыли, и старшее поколение с детства воспитывает в молодых ненависть.

Какой-то интерес ко мне в деревне, разумеется, возник. Точнее, любопытство. Странно, зачем ей понадобился этот дом? Ведь он стоит заброшенный с тех пор, как оттуда убралась эта особа, эта Дартижан. «Деталей, мадам, я, конечно, не помню, но мой отец... и мой дядя...» «Господи, и с чего вдруг вам вздумалось покупать именно эту ферму?» – спрашивали они. Полуразрушенная ферма была для них точно бельмо на глазу, точно грязное пятно на скатерти. Деревьев в саду сохранилось не много, да и те были сильно повреждены омелой и болезнями. Наш старый колодец завалили мусором и камнями и забетонировали. Но я-то помнила, какой ухоженной, какой процветающей, какой полной жизни была некогда наша ферма; сколько там было животных: лошади, козы, куры, кролики. Мне нравилось думать, что те дикие кролики, порой забегавшие в сад со стороны северного поля, – возможно, далекие потомки наших кроликов; и порой я даже замечала белые пятнышки на их бурых шкурках. Отвечая на вопросы особо назойливых, я выдумала целую историю о том, как провела детство на ферме в Бретани, добавляя при этом, что всегда мечтала вернуться на землю, а эту ферму продавали уж больно дешево. Держалась я скромно, словно бы извиняясь за что-то. И все же кое-кто из старожилов посматривал на меня подозрительно; а может, здесь было принято считать, что эта ферма должна навсегда остаться своеобразным памятником.

Носила я по-прежнему все черное и волосы всегда покрывала шарфом или платком. В общем, с самого начала выглядела женщиной уже немолодой. Приняли меня далеко не сразу. Местные жители вели себя со мной вежливо, однако особого расположения не выказывали, а поскольку я и сама общительностью никогда не отличалась – суцая дикарка, как говорила мать, – то сближения не происходило. Церковь я не посещала,

хотя прекрасно понимала, какое это производит впечатление. Но заставить себя пойти туда так и не смогла. Возможно, это было проявлением той же самоуверенности или даже презрения к общественному мнению, которое и мою мать заставило в пику всем назвать нас троих не именами святых, а словами, обозначающими фрукты и ягоды. И только открыв свою лавчонку, я наконец почувствовала себя частью здешнего общества.

Да, с этого магазинчика, который я планировала в будущем расширить, все и началось. Через два года по приезду в Ле-Лавёз деньги, оставшиеся после смерти Эрве, практически кончились. Зато в доме теперь вполне можно было жить. А вот до земли руки у меня по-прежнему не доходили; дюжина деревьев, пять-шесть грядок с овощами, две низкорослые козочки да несколько кур и уток – вот и все мое хозяйство. И мне было совершенно ясно: потребуется немало времени, чтобы превратить эти запущенные земли в источник дохода. Тогда я решила печь и продавать пироги, бриоши и коврижки; кое-что я готовила по местным рецептам, а кое-что по бретонским, унаследованным от матери, – например, свернутые в трубочку кружевные блинчики с начинкой, фруктовые тартинки, рассыпчатое песочное печенье, бисквиты, ореховые хлебцы и сухие, хрустящие галеты с корицей. Сперва я продавала свою выпечку через местную булочную, потом стала торговать прямо у себя на ферме, понемногу увеличивая ассортимент и добавляя к нему другие продукты: яйца, козий сыр, разнообразные домашние наливки и вина. Вырученные деньги позволили мне завести свиней и кроликов; позднее я еще и несколько коз прикупила. Пользуясь старыми рецептами моей матери, я действовала чаще всего по памяти, но время от времени заглядывала и в ее альбом.

Память порой вытворяет такие странные штуки. Судя по всему, в Ле-Лавёз никто и не помнит, как прекрасно готовила моя мать. А кое-кто из старожилов осмелился даже утверждать, что я разительно отличаюсь от прежней хозяйки этой фермы, которая, судя по их рассказам, была сущей неряхой и букой с вечно каменным лицом. И в доме-то у нее воняло черт знает чем, и дети у нее постоянно бегали босыми. Вот и слава богу, заключали они, что ее здесь больше нет. Меня это вранье, конечно, корбило, но я молчала. А что, собственно, я могла возразить? Что моя мать каждый день натирала полы воском? Что она заставляла нас дома надевать войлочные шлепанцы, чтобы не царапать пол? Что в ящиках под окнами у нее всегда было полно цветов? Что и нас, своих детей, она драила с той же яростной беспристрастностью, с какой отскребала ступени крыльца? Что она терла нам лица фланелью столь же неистово, порой чуть ли не до крови, как и свой фарфор?

О ней вообще говорили только плохое. А в одной книжке даже помянули дурным словом. Ну, это не то чтобы книжка – так, брошюрка, всего-то страниц пятьдесят да несколько фотографий; на одном снимке запечатлен памятник павшим воинам, на другом – крупным планом злополучная западная стена церкви Св. Бенедикта. О нас троих там, слава богу, лишь пара фраз, даже имена наши не названы. Зато имеется весьма расплывчатая фотография матери: волосы так сильно зачесаны назад, что глаза кажутся немного раскосыми, как у китайца, губы неодобрительно поджаты. Есть там и фотография нашего отца, сделанная для какого-то документа, точно такая, как в материном альбоме; он в военной форме и выглядит каким-то нелепо молодым, с одного плеча небрежно свисает винтовка, сам улыбается во весь рот. А в конце книжонки я обнаружила снимок, от которого у меня сразу перехватило дыхание, и я стала задыхаться, точно рыба, проглотившая крючок. Четверо молодых мужчин в немецкой форме, трое стоят плечом к плечу, а четвертый, с саксофоном, держится чуть поодаль, и вид у него чрезвычайно самоуверенный. У остальных тоже в руках музыкальные инструменты: труба, барабан, кларнет. И хотя имена их не названы, я сразу узнаю всех четверых. Это военный музыкальный ансамбль деревни Ле-Лавёз, примерно 1942 год. самого правого, с саксофоном, зовут Томас Лейбниц.

Я была совершенно ошарашена: где это они раскопали столько подробностей? И откуда у них фотография моей матери? Насколько мне было известно, никаких ее фотографий попросту не существовало. Даже я когда-то сумела разыскать только одну, на дне ящика комода у нее в спальне; это была старая свадебная фотография: жених и невеста в зимней одежде на крыльце церкви Св. Бенедикта; он в шляпе с широкими полями, у нее волосы распущены и за одним ухом цветок. Хорошенькая, совершенно не похожая на мать, улыбается застенчиво, даже скованно, и смотрит прямо в объектив, а молодой муж покровительственно обнимает ее рукой за плечи. Прекрасно представляя, как рассердится мать, если узнает, что я видела эту фотографию, я тут же убрала ее на прежнее место. Отчего-то меня всю трясло, хотя я и сама не понимала, что на меня так сильно подействовало.

А на том снимке, в книжке, мать куда больше походила на себя – точнее, на ту женщину, которую, как мне казалось, я знала всю жизнь, а на самом деле не знала вовсе. С лицом, словно окаменевшим от сдерживаемого гнева. И лишь обнаружив на форзаце книжки фотографию автора, я наконец поняла, откуда взялась вся эта информация. Ну еще бы, Лора Дессанж, журналистка и знаменитый автор книг по кулинарии!

Рыжие волосы коротко подстрижены, на лице профессиональная улыбка. Жена Янника. Невестка Кассиса. Бедный глупый Кассис! Бедный слепой Кассис! Ослепленный гордостью за своего удачливого сына. Выболтал все Лоре, рискуя тем, что всех нас выведут на чистую воду... и ради чего, собственно? Неужели он и впрямь поверил своим тщеславным фантазиям?

Вы должны сразу понять: для нас оккупация была чем-то совсем иным, чем для жителей крупных городов и столицы. Жизнь в Ле-Лавёз и после войны практически не изменилась. Ну что там сейчас есть? Несколько улиц, по большей части не шире обычной проселочной дороги, сходящихся на единственном перекрестке в центре деревни. Церковь, конечно. Памятник павшим воинам на площади Мучеников и возле него маленький скверик, а за ним старый фонтан. Затем – на улице Мартена и Жана-Мари Дюпре – почтовое отделение, мясная лавка Пети, кафе «La Mauvaise Réputation»^[10], табачная лавка-бар, где на стойке выставлены открытки с памятником павшим воинам, а у крыльца – качалка, в которой вечно сидит старый Брассо; напротив цветочный магазин, он же похоронное бюро. В Ле-Лавёз всегда в цене две вещи: еда и смерть. Чуть дальше магазин, которым по-прежнему владеет семейство Трюриан; теперь уже, к счастью, там заправляет их внук, молодой человек, который лишь недавно сюда переехал. И в самом конце улицы – старый, выкрашенный желтой краской почтовый ящик.

Сразу за главной улицей течет Луара, гладкая и коричневая, точно греющаяся на солнце змея, и широкая, как пшеничное поле; ее поверхность изрезана неправильной формы пятнами отмелей и островков, которые проезжающим мимо туристам, направляющимся в Анже, могут показаться столь же надежными и прочными, как дорога под колесами их автомобиля. Однако это совсем не так. Острова постоянно движутся, словно не имея корней. Незаметно подталкиваемые снизу течением бурой воды, они то погружаются в реку, то выныривают на поверхность, точно неторопливые желтые киты, оставляя после себя небольшие водовороты, с виду довольно безвредные, но только если смотреть на них с лодки; на самом деле эти водовороты смертельно опасны для пловца; там подводное течение безжалостно тянет вниз, на дно, не давая человеку снова подняться на поверхность, не давая ему дышать, и самым вульгарным образом его топит. В нашей старой Луаре рыбы по-прежнему много; линь, щука, угорь вырастают порой до гигантских размеров благодаря тому, что кормятся сточными водами и всякой дрянью, приплывающей сюда из верховий. Почти каждый день на реке можно увидеть рыбацьи лодки, но в половине случаев рыболовы свой улов попросту выбрасывают.

В сарайчике у старого причала Поль Уриа торгует наживкой и

рыболовными снастями; это, как мы говорили в детстве, в полуплевке от того места, где Кассис, Поль и я обычно ловили рыбу и где Жаннетт Годен укусила водяная змея. У ног Поля лежит старый пес, невероятно похожий на ту коричневую дворняжку, что в былые времена повсюду его сопровождала, а сам Поль неотрывно смотрит на воду, на леску с наживкой, словно надеется что-то поймать.

Интересно, а он-то помнит? Иногда я замечаю, как он смотрит на меня – в моей блинной он самый постоянный посетитель, – и я, пожалуй, почти уверена, что он все помнит отлично. Он постарел, конечно. Как и все мы. Его круглое, лунообразное лицо потемнело, обвисло и приобрело какое-то похоронное выражение, которое усугубляют вислые усы цвета жеваного табака. В зубах у него вечно зажата сигарета. Он редко что-то говорит – впрочем, он никогда общительностью не отличался, – но смотрит на меня всегда очень внимательно, и в глазах у него какая-то собачья преданность и печаль; темно-синий берет, как и прежде, сдвинут на одно ухо. Ему нравятся мои блинчики и мой сидр. Возможно, именно поэтому он так мне ни слова и не сказал. Да он и не любитель устраивать сцены.

Блинную я открыла лишь через четыре года после своего возвращения в Ле-Лавёз. К этому времени мне уже и деньжонок удалось поднакопить, и постоянные покупатели у меня появились, да и в деревне меня худо-бедно приняли. А для работы на ферме я наняла парня из Курле, не из местных, к нашим знаменитым семьям он отношения не имеет. Обслуживать клиентов в кафе мне помогает молоденькая Лиз. Сначала я поставила всего пять столиков – здесь ведь самое главное казаться незаметной, хотя бы сперва, и ни у кого не вызывать подозрений своим неожиданным «процветанием», – но вскоре количество столиков пришлось удвоить, а в погожие дни мы с Лиз размещали столики еще и на террасе перед домом. У меня все просто. И меню весьма небогатое: блинчики из гречневой муки с разнообразными начинками плюс одно основное блюдо, правда, каждый день новое, и несколько десертов. Так что с готовкой я вполне сама справляюсь, а Лиз принимает заказы и подает кушанья. Я назвала свое заведение «Crêpe Framboise»^[11] по своему фирменному блюду – сладким блинчикам с малиновым coulis^[12] и домашней наливкой. И я, улыбаясь про себя, думала: интересно, как бы они отреагировали, если б узнали? А ведь кое-кто из постоянных посетителей вскоре даже стал называть мое заведение «Chez Framboise»^[13], и это еще больше меня веселило.

Как раз в то время на меня опять стали поглядывать мужчины. Видите ли, по меркам Ле-Лавёз я была женщиной вполне обеспеченной и еще не старой. В конце концов, мне исполнилось тогда всего пятьдесят. И потом, всем было известно, что я не только хорошо готовлю, но и дом содержу в полном порядке. Вот многие и начали за мной вроде как ухаживать; некоторые и впрямь были люди неплохие, вроде Жильбера Дюпре или Жана-Луи Леласьяна, но попадались и такие лентяи и бездари, как Рамбер Лекоз, который только и мечтает кому-нибудь сесть на шею, чтоб его до конца жизни вкусно и бесплатно кормили. Внимание ко мне проявлял даже Поль, милый Поль Уриа со своими вислыми, выцветшими от никотина усами, наш вечный молчун. Разумеется, сама я ни о чем таком не помышляла. Нет уж, решила я, больше подобной глупости ни за что не совершу. Хотя порой в душе и шевелились горькие сожаления. Но теперь у меня имелось собственное дело, я стала хозяйкой материной фермы; да и воспоминания о прошлом никогда меня не оставляли. А заведи я мужа, и со всем этим пришлось бы проститься. Ведь в таком случае вряд ли мне

удалось бы и дальше скрывать, кто я такая на самом деле. И даже если бы жители деревни простили мне мое происхождение, то этих пяти лет обмана они бы не простили мне никогда. Так что я всем своим ухажерам отказывала, вела себя осторожно и мудро, и в итоге меня сперва сочли безутешной вдовой, затем неприступной крепостью, а еще через несколько лет – попросту старухой.

Теперь-то я почти десять лет живу в Ле-Лавёз. И в последние годы стала приглашать к себе на лето Писташ с семьей – они уж лет пять, наверно, ко мне ездят. Приятно смотреть, как детишки растут и превращаются из смешных глазастых свертков в настоящих маленьких человечков, похожих на ярко окрашенных птичек, так и снующих по моему саду и лугу на своих невидимых крыльях. Писташ всегда была очень хорошей дочерью. А вот Нуазетт, моя тайная любимица, больше напоминает меня: такая же скрытная, такая же бунтарка, и глаза у нее такие же черные, и душа так же полна жажды свободы и неповиновения. Я могла бы, наверно, остановить ее, не дать ей уехать – возможно, хватило бы одного слова, одной улыбки, – но я ничего не сделала из опасения, что она станет относиться ко мне так же, как я к своей матери. Письма от нее приходят равнодушные, написанные как бы по обязанности. Замужество ее закончилось плохо. Она работает официанткой в круглосуточном кафе в Монреале. Когда я предлагаю ей деньги, она отказывается. А Писташ... Такой, как Писташ, могла бы стать наша Ренетт: такой же пухленькой, доверчивой и нежной, так же обожающей своих детей и яростно бросающейся на их защиту. У Писташ мягкие каштановые волосы, а глаза зеленоватые, как ядрышко того ореха, в честь которого она и получила свое имя. Благодаря Писташ и ее детям я многому научилась и теперь как бы вновь проживаю с ними самые лучшие, самые счастливые мгновения собственного детства.

Ради своих внуков я снова научилась быть матерью семейства, печь блинчики и толстые «пальчики» с травами и яблочной начинкой. Я варила для них варенье из инжира и из зеленых помидоров, из кислой вишни и из айвы. Я позволяла им играть с маленькими коричневыми проказливыми козочками и угощать их сухариками и кусочками морковки. Мы вместе кормили кур, гладили мягкие лошадиные морды, собирали щавель для кроликов. Я показала им реку, научила доплывать до солнечных отмелей. Скрепя сердце я разрешила им это, предупредив обо всех опасностях – змеях, корнях, водоворотах, омутах, зыбучих песках, – и заставила клятвенно пообещать, что они никогда-никогда не будут одни купаться в таких опасных местах. Я показала им самые лучшие грибные места в лесу,

научила отличать настоящую лисичку от ложной и, приподнимая листья черничных кустиков, угощала их вкусными кисленькими ягодами. Именно таким должно было быть детство и у моих дочерей. А вместо этого у них было дикое побережье в северном Арморике – там мы с Эрве жили какое-то время, – пляжи, продуваемые всеми ветрами, сосновые леса и мрачные каменные дома, крытые шифером. Я старалась быть им хорошей матерью, честно старалась, и все же постоянно чувствовала, что в наших отношениях чего-то не хватает. Теперь я понимаю: нам не хватало вот этого самого дома, этой фермы, этих полей и сонной вонючей Луары – в общем, не хватало Ле-Лавёз. Вот чего мне хотелось для своих дочерей. И я начала все сначала – уже со своими внуками. С ними я всегда была снисходительной, как бы оправдывая этой снисходительностью себя прежнюю.

Мне приятно думать, что и моя мать, будь у нее такая возможность, поступала бы так же. Я представляю ее себе этакой безмятежной старушкой, спокойно принимающей любые мои упреки: «Нет, правда же, мам, ты мне совершенно испортишь детей!» А она выслушает меня и, не испытывая ни малейшего раскаяния, весело им подмигнет. Теперь мне все это отнюдь не кажется таким уж невозможным, как казалось когда-то. Или, может, я просто заново ее выдумываю? Может, на самом деле она была именно такой, какой я помню ее: женщиной с каменным лицом, которая никогда не улыбается и следит за мной равнодушными, но какими-то странно голодными глазами?

Внучек своих она никогда не видела; она даже не знала, что они существуют. Эрве я сказала, что мои родители умерли, и он никогда не сомневался в этом. У него самого отец был рыбаком, а мать, маленькая, кругленькая, похожая на куропатку, продавала пойманную им рыбу на рынке. Я завернулась в их доброе ко мне отношение, точно в чье-то чужое теплое одеяло, прекрасно понимая, что однажды так или иначе буду вынуждена вернуться к прежней, холодной жизни без них. Эрве был очень хорошим человеком, спокойным и начисто лишенным тех острых граней, о которые я могла бы порезаться. Я любила его – не как Томаса, не с той иссушающей душу отчаянной страстью, но все-таки достаточно сильно.

Когда в 1975 году он умер – в него попала молния, когда они с отцом отправились ловить угрей, – я сильно горевала, но горе мое было словно приправлено некой неизбежностью, почти облегчением. Да, мы с ним прожили хорошую жизнь, но она закончилась. А моя жизнь – моя собственная жизнь – продолжалась. Я вернулась в Ле-Лавёз через полтора года после смерти Эрве с таким ощущением, будто проснулась после

затянувшегося сна без сновидений.

Вам может показаться странным, что я столь долго ждала, прежде чем тщательно познакомиться с материным альбомом. Если не считать черного трюфеля (из Перигё), альбом был моим единственным законным наследством, а я целых пять лет туда не заглядывала. Разумеется, многие рецепты я и так знала наизусть, мне вовсе не нужно было в них вчитываться, и все-таки. Я ведь даже не присутствовала при оглашении завещания. Я даже не могу сказать, в какой точно день мать умерла, хотя мне известно, где именно: в Витре, в доме престарелых. От рака желудка. Там ее и похоронили, но сама я на тамошнем кладбище побывала лишь однажды. Нашла могилу матери у самой дальней стены возле мусорных баков. На ней написано: «Мирабель Дартижан» – и указаны даты рождения и смерти. С некоторым удивлением я обнаружила, что мать зачем-то лгала нам насчет своего возраста.

Собственно, я и сама толком не знаю, что меня подвигло на внимательное изучение материного альбома. Это случилось в мое первое лето в Ле-Лавёз, когда я приехала туда после смерти Эрве. Стояла засуха; вода в Луаре опустилась, наверно, метра на два ниже обычного уровня, обнажив уродливые извивы старого русла и придонные выступы, напоминавшие сточенные пеньки гнилых зубов. Из обмелевших берегов тянулись к воде корни, желтовато-белые, словно выгоревшие на солнце; среди этих корней на песке играли дети, бегая босиком по зловонным коричневым лужам и вылавливая палками плывущий вниз по течению мусор. До того лета я старалась не заглядывать в материн альбом; даже при мысли о нем я чувствовала себя странно виноватой, словно я украдкой за ней подглядываю, а она вот-вот войдет и увидит, что я «опять сую нос» в ее странные тайны. Хотя на самом деле мне вовсе и не хотелось выведывать ее тайны. Какой-то внутренний голос твердил мне, что это нехорошо, что этого делать нельзя, что это не лучше, чем прокрасться ночью в спальню родителей и услышать, как они занимаются любовью. В общем, мне понадобилось более десяти лет, чтобы понять: голос, предостерегающе звучавший у меня в ушах, принадлежал не моей матери, а мне самой.

Как я уже говорила, большую часть ее записей разобрать оказалось практически невозможно. Тот странный язык, очень похожий на итальянский, но только совершенно непригодный, который использовала мать, был мне совершенно незнаком; и после нескольких неудачных попыток расшифровать записи я бросила эту затею как совершенно бессмысленную. Рецепты блюд, впрочем, читались легко, они представляли собой либо вырезки из газет, либо были вполне четко

написаны синими или фиолетовыми чернилами; но прочие ее небрежные каракули – стихи, рисунки, какие-то подсчеты, вставленные между рецептами или рядом с ними, – я толком разобрать так и не сумела; даже те записи, которые можно было прочесть, хотя и с трудом, мать делала без малейшего намека на логику и совершенно беспорядочно.

«Видела сегодня Гильерма Рамондена. С новой деревянной ногой. Р.-К. так на эту ногу уставилась, что он засмеялся. И когда она спросила: "А вам не больно?", ответил, что ему даже повезло: во-первых, его отец, башмачник, все больше деревянные сабо мастерит и хлопот с сыном теперь вполовину меньше, ведь ему только одна "деревяшка" и нужна, ха-ха-ха! Во-вторых, прибавил он, и вполовину меньше опасности, что во время вальса я отдавлю тебе пальцы, моя красавица. А я все думаю: какова его культия изнутри, в подколотой пустой штанине? Она, наверно, напоминает недопеченный пудинг, перевязанный куском бечевки. Пришлось губу прикусить, чтобы не расхохотаться прямо ему в лицо».

Все это написано мелким почерком над рецептом белого пудинга. Мне от подобных «смешных» историй каждый раз становилось не по себе.

А о своих фруктовых деревьях мать упоминает в разных местах и каждый раз так, словно это живые люди: «Всю ночь бодрствовала вместе с Прекрасной Ивонной; она совсем больна, видно, простудилась в эти холода, бедняжка». Зато о нас, своих детях, она говорит редко, обозначая сокращениями: Р.-К., Касс. и Фра, а об отце в ее дневнике и вовсе ни слова. Нигде. Много лет я пыталась понять почему. Хотя тогда я еще не могла прочесть другие, тайные ее записи. В общем, если судить по ее дневнику, мой отец, которого я очень мало знала и плохо о нем помнила, словно и не существовал вовсе.

Потом началась эта история со статьей. Сама-то я, если честно, ее не читала; она была опубликована в таком журнале, где еда и ее приготовление преподносятся как модное веяние, как атрибут современного стиля жизни: «В этом году, дорогая, все едят кускус, это просто *de rigueur*^[14]». Ну а для меня еда – это еда, это чувственное, хотя и мимолетное удовольствие, порой эфемерное, как огни фейерверка, но почти всегда требующее немалых усилий. Впрочем, не следует воспринимать слишком серьезно и эти усилия, и сам процесс поглощения пищи. Господи, это же, в конце концов, не искусство! Съел – и все, проглотил – а с другого конца вышло. Короче, в одном из этих модных журналов появилась статья, называвшаяся то ли «Вниз по Луаре», то ли что-то подобное. Один знаменитый шеф-повар решил, двигаясь по направлению к побережью, посетить большую часть местных ресторанов и сравнить их. Он и ко мне заходил; я хорошо его запомнила: такой тощий, маленький, с собственными солонкой и перчаткой в салфетке и с записной книжкой на коленях. Он отведал у меня паэлью по-антильски, салат с теплыми артишоками, затем угостился сахарно-масляным печеньем по материнскому рецепту с шипучим сидром моего приготовления и завершил трапезу рюмочкой малиновой наливки. А потом прямо-таки засыпал меня вопросами; его интересовали не только мои кулинарные рецепты, но и сама моя кухня, а также сад; он был совершенно потрясен, когда я показала ему погреб, где все полки заставлены всякими *terrines*^[15], консервированными овощами и фруктами, а также ароматизированными маслами – с грецким орехом, с розмарином, с трюфелями – и бутылочками с разнообразным душистым уксусом, земляничным, лавандовым, яблочным. Он все допытывался, где я училась да где стажировалась; его, судя по всему, почти огорчило, когда в ответ на эти вопросы я только рассмеялась.

Пожалуй, я слишком много ему показала и рассказала. Но видите ли, мне так польстило его внимание. Вот я и принялась предлагать ему: попробуйте то, попробуйте это. Ломтик *rillettes*^[16], ломтик *saucisson sec*^[17], глоточек моего грушевого ликера – той самой грушевки, которую мать обычно готовила в октябре из падалицы, сбитой ветром и уже начинавшей подгнивать. Эти груши, лежавшие на теплой земле, бывали настолько облеплены коричневыми осами, что приходилось пользоваться

специальными деревянными щипцами, чтобы их подобрать. Я показала ему даже тот трюфель, который мать оставила мне в наследство; по-прежнему бережно мною хранимый, он плавал в масле и напоминал муху, застрявшую в куске янтаря. Гость изумленно уставился на трюфель, и я не смогла сдержать улыбку.

– Вы хоть представляете, сколько это может стоить? – спросил он.

Да уж, тщеславию моему он, безусловно, польстил. А может, я просто чувствовала себя тогда немного одинокой, вот и рада была поговорить с человеком, который так хорошо меня понимал. Который смог, например, перечислить травы, положенные в terrine, попробовав всего лишь кусочек; который сказал, что я слишком хорошо готовлю, чтобы прозябать в подобной дыре, что это просто преступление – зарывать в землю такой талант. Возможно, я немного размечталась. Надо было, конечно, получше соображать.

А несколько месяцев спустя и появилась статья. Кто-то принес ее мне, выдрав из журнала. Фотография моей crêperie^[18], несколько абзацев, посвященных мне.

«Те, кто приезжает в Анже в поисках аутентичной кухни и всевозможных лакомств, могут, разумеется, сразу направиться в престижный ресторан "Деликатесы Дессанж". Но в таком случае они наверняка пропустят одно из самых потрясающих открытий, которые я сделал во время своего путешествия по Луаре...» Читая это, я лихорадочно пыталась вспомнить, говорила ли я что-нибудь о Яннике. «...За непритязательным фасадом обычной деревенской фермы творятся настоящие чудеса кулинарии...» Дальше следовала всякая чушь насчет того, что «креативный гений этой дамы придал новый импульс сельским традициям». Нетерпеливо, чувствуя, как мою душу охватывает панический ужас, я скользила взглядом по строкам в поисках неизбежного. Единственное упоминание фамилии Дартижан – и все мои столь тщательно возведенные бастионы зашатаются.

Может показаться, что я преувеличиваю. Ничего подобного. В Ле-Лавёз войну помнят очень хорошо. Там еще есть люди, которые до сих пор друг с другом не разговаривают. Например, Дениз Мориак с Люсиль Дюпре или Жан-Мари Боне с Коленом Брассо. А в Анже всего несколько лет назад нашли старую женщину, запертую в чердачном помещении над квартирой, что находилась на верхнем этаже. Не помните? Ее там заперли родители еще в 1945 году, узнав, что она сотрудничала с немцами. Ей было тогда всего шестнадцать лет. И вот через пятьдесят лет, когда ее отец наконец окочурился, беднягу выпустили оттуда, старую и безумную.

А как насчет тех стариков – некоторым из них восемьдесят, а то и девяносто, – которых судят как бывших военных преступников? Теперь это слепые старцы, больные, страдающие деменцией, с вечной счастливой улыбкой на лице и бессмысленным взглядом. Невозможно поверить, что и они когда-то были молоды. Невозможно представить себе, какие кровавые мысли таились в этих, ставших такими хрупкими, черепах, в этих мозгах, ныне лишенных памяти. Разбей сосуд, и его содержимое утечет от тебя. Всякое преступление живет своей жизнью и требует своего оправдания.

«По странному совпадению, – читала я дальше, – хозяйка блинной "Crêpe Framboise", мадам Франсуаза Симон, оказалась родственницей хозяйки ресторана "Деликатесы Дессанж"...» У меня перехватило дыхание. Мне показалось, будто я случайно вдохнула пламя. А потом вдруг возникло ощущение, что я тону, коричневые воды реки тянут меня на дно, но языки пламени по-прежнему лижут мне глотку, проникают в легкие. «Да-да, нашей дорогой Лоры Дессанж! Странно, что она до сих пор не удосужилась выведать кулинарные секреты своей двоюродной бабушки. Я, например, безусловно предпочту непритязательное очарование "Crêpe Framboise" любому из весьма элегантных – но таких малосъедобных! – деликатесов Лоры».

Я снова обрела способность дышать. Значит, племянница, а не племянник. Значит, мне все-таки удалось сохранить свою тайну.

С тех пор я дала себе обещание: больше никаких глупостей, никаких бесед с добрыми джентльменами, пишущими о кулинарии! Через неделю ко мне явился фотограф из другого парижского журнала, но разговаривать с ним я отказалась. Просьбы об интервью, приходившие по почте, я попросту игнорировала. Мне написал какой-то издатель, предлагая издать книгу кулинарных рецептов. Впервые в «Crêpe Framboise» был такой наплыв посетителей – и специально прибывших из Анже, и просто туристов, проезжавших мимо; это были элегантные господа на сверкающих новеньких автомобилях. Я дюжинами отсылала их прочь. У меня имелись постоянные клиенты и привычное количество столиков – от десяти до пятнадцати, – и такое дикое количество людей я была просто не в состоянии обслужить.

Вести себя я старалась естественно. Но предварительные заказы принимать отказывалась, и люди выстраивались перед блинной в очередь. Пришлось пригласить еще одну официантку. И все же я не обращала внимания на столь внезапно возникшее и неприятное мне повышенное внимание к моему кафе. И когда снова приехал тот маленький человечек,

пишущий о кулинарии, с которого все и началось, да еще и принялся со мною спорить, вызывая к моему разуму, я даже слушать его не пожелала. Нет, сказала я, не позволю вам использовать мои рецепты в вашей газетной колонке. И никакой книги по кулинарии я писать не буду. И никаких фотографий здесь делать не разрешу. «Crêpe Framboise» останется тем, чем и была: обыкновенной деревенской блинной.

Я понимала: если я буду тверда, как скала, и сумею продержаться достаточно долго, они в итоге оставят меня в покое. Но, увы, непоправимое уже свершилось: Лора и Янник знали теперь, где меня найти.

Кассис наверняка все им рассказал. Он давно уже поселился в Анже, в квартирке неподалеку от центра. На письма он, правда, никогда не был особенно щедр, но все же время от времени писал мне. Эти письма состояли в основном из похвал в адрес его знаменитой невестки и замечательного сынка. В общем, после той статьи и последовавшей шумихи Лора и Янник решили во что бы то ни стало меня разыскать. А в качестве «неожиданного подарка» притащили с собой Кассиса. Видно, думали, что мы растрогаемся после стольких лет разлуки. Но хоть у Кассиса глаза и слезились, как у всех старых ревматиков, мои-то остались совершенно сухими. Да в нем, собственно, почти ничего и не сохранилось от моего старшего брата, к которому я когда-то была сильно привязана; он растолстел, черты лица расплылись и потонули в тестообразных щеках, нос покраснел, щеки покрылись паутиной фиолетовых сосудов, улыбка стала какой-то неуверенной. Те чувства, которые я испытывала к нему в детстве, считая его, своего старшего брата, героем, который может все – залезть на самое высокое дерево, прогнать диких пчел и украсть мед из улья, запросто переплыть Луару в самом широком месте, – теперь сменились легкой ностальгией по прошлому, обладавшей, к сожалению, изрядным привкусом презрения. Все это, в конце концов, было так давно. И этот толстяк, которого я увидела в дверях своего дома, казался мне совершенно чужим человеком.

Сперва они повели себя очень умно. Они ничего у меня не просили. Лишь выразили беспокойство по поводу того, что я живу совершенно одна, и преподнесли мне подарки: кухонный комбайн, страшно удивившись, что у меня до сих пор его нет, зимнее пальто и радиоприемник. И предложили съездить куда-нибудь вместе. А однажды даже пригласили меня в свой ресторан, больше похожий на просторный сарай, со столиками из искусственного мрамора, накрытыми клетчатými бумажными скатерками, с неоновыми огнями, с сушеной морской звездой и ярко раскрашенными пластмассовыми крабами, «запутавшимися» в рыбацких сетях,

развешанных по стенам. Я что-то такое буркнула насчет подобного интерьера, хотя и несколько неуверенно, и Лора тут же принялась объяснять мне, ласково похлопывая меня по руке:

– А это, тетушка, как раз и называется «китч». Вряд ли вам подобные вещи могут понравиться, но в Париже, поверьте, это сейчас очень модно.

И она улыбнулась мне, продемонстрировав все свои зубы. Зубы у нее были очень белые и очень крупные, а волосы – цвета только что смолотого перца. Они с Янником то и дело прямо на людях обнимались и целовались, и меня, должна сказать, это здорово смущало. А еда у них в ресторане была... современная, наверно. Тут я не судья. Какой-то салат с довольно убогой заправкой: много разных овощей, порезанных в виде мелких цветочков. Может, немного цикория там и было, но в целом – ничего особенного, в основном просто старые салат-латук, редиска и морковь причудливых форм. Затем подали кусок трески – неплохой, должна признать, но очень маленький – с белым винным соусом, луком-шалотом и листочком мяты, что, по-моему, было совершенно лишним. На десерт предложили тонюсенький ломтик грушевого торта, зачем-то политый шоколадным соусом и посыпанный сахарной пудрой и шоколадной стружкой. Просматривая меню, я обратила внимание на то, сколько там всякой самодовольной чуши, например «нугатин из разных сортов печенья на соблазнительной основе из тончайшего теста, украшенный шоколадной глазурью и пикантной подливой из абрикосов». Я-то думала, что мне принесут обычный пирог-флорентин, но этот «нугатин» оказался не больше пятифранковой монетки. А ведь так все было расписано, будто это угощение им сам Моисей с горы принес! А уж цена! В пять раз дороже самого дорогого из моих кушаний, и это еще без вина. Я-то, конечно, ни за что не платила. Однако мне сразу закружилась в голову мысль о том, что за столь внезапное внимание со стороны Лоры и Янника мне еще придется расплачиваться.

Так оно и вышло.

Через два месяца поступило первое предложение. Я получу тысячу франков, если передам им свой рецепт *paella antillaise* и позволю вставить это блюдо в меню их ресторана. «Паэлья по-антильски от тетушки Фрамбуазы», упомянутая Жюлем Лемаршаном в июльском номере «*Hôte et Cuisine*»^[19] за 1991 год. Сперва я решила, что это шутка. «Нежнейшая смесь свежих даров моря, вкус которых оттеняют зеленые бананы, ананас, мускатель и рис, слегка приправленный шафраном». Прочитав это, я рассмеялась. Да что у них, собственных рецептов не хватает?

– Не смейтесь, тетушка, – произнес Янник почти сердито; его

блестящие черные глаза были совсем близко и смотрели на меня в упор. – Мы с Лорой действительно были бы вам очень благодарны.

И он широко улыбнулся мне.

– Вы, тетушка, не смущайтесь. – Лучше б они так меня не называли! Лора обняла меня за плечи холодной голой рукой. – Уж я позабочусь, чтобы все знали: это ваш рецепт.

Они так просили, что я не выдержала. Собственно, я не против, чтоб и другие готовили по моим рецептам; в конце концов, с жителями Ле-Лавёз я уже много чем поделилась. Я бы и Лоре с Янником могла рассказать, как готовить эту «паэлью по-антильски», и подарить еще сколько угодно других рецептов, но при условии, что никаких «тетушек Фрамбуаз» они в меню упоминать не будут. Построив себе спасительную норку, я вовсе не имела намерения привлекать к ней чье-то ненужное внимание.

Они моментально согласились со всеми моими требованиями и почти даже не спорили; но через три недели в «Hôte et Cuisine» был опубликован рецепт «паэлья по-антильски от тетушки Фрамбуазы» в сопровождении восторженной статьи Лоры Дессанж. «Надеюсь, что вскоре смогу поведать вам и еще кое-какие чудесные рецепты сельской кухни, которыми обещала с нами поделиться тетушка Фрамбуаза, – писала она. – А пока вы можете попробовать наши блюда в "Деликатесах Дессанж", улица Ромарен, Анже».

Полагаю, им и в голову не пришло, что я могу эту статью прочесть. А может, просто решили, что я совсем не то имела в виду, когда велела им не упоминать о «тетушке Фрамбуазе», и, когда я ткнула им в нос эту статью, принялись извиняться, как дети, пойманные на очаровательной шалости. Моя паэлья уже пользовалась неслыханной популярностью, и теперь они мечтали включить в свое меню целый раздел кушаний «от тетушки Фрамбуазы», например мои *couscous à la provençale*, *cassoulet trois haricots*^[20] и, разумеется, «знаменитые блинчики тетушки Фрамбуазы».

– Понимаете, тетушка, – объяснял мне Янник с победоносной улыбкой, – самое главное, вам даже делать ничего не придется. Просто будьте собой, и все. Такой вот, естественной.

– А я могла бы вести колонку в нашем журнале, – прибавила Лора. – «Советы тетушки Фрамбуазы» или что-то в этом роде. Конечно же, вам, тетушка, ничего писать не потребуется. Я все сделаю сама.

И она лучезарно мне улыбнулась, точно запуганному ребенку, нуждавшемуся в поддержке.

Они снова притащили с собой Кассиса, который тоже лучезарно улыбался, хотя и был несколько смущен; мне показалось, что ему все-таки не по себе.

– Но ведь мы это уже обсуждали. – Я очень старалась держаться спокойно и твердо, чтобы голос ни в коем случае не дрогнул. – По-моему, я вполне ясно дала понять, что не желаю ни в чем таком участвовать. И никакой вашей помощи мне не надо.

Кассис был ошеломлен.

– Для моего сына это такая блестящая возможность, – промямлил он умоляюще. – Ты только представь себе, как полезна ему подобная публикация в журнале!

Янник кашлянул и поспешно внес свои поправки:

– Папа просто имеет в виду, что это выгодно всем нам. Возможности тут поистине безграничны. Особенно если дело пойдет. Можно, например, выставить на рынок конфитюры и варенье тетушки Фрамбуазы, печенье тетушки Фрамбуазы. И конечно, вы, тетушка, получали бы с этого изрядный процент.

Покачав головой, я сказала несколько громче, чем прежде:

– Ты меня, кажется, плохо слушал или не слушал совсем. Повторяю: я не хочу никаких публикаций. Не хочу никаких процентов. Мне все это совершенно не нужно.

Янник и Лора переглянулись.

– И если вы думаете, а по-моему, вы именно так и думаете, – совсем уж резким тоном продолжала я, – что это можно сделать и без моего согласия, в конце концов, вам всего-то и нужны имя да фотография, то учтите: если я еще раз услышу, что в вашем или в любом другом журнале появился какой-нибудь «рецепт тетушки Фрамбуазы», я в тот же день позвоню издателю журнала и продам ему права на все кулинарные рецепты, какие только у меня есть. Да ладно, черт побери, я отдам их бесплатно!

Я задыхалась, сердце молотом стучало в груди, меня переполняли одновременно бешеный гнев и смертельный ужас. Нет уж, я никому не позволю шутки со мной шутить! И посадить в тюрьму дочь Мирабель Дартижан никому не удастся! Лора с Янником, видно, поняли, что я серьезно. Это сразу стало ясно по их физиономиям.

Они, правда, пытались возражать, хотя и довольно беспомощно:

– Но тетушка...

– И прекратите называть меня тетушкой!

– Дайте-ка я поговорю с ней, – вмешался Кассис, с трудом поднявшись с кресла.

Я обратила внимание на то, как сильно он с годами одряхлел, съежился, как-то весь осел, точно неудачное суфле. Судя по всему, самое

незначительное усилие заставляло его морщиться от боли.

– Пойдем лучше в сад, Буаз, – предложил он.

Усевшись на ствол упавшего дерева возле заброшенного колодца, я испытала странное чувство раздвоенности: казалось, Кассису достаточно снять эту маску толстого старика, и он снова станет прежним: живым, беспечно смелым и немного диковатым.

– Почему ты так поступаешь, Буаз? – спросил он. – Это из-за меня?

Я медленно покачала головой.

– К тебе это не имеет ни малейшего отношения. И к Яннику тоже. – Я мотнула подбородком в сторону дома. – Ты хоть заметил, как я восстановила наш старый дом?

Он пожал плечами.

– Если честно, никогда не мог понять, зачем он тебе. Я бы тут ничего и пальцем не тронул. Просто мороз по коже, стоит подумать, что ты снова тут поселилась. – И он как-то странно на меня посмотрел – понимающе, остро. А потом с улыбкой произнес: – Впрочем, это как раз в твоём духе, Буаз, – поселиться в её доме. Ты ведь всегда была её любимицей. А теперь ты ещё и так на неё похожа.

Тоже пожав плечами, я спокойно предупредила его:

– Ладно, ты мне зубы не заговаривай.

– Вот-вот, ты и ведешь себя теперь совсем как она. – И в его голосе послышалась сложная смесь любви, вины и ненависти. – Буаз...

Я посмотрела на него.

– Но ведь кто-то же должен её помнить! Я никогда не сомневалась, что этим «кто-то» точно будешь не ты.

Он лишь беспомощно отмахнулся.

– Так ведь здесь-то, в Ле-Лавёз...

– Здесь никто и не догадывается, кто я такая, – прервала я брата. – И никто меня с теми событиями не связывает. – Я вдруг усмехнулась. – Знаешь, Кассис, для большинства людей все старухи на одно лицо.

Кассис кивнул и уточнил:

– И ты думаешь, «тетушка Фрамбуаза» все испортит?

– Я знаю это. Знаю, что так и будет.

Помолчав, он как ни в чем не бывало заметил:

– Что-что, а врать ты всегда здорово умела. Ты и эту особенность от неё унаследовала. Умение врать и прятаться. Вот я, например, весь нараспашку.

И он широко раскинул руки, словно желая это продемонстрировать.

– С чем тебя и поздравляю, – равнодушно откликнулась я: он ведь и

сам в это верил.

– И готовить ты тоже отлично умеешь, это я признаю. – Он посмотрел через мое плечо на деревья в нашем старом саду; ветви сгибались под тяжестью созревших плодов. – Матери это было бы приятно. Приятно узнать, что ты продолжила ее дело. Господи, как же все-таки ты на нее похожа, – медленно повторил он; в его голосе звучало не одобрение, а констатация факта, к которой примешивались легкая неприязнь, страх и одновременно восхищение.

– Она оставила мне свой дневник, – вдруг сообщила я. – Тот самый, с кулинарными рецептами. Свой альбом.

Его глаза расширились от изумления.

– Вот как? Ну что ж, ты была ее любимицей...

– Заладил одно и то же, – нетерпеливо прервала я его. – Если у матери и была любимица, так это Ренетт, а вовсе не я. Ты же помнишь...

– Она сама мне сказала, – пояснил Кассис. – Сказала, что из нас троих у тебя единственной есть голова на плечах, есть чутье. «В этой хитрой маленькой сучке куда больше моего, чем в вас обоих, в десять раз больше!» – это ее выражение.

Звучало и впрямь правдоподобно. Я словно слышала ясный, резкий голос матери, острый, как осколок стекла. Она, наверно, была в тот момент за что-то сердита на Кассиса и не сумела подавить очередной приступ свойственной ей ярости. Она крайне редко по-настоящему нас била, но словами могла огреть не хуже плетки!

Кассис поморщился.

– И потом, знаешь, она так это сказала, – тихо прибавил он, – таким ледяным тоном, так сухо! И смотрела на меня так странно, словно испытывала. Словно ждала, как я отреагирую.

– И как ты отреагировал?

Он пожал плечами.

– Заплакал, конечно. Мне ведь было тогда всего девять.

Ну конечно же, он заплакал! Еще бы! Это как раз в его духе. Он всегда был слишком чувствительным, несмотря на все свои хулиганские выходки и внешнюю диковатость. Он часто убегал из дома, ночевал где-то в лесу или в нашем шалаше на дереве, зная, что сечь его за это мать не будет. Она, кстати, втайне поощряла подобные поступки; наверно, они казались ей проявлением непокорного нрава и силы воли. А я, оказавшись тогда на месте Кассиса, попросту плюнула бы ей в лицо.

– Послушай, Кассис... – Эта мысль пришла в голову внезапно, у меня даже дыхание перехватило от волнения. – А мать... Ты не помнишь, она

никогда не умела говорить по-итальянски? Или по-португальски? Она никаких иностранных языков не знала?

Брат был явно ошарашен моими вопросами и лишь молча покачал головой.

– Ты уверен? А в ее альбоме...

И я поведала ему о тех записях на странном, чужом языке, о тех тайных записях, которые я так и не сумела расшифровать.

– Дай-ка мне поглядеть.

Мы стали вместе перелистывать пожелтелые страницы. Кассис с невольным восхищением касался негнувшимся пальцем фотографий, засушенных цветов, крылышек бабочек, вклеенных в альбом кусочков ткани, однако я заметила, что самих записей он избегает касаться.

– Боже мой, – прошептал он. – Я ведь и понятия не имел, что она куда-то все записывает. – Он поднял на меня глаза. – И ты еще уверяешь, что не была ее любимицей!

Сперва его, казалось, больше всего заинтересовали именно кулинарные рецепты. Он водил пальцами по строчкам, и пальцы его словно обретали прежнюю ловкость.

– «Tarte mirabelle aux amandes»^[21], – бормотал он. – «Tourteau fromage»^[22]. «Clafoutis aux cerises rouges»^[23]. Это я помню! – воскликнул он вдруг с молодым энтузиазмом, совсем как прежний Кассис, и тихо прибавил: – Тут есть все. Все.

Я ткнула пальцем в одну из записей на чужом языке.

Минуту или две брат изучал ее, потом рассмеялся и сообщил:

– Никакой это не итальянский! Неужели ты не помнишь, что это такое? – Кажется, он вовсю забавлялся; раскачивался и даже попискивал от смеха; и уши у него тряслись, большие стариковские уши, напоминавшие опенки-перестарки. – Это же папа придумал такой язык! «Bilini-enverlini», «задом наперед» – так он называл его. Разве ты не помнишь? Он и сам постоянно им пользовался.

Я попыталась вспомнить. Мне было семь, когда он погиб. Должно же было что-то остаться в памяти! Но, увы, там осталось очень мало. Все исчезло в алчной темной глотке войны. Я помнила отца лишь частично, какими-то разрозненными, странными фрагментами. Помнила, например, запах, исходивший от его старой куртки, запах табака и шариков от моли. Помнила, что он любил иерусалимские артишоки, и всем нам, хотя больше никто из нас эти артишоки не любил, приходилось раз в неделю их есть. Помнила, как однажды я случайно проткнула рыболовным крючком

кожистую перепонку между указательным и большим пальцами, а он этот крючок вытаскивал; помнила его руки, обнимавшие меня, и его голос, убеждавший меня не бояться. Но его лицо я помнила только по фотографиям, расплывчатым и неясным. Где-то в глубине души таились кое-какие тайные воспоминания, не проглоченные, точнее, исторгнутые той темной безжалостной глоткой: отец, болтающий с нами на своем чепуховом языке и весело улыбающийся; смеющийся Кассис и я сама, тоже смеющаяся над какой-то не очень понятной мне шуткой; а матери в кои-то веки не видно, она где-то далеко, на безопасном расстоянии, и ничего не слышит, возможно, ее сразил один из приступов мигрени, подаривший нам этот неожиданный праздник.

– Так, кое-что помню, – наконец произнесла я.

И тогда брат принялся терпеливо объяснять. Этот язык состоит из перевернутых слогов, из задом наперед написанных слов, к которым приделываются дурацкие, ничего не значащие суффиксы и префиксы. Ini tnawini inoti plainexini – I want to explain (Я хочу объяснить). Minini toni nierus niohwni inoti – I'm not sure who to (Но не уверена кому).

Вообще странно, но Кассиса, кажется, ничуть не заинтересовали эти загадочные записи. Он по-прежнему пожирал глазами материны кулинарные рецепты. Остальное для него не существовало. А вот рецепты он мог понять, мог попробовать, мог вспомнить вкус знакомых блюд. Я прямо-таки чувствовала: ему не по себе оттого, что я так близко, словно мое сходство с матерью заразно и может передаться ему.

– Ах, если б мой сын мог хоть одним глазком взглянуть на эти рецепты, – тихо промолвил он.

– Не вздумай ему сказать! – резким тоном осадил я.

Мне уже было понятно: чем меньше Янник будет знать о нашем прошлом, тем лучше.

Кассис пожал плечами:

– Конечно, конечно. Я ничего ему не скажу. Обещаю.

И я поверила, чем и доказала, что вовсе не настолько похожа на мать, как он считает. Господи, я же ему поверила! И какое-то время мне казалось, что он и впрямь свое обещание сдержит. Да и Янник с Лорой соблюдали дистанцию и о «тетушке Фрамбуазе» даже не вспоминали.

Лето плавно перекатилось в осень, таща за собой мягкий шлейф опавших листьев.

«Янник говорит, что видел сегодня Старую щуку», – пишет мать об отце.

«Прибежал с реки, сам себя не помнит от волнения, бормочет что-то. Даже рыбу забыл на берегу, так спешил, и я окрысилась на него, чего, мол, время зря теряешь. А он посмотрел на меня беспомощно и печально и словно собирался что-то ответить. Но промолчал. Может, ему стыдно было, что он рыбу забыл. У меня внутри все словно закаменело, застыло. Хочу ему сказать что-нибудь, да не знаю что. Дурной это знак – увидеть Старую щуку, так все говорят, только мы и без того дурных знаков видели больше, чем нужно. Может, потому я теперь и стала такой?»

Материн альбом я читала медленно. Отчасти из опасений, что нечаянно узнаю нечто совсем для меня нежелательное и буду вынуждена навсегда это запомнить. А отчасти из-за того, что повествование само по себе оказалось на редкость запутанным: порядок событий был сознательно и искусно изменен – так путают карты, показывая какой-нибудь хитроумный фокус. Например, я с трудом сумела вспомнить тот день, что описан выше, хотя потом не раз о нем думала. И почерк у матери был хоть и очень аккуратный, но невыносимо мелкий; если я слишком долго вглядывалась в ее бисерные буквы, у меня даже виски начинало ломить. В этом я тоже как мать; я хорошо помню, как мучили ее головные боли, и, по заверениям Кассиса, перед этими приступами у нее часто кружилась голова. Он рассказал мне, что приступы мигрени у нее особенно усилились после моего рождения. Он вообще был единственным из нас, детей, кто еще хранил в памяти образ матери, какой она была раньше.

Под рецептом подогретого сидра с пряностями она пишет:

«Я еще помню, каково это – когда у тебя светлая голова. Когда чувствуешь себя целой. Так было, пока не родился К. И теперь я все пытаюсь вспомнить, каково это – быть совсем молодой. И все про себя повторяю: лучше б мы жили в другом месте. И никогда в Ле-Лавёз не возвращались. Я. старается помочь. Но любви больше нет. Он теперь меня скорее боится; боится того, что я могу сотворить. С ним. С детьми. Никакой сладости в страданиях нет, что бы там люди ни думали. В конце

концов, страдания пожирают все. Я. и в семье-то остается только ради детей. Мне следует быть ему благодарной. Он мог бы запросто уйти, и никто бы его не осудил. В конце концов, он ведь здесь родился».

Никогда и никого она в свои страдания не посвящала; она терпела боль до тех пор, пока могла, а потом надолго исчезала в своей темной комнате с задернутыми шторами, а мы ходили по дому на цыпочках, точно осторожные кошки, и говорили шепотом. Примерно раз в полгода у матери случался действительно серьезный приступ, после которого она на несколько дней как бы впадала в прострацию. Однажды – я тогда была еще совсем маленькой – она упала, когда шла с ведром от колодца к дому; мне показалось, что она споткнулась; она перелетела через ведро и упала; вода разлилась и потекла по сухой тропинке. Соломенная шляпа матери съехала набок, и мне стал виден ее страшный разинутый рот и выпученные глаза. Я была в огороде одна, рвала зелень к обеду, и как-то сразу подумала, что мать умерла – так страшно она молчала, таким страшным был черный провал ее рта на изжелта-бледном, словно обтянутом кожей худом лице, такими жуткими были остановившиеся глаза, похожие на шарикоподшипники. Я очень медленно опустила на землю корзинку и пошла к ней.

Тропинка как-то странно расплывалась у меня под ногами, словно я напаялила чьи-то чужие очки, и я даже немного спотыкалась. Мать лежала на боку. Одна нога в стоптанном башмаке отброшена в сторону; темная юбка задралась так, что видна верхняя часть чулка; рот жадно разинут, точно она просит есть. Но страшно мне не было, наоборот, я испытывала какое-то странное спокойствие.

Она умерла, решила я, и от этой мысли меня вдруг охватила такая сильная буря эмоций, что на мгновение я словно оглохла и ослепла. Ощущение было ярким, как хвост пролетевшей кометы, от него покалывало под мышками и в животе что-то вздувалось, как подходившее тесто. Ужас, горе, смятение – тщетно искала я в себе эти чувства, их там не было и в помине. Зато голова наполнилась светом, словно после взрыва какой-то ядовитой шутихи. Я тупо смотрела на труп матери, и душа моя наполнилась облегчением, надеждой и безобразной, какой-то дикарской радостью...

Ах, эта сладость...

...Все у меня внутри словно закаменело, застыло...

Знаю, знаю. Собственно, не стоило и надеяться, что вы поймете мои тогдашние чувства. Мне и самой они представляются поистине

чудовищными, когда я вспоминаю, как это было, и пытаюсь разобраться, уж не привиделось ли все это. Разумеется, подобное состояние вполне объяснимо последствием испытанного шока. С людьми в состоянии шока происходят порой весьма странные вещи. Даже с детьми. С детьми особенно. Тем более с такими замкнутыми и диковатыми, какими были мы, обитавшие в собственном безумном мирке, с нашим Наблюдательным постом, нашей рекой и нашими Стоячими камнями, надежными стражами наших тайных ритуалов. И все-таки, как ни крути, а испытывала я именно радость.

Я стояла возле матери; ее мертвые глаза, не мигая, смотрели на меня, а я все размышляла, надо ли их закрыть. Было что-то тревожащее в этих глазах, ставших круглыми и бессмысленными, как у рыбы. Они походили на глаза Старой щуки, когда я ее наконец поймала и пригвоздила к Скале сокровищ. Из уголка рта у матери стекала, поблескивая, нитка слюны. Я придвинулась чуть ближе.

И вдруг она стремительно выбросила руку и схватила меня за лодыжку. Нет-нет, она, оказывается, не умерла, она чего-то ждет, и глаза ее горят злобно и вполне осмысленно! Губы ее шевельнулись, и она мучительно четко проскрипела, точно ножом по стеклу:

– Слушай. Принеси мою палку. – Я даже зажмурилась, чтобы не завопить от страха. – Принеси ее. Из кухни. Быстро.

Но я продолжала стоять, неотрывно на нее глядя; а ее рука по-прежнему сжимала мою лодыжку.

– С утра чувствовала, что голова начинает раскалываться, – бесцветным голосом пожаловалась она. – И уже понимала: не миновать сильного приступа. На часы гляну – только полциферблата вижу. И апельсинами пахло. Принеси палку. Помоги мне.

– Я думала, ты умираешь. – Мне вдруг показалось, что наши с ней голоса до странности похожи: одинаково скрипучие и твердые, как металл. – Я думала, ты уже умерла.

Уголок ее рта дрогнул, и она издала какое-то тихое карканье или задушенный хрип, в общем, в этих звуках я не сразу распознала смех. Я бегом бросилась на кухню, но это жуткое карканье по-прежнему звучало у меня в ушах. Я нашла ее палку – собственно, это была довольно толстая ветка боярышника, немного кривоватая, чаще всего мать притягивала ею к себе верхние ветки фруктовых деревьев – и принесла ей. Мать уже поднялась и стояла на коленях, с силой опираясь о землю руками и время от времени резко и нетерпеливо встряхивая головой, словно ее изводили осы.

– Хорошо, – глухим, вязким голосом произнесла она, будто рот у нее был полон глины. – А теперь иди. Скажи отцу. Я... к себе... пойду... – Каким-то безумным усилием она заставила себя подняться и стоять прямо, тяжело опираясь на палку; ее шатало, но голос звучал резко, как прежде: – Я же сказала: убирайся!

И она ударила меня, неуклюже шлепнула вялой ладонью с дрожащими скрюченными пальцами, чуть не потеряв при этом равновесие и удержавшись лишь с помощью палки. Я кинулась прочь и обернулась, лишь оказавшись достаточно далеко от нее и на всякий случай присев за кустом красной смородины. Мать уже ковыляла к дому, с трудом волоча ноги и оставляя после себя на мокрой дорожке странные, неровные петли следов.

В тот раз я впервые по-настоящему поняла, какая беда постигла мать. Позже отец, пока она отлеживалась в темной комнате, объяснил нам кое-что насчет часов и апельсинов. Правда, из его слов мы мало что поняли. Оказывается, у матери бывают ужасные приступы некой болезни, когда очень сильно болит голова, и она сама порой не понимает, что делает. «Был ли у кого-нибудь из вас солнечный удар? – спросил отец. – Если был, то вы, наверно, помните, как при этом сильно кружится голова, каким странным кажется все вокруг, словно предметы сами надвигаются на тебя, а звуки вдруг становятся оглушительно громкими». Мы недоуменно уставились на отца. Кажется, только Кассис, которому тогда было уже девять (а мне всего четыре!), что-то понимал из его объяснений.

– Вот она в таком состоянии что-нибудь сделает, – говорил отец, – а потом и вспомнить не может, действительно ли сделала это. Такие это ужасные приступы!

Мы в страхе смотрели на него. Ужасные приступы!

Мой детский разум воспринимал эти слова как сказку о ведьмах. О пряничном домике. О семи лебедях. Я представляла себе, как мать лежит в темноте на постели, ее глаза открыты, а с губ срываются странные звуки, похожие на вертких угрей. И мне казалось, что она видит даже сквозь стену – видит не только меня, но и мои внутренности, – и смеется этим своим жутким, каркающим смехом, и трясется всем телом. Порой во время ее ужасных приступов отец так и ночевал на кухне, спал, сидя на стуле. А однажды утром мы встали и увидели, что он там, прямо в раковине, моет голову и вода вся красная от крови. Отец тут же стал оправдываться, что это случайно получилось. Просто глупая случайность. Но я хорошо помню блестящие пятна крови на чистых терракотовых плитках пола. А еще на столе почему-то лежало полено для печки. И на нем тоже была кровь.

– Пап, а мама не побьет нас?

Некоторое время он смотрел на меня. Секунду, может, две. Колебался. По глазам было видно: прикидывает, много ли можно сказать ребенку.

Потом улыбнулся. «Ну что за нелепый вопрос!» – читалось в его улыбке.

– Конечно нет, детка. Вас она никогда и пальцем не тронет.

И он обнял меня, прижал к себе; я почувствовала аромат табака, и шариков от моли, и сладковатый запах застарелого пота. Но я навсегда запомнила то его мгновенное замешательство, сомнение, смущенный, оценивающий взгляд. Ведь он тогда явно подумал: а может, все-таки им признаться? Но потом, видно, решил, что мы пока маловаты, что времени впереди полно и он еще успеет все хорошенько объяснить нам, когда мы станем постарше.

А поздно ночью я слышала шум в родительской спальне, крики, звон бьющегося стекла. Утром я встала очень рано и обнаружила, что отец снова всю ночь провел на кухне. Мать с постели поднялась поздно, зато какая-то очень веселая – по своим меркам, разумеется, – и все что-то тихо напевала себе под нос, помешивая зеленые помидоры в медном тазике для варки варенья, а мне сунула пригоршню желтых слив, достав их из кармана фартука. Я застенчиво поинтересовалась, не стало ли ей лучше, и она лишь непонимающе на меня взглянула. Ее лицо показалось мне совершенно пустым и белым, как чистая тарелка. Позже я украдкой пробралась в ее комнату и обнаружила там отца, который заклеивал воющей бумагой разбитое оконное стекло. На полу валялись осколки и циферблат каминных часов, уткнувшийся стрелками в доски пола. Над изголовьем кровати кое-где виднелись подсохшие красноватые мазки; я прямо-таки с восхищением разглядывала отчетливые отпечатки пяти пальцев, похожие на пять запятых, там, где мать оперлась рукой о стену, и округлое пятно, оставшееся от ее ладони. Но уже через пару часов, когда я снова заглянула туда, стены были дочиستا оттерты и комната опять выглядела вполне опрятной. Никто из родителей ни словом не обмолвился о ночном происшествии; оба вели себя так, будто и не случилось ничего из ряда вон выходящего. Но с тех пор отец стал всегда запирать на ночь двери нашей спальни, а окна закрывал на задвижку, словно боялся, что к нам кто-то вломится.

Когда отец погиб, я, положив руку на сердце, не особенно горевала. Честно пыталась отыскать в своей душе хоть немного сожалений, но лишь постоянно натыкалась на какую-то твердую сердцевинку вроде вишневой или сливовой косточки. Я повторяла себе, что никогда больше не увижу его лица, но и это меня не пугало: к тому времени я уже и так почти забыла его лицо. Да и сам он превратился для меня в нечто вроде иконы, в неодушевленную пластмассовую фигурку святого с выпученными глазами и светящимися медными пуговицами на кителе. Я пыталась представить себе отца на поле боя – как он лежит, мертвый, весь израненный осколками мины, взорвавшейся у него под ногами. В общем, всякие ужасы, но даже эти ужасы казались мне какими-то ненастоящими, точно сны. Кассис переживал гибель отца куда сильнее. Когда мы получили похоронку, он сбежал из дома и не появлялся целых два дня; потом все-таки вернулся, совершенно измученный, страшно голодный и весь распухший от укусов комаров. Он ночевал под открытым небом на том берегу Луары, где леса сменяются болотами, и, как мне кажется, пытался воплотить в жизнь безумную идею пойти на фронт, как и отец. Но у него ничего не получилось: он попросту заблудился в лесу и не один час бродил по кругу, пока снова не вышел к Луаре. Он, конечно, делал вид, что ничего особенного не случилось, рассказывал о каких-то немыслимых приключениях в лесу, но я в кои-то веки ни одному его слову не поверила.

После этого Кассис стал постоянно драться с мальчишками и часто приходил домой в разорванной одежде и с кровью под ногтями. Или часами один гулял по лесу. Но никогда не плакал и очень этим гордился; а как-то раз, когда Филипп Уриа попытался его утешить, весьма грубо его отшил. А вот Ренетт, судя по всему, была даже довольна тем вниманием, которое ей стали уделять в деревне после гибели отца. Люди приносили ей подарочки или гладили по головке, случайно встретив на улице. В местном кафе наше будущее – и особенно будущее нашей матери – постоянно обсуждали тихими, проникновенными голосами. Моя сестра научилась по собственному желанию пускать слезу или, напротив, изображать «храбрую», сиротскую улыбку – и моментально обретала всеобщее сочувствие и разные сласти в подарок; кроме того, она заработала репутацию самой тонкой натуры в нашем семействе.

После смерти отца мать никогда больше о нем не упоминала. Порой

возникало ощущение, будто он и не жил вместе с нами. Ферма прекрасно обходилась без него; пожалуй, дела на ней шли даже лучше, чем прежде. Мы, например, выкопали на огороде весь топинамбур, который никто в семье, кроме него, не любил, и посадили на этих грядках спаржу и красную брокколи, листья которой покачивались и что-то шептали на ветру. В то время мне вдруг стали сниться страшные сны: то я оказывалась под землей и лежала там, разлагаясь и чувствуя жуткий запах собственного разложения, то тонула в Луаре и придонный ил обволакивал мою безжизненную плоть. А если я была еще жива и, протягивая руки, молила о помощи, то на меня наваливались сотни тел других утопленников, которые, мягко покачиваясь в текучей воде, лежали на дне плотным слоем, плечом к плечу. Некоторые из них были еще целые, а некоторые уже успели разложиться, и у них не было то всего лица, то нижней челюсти, они жутко «улыбались» зияющим провалом на месте рта и выпучивали мертвые глаза в нарочито радостном приветствии. После таких снов я просыпалась с криком, вся мокрая от пота и слез, но мать ни разу ко мне даже не приблизилась. Вместо нее подходили Кассис и Ренетт, проявляя то нетерпение, то бесконечную доброту. Они или щипали меня, что-то сердито шипя, или брали на руки и укачивали, пока я снова не засыпала. Иногда Кассис рассказывал нам всякие истории. Мы с Рен-Клод с наслаждением слушали, не сводя с него глаз, в окно лился лунный свет, а брат все говорил и говорил. Чаще всего о великанах, о ведьмах, о розах-людоедах, о горах и о драконах, которые умели принимать человеческое обличье. О, наш Кассис был тогда отличным рассказчиком! И хотя со мной он порой бывал не слишком-то любезен, а часто попросту смеялся над моими ночными кошмарами, но никакой обиды в моей душе не осталось; зато его ночные повествования и его сияющие глаза я теперь часто и с благодарностью вспоминаю.

После того как отца не стало, мы постепенно и сами научились распознавать приближение материнских ужасных приступов. В таких случаях ее речь всегда становилась невнятной, неуверенной, и она то и дело нетерпеливо встряхивала головой – видно, у нее уже начинало ломить виски. Движения у нее тоже становились неуверенными, бывало, потянется за ложкой или за ножом и промахнется, а потом шлепает рукой по столу или по краю раковины, словно пытаясь на ощупь отыскать нужный предмет. Или вдруг спросит: «Который час?», хотя большие круглые кухонные часы висят точно напротив нее. И в такие дни она всегда задавала один и тот же вопрос резким, подозрительным тоном: «Опять кто-то из вас апельсины в дом притащил?»

Мы молча мотали головой. Апельсины были для нас деликатесом, нам лишь изредка доводилось их отведать. На рынке в Анже мы их, конечно, видели: толстые испанские апельсины с плотной ноздреватой шкуркой или привезенные с юга корольки, более тонкокожие и нежные, которые торговцы разрезали пополам, чтобы видна была их сочная, красно-лиловая мякоть. Наша мать всегда шарахалась от этих прилавков, словно ее тошнило от одного вида апельсинов. Однажды какая-то симпатичная женщина на рынке подарила нам апельсин, один на всех, так мать потом запретила нам входить в дом, пока мы с ног до головы не вымылись, не выскребли щеткой все из-под ногтей и не протерли руки мазью с лимонным соком и лавандой. И даже после этого она утверждала, что от нас еще пахнет апельсином, и целых два дня держала все окна открытыми, чтобы запах окончательно выветрился. Разумеется, апельсины, вызывавшие ее ужасные приступы, были из области фантазий. Этот несуществующий запах вызывал начало ее мигрени; стоило ей упомянуть, что в «доме снова пахнет апельсинами», и уже через несколько часов она запиралась в темной спальне, прикрыв лицо носовым платком, смоченным лавандовым уксусом, и положив рядом таблетки от головной боли. Таблетки эти, как я узнала впоследствии, были морфием.

Она никогда ничего не объясняла. Все знания о ее болезни мы приобрели благодаря собственным наблюдениям и умозаключениям. Чувствуя приближение мигрени, мать просто удалялась к себе, ни словом не обмолвившись и предоставляя нас самим себе. В итоге мы, естественно, стали рассматривать ее приступы как своего рода каникулы, как передышку

протяженностью от двух часов до двух дней и старались использовать их на полную катушку. Эти день-два были для нас поистине счастливыми, помнится, я мечтала, чтобы они никогда не кончались. Мы сколько угодно купались в Луаре, ловили раков на мелководье, совершали долгие походы в лес, до тошноты объедались вишнями, или сливами, или зеленым крыжовником, дрались и стреляли друг в друга из рогатки мелкой картошкой, украшали Стоячие камни трофеями, добытыми в своих разнообразных приключениях.

Стоячими камнями мы называли останки старой пристани, давным-давно снесенной быстрым течением. Пять каменных столбов, один чуть короче остальных, торчали довольно высоко над водой; сбоку на каждом была металлическая скоба, ронявшая слезы ржавчины на крошащиеся камни мола, поверх которых некогда крепились доски настила. Именно к этим скобам мы и привешивали трофеи: варварские гирлянды из рыбьих голов и цветов, записки, написанные тайным шифром, всякие «волшебные» камешки и фигурки из плавника. Последний столб находился довольно далеко от берега на глубоком месте, и течение там было особенно сильным; под этим-то столбом мы и прятали свои сокровища, сложенные в самую обыкновенную жестянку, завернутую в промасленную тряпку и подвешенную на обрывке цепи. Цепь, в свою очередь, была привязана к веревке, а та – к скобе. Этот столб мы гордо именовали Скалой сокровищ. Чтобы достать само сокровище, надо было сперва доплыть до столба, что само по себе требовало особого мастерства, а затем, одной рукой держась за скобу, вытянуть из-под воды металлическую коробку, отцепить ее и вместе с ней доплыть до берега. Считалось, что на такой подвиг способен только Кассис. В «сокровищнице» хранились такие вещи, которые ни один взрослый, разумеется, не считал бы сколько-нибудь ценными. Набор рогаток, жевательная резинка, для пущей сохранности завернутая в промасленную бумагу, палочка ячменного сахара, три сигареты, несколько монет в потрепанном кошельке, фотографии актрис – фотографии, как и сигареты, были собственностью Кассиса – и несколько номеров иллюстрированного журнала, в котором публиковались разные «жуткие» истории о преступлениях и убийствах.

Иногда в добыче подобных сокровищ – Касс называл это охотой – участвовал и Поль Уриа, но до конца мы не посвящали его в свои тайны, хотя лично мне Поль нравился. Его отец торговал наживкой и рыболовными принадлежностями возле шоссе, ведущего в Анже, а мать, чтобы свести концы с концами, брала на дом всякую починку. Поль был единственным ребенком в семье, и родители его были уже немолоды, он

вполне годился им во внуки. Большую часть времени он попросту старался не попадаться им на глаза и жил так, как страстно хотелось бы жить мне. Летом он даже ночевал в лесу, и у его родителей это не вызывало ни малейшего беспокойства. Никто лучше Поля не умел искать грибы или делать из ивовых веточек свистульки. Руки у него вообще были на редкость ловкие и умелые, но сам он порой казался неуклюжим и говорил очень медленно, сильно заикаясь. Особенно сильно он начинал заикаться, если поблизости оказывались взрослые. Он был почти ровесником Кассиса, но в школу не ходил; вместо школы он помогал на ферме своему дяде – доил коров, отводил их на пастбище и пригонял обратно. Со мной Польша обращался очень ласково и куда более терпеливо, чем Кассис; он никогда не смеялся, если я чего-то не знала, и не презирал меня за то, что я еще маленькая. Теперь-то, конечно, он уже старик, но порой мне кажется, что из нас четверых меньше всех постарел именно Польша.

Часть вторая

Запретный плод

Это случилось в начале июня. Лето обещало быть жарким, воды в Луаре уже было маловато, а ее быстрое течение намыло множество отмелей с зыбучими песками. И змей в тот год расплодилось больше, чем обычно; плоскоголовые коричневые гадюки прятались в прохладном иле на мелководье, и одна такая тварь укусила Жаннетт Годен, жарким полднем шлепавшую как ни в чем не бывало по бережку. А неделю спустя Жаннетт похоронили во дворе церкви Св. Бенедикта и поставили на могилке небольшой крест и статую ангела. Надпись на постаменте гласила: «Возлюбленной дочери... 1934–1942». Я была всего на три месяца ее старше.

Мне вдруг стало казаться, что прямо у меня под ногами разверзлась бездна, бездонная пропасть, словно гигантская пасть, пыщущая жаром. Ведь если Жаннетт умерла, значит, могу и я? Значит, может и кто угодно? Кассис относился к моим переживаниям свысока, ему было уже тринадцать, и он, умудренный опытом, с легким презрением пояснял: «Глупая, в военное время всегда умирает много людей. И взрослых, и детей. Да и во все времена люди умирают».

Я попыталась объяснить ему свои чувства и обнаружила, что у меня ничего не выходит. Одно дело, думала я, когда во время войны погибают солдаты, пусть даже и мой родной отец, пусть даже и мирные жители во время бомбежек, хотя в Ле-Лавёз мы бомбежек почти не знали. Но гибель Жаннетт – это совсем другое. Мои ночные кошмары стали еще ужаснее. А днем я часами следила за рекой, держа наготове рыболовный сачок. Я то и дело вылавливала на мелководье проклятых коричневых гадюк, камнем разбивала мудрые плоские змеиные головы, а тела нанизывала на древесные корни, обнажившиеся и торчавшие из прибрежных осыпей. Через неделю вдоль берега уже висело штук двадцать змеиных тушек, испускавших омерзительную вонь, отчасти рыбную, а отчасти противно сладковатую, точно блевотина. У Кассиса и Ренетт еще не закончился учебный год – они оба учились в collège в Анже, – так что в тот день на берегу ко мне мог присоединиться только Поль. Нос я зажала прищепкой для белья, чтобы не так сильно ощущать вонь, и бродила вдоль берега, тщательно перемешивая сачком воду, похожую на суп из глины.

Поль был в шортах и сандалиях; за ним на плетеном веревочном поводке тащился верный пес Малабар.

Равнодушно взглянув в их сторону, я снова уставилась на воду. Поль сел неподалеку, Малабар, тяжело дыша, плюхнулся с ним рядом. Я продолжала заниматься ловлей змей, не обращая на них никакого внимания.

– Ч-что случилось? – наконец спросил Поль.

– Ничего, – пожала я плечами. – Ловлю вот.

Он помолчал и уточнил почти равнодушно:

– З-змей ловишь?

Кивнув, я с некоторым вызовом бросила:

– Да, а что?

– А ничего. – Он погладил Малабара по голове. – Лови себе на здоровье.

И снова умолк; молчание проползло между нами, как липкая улитка; я не выдержала и первой подала голос:

– А вот интересно: очень ей было больно?

Поль задумался, и мне показалось, что он сразу понял, кого я имею в виду. Покачав головой, он уклончиво промямлил:

– Не знаю...

– Я слышала, что, когда яд проникает в кровь, у человека все постепенно немеет. И он вроде как начинает засыпать.

Поль опять уклонился от прямого ответа. Он еще помолчал, не соглашаясь со мной, но и не споря, потом произнес:

– К-кассис с-считает, что Жаннетт Годен наверняка увидела Старую щуку. Вот та ее и прокляла. Ну, сама знаешь... Потому ее з-змея и укусила.

Я недоверчиво мотнула головой. Кассис обожал рассказывать подобные страшные истории, начитавшись своих любимых приключенческих журналов, где печатались повести с броскими названиями: «Проклятие мумии» или «Стая варваров».

– По-моему, вообще никакой Старой щуки здесь нет, – презрительно заявила я. – Во всяком случае, я никогда ее не видела. А такой вещи, как проклятие, на свете и вовсе не существует. Это всем известно.

Поль посмотрел на меня, печально, но все же с некоторым возмущением, и возразил:

– Конечно же они существуют! И проклятия, и Старая щука. Она-то совершенно точно живет у нас в реке, м-мой п-папаша сам ее однажды видел. Еще до моего рождения. Эт-то с-самая б-большая щука на с-свете! Ты даже представить себе не можешь, какая она здоровенная! Мой отец увидел ее, а через неделю свалился с велосипеда и с-сломал ногу. Да и твой

отец тоже ее...

Вдруг он умолк и смущенно потупился.

– Только не мой отец! – возмутилась я. – Отец погиб на фронте!

Перед моими глазами вдруг предстала жутковатая картина: отец плечом к плечу с другими идет в одном общем строю через фронт, растянувшийся почему-то в обе стороны далеко за линию горизонта, идет, точно в пасть безжалостного чудовища...

Поль помотал головой и упрямо повторил:

– Там она. Прячется в самом глубоком омуте. Ей, может, уже лет сорок, а то и все пятьдесят. Щуки ведь долго живут, особенно такие старые. Эта Старуха черная, как придонный ил. И жутко умная. Ей сцапать птичку, севшую на воду, все равно что нам кусочек хлеба проглотить. Мой отец считает, что это и не щука вовсе, а призрак-убийца, проклятое существо, которое навечно приставлено надзирать за живыми. Вот поэтому она и ненавидит всех нас.

Никогда еще я не видела Поля таким словоохотливым, но невольно увлеклась и слушала с интересом. С нашей рекой всегда было связано множество разных легенд и сказок. Но эта история о гигантской Старой щуке, рот которой усеян множеством блестящих рыболовных крючков, доставшихся ей от тех, кто пытался ее поймать, меня прямо-таки завороживала. Считалось, что в глазах этой твари светится злобный дьявольский ум, а в брюхе наверняка таится неведомое бесценное сокровище.

– Отец говорит, – продолжал Поль, – что тому, кто ее поймает, она исполнит любое желание. Вот он бы, по его словам, потребовал с нее миллион франков да плюс к тому, чтобы дала заглянуть Грете Гарбо^[24] под юбку.

Поль глупо ухмыльнулся; ну, тебе этого не понять, ты еще маленькая – читалось в его улыбке.

Я немного поразмыслила и решила: ни в проклятие, ни в исполнение желаний я, пожалуй, все-таки не верю, но отчего-то образ Старой щуки не выходил у меня из головы.

– Если она действительно там, значит, ее можно поймать! – выпалила я. – Это наша река! И мы поймаем ее, эту Старую щуку!

Мне вдруг стало совершенно ясно: я должна непременно поймать ее, просто обязана это сделать! Я подумала о страшных снах, которые преследовали меня с тех пор, как погиб отец; сны о том, как я тону, как меня вместе с грудой других мертвецов выносит на берег черной волной вздувшейся Луары и мертвая плоть утопленников касается меня, липнет к

телу, а я пронзительно кричу и давлюсь этим криком, и его словно кто-то заталкивает мне обратно в глотку, и я снова тону, уже как бы сама в себе... Почему-то все это воплотилось вдруг в образе Старой щуки, и хотя в те времена я, безусловно, не обладала еще аналитическим мышлением и не могла разобраться, что к чему, я вдруг почувствовала твердую уверенность: если поймаю эту рыбину, то со мной наверняка что-нибудь да случится. Что именно, я бы не решилась предположить даже мысленно. Но что-то должно произойти, думала я со все возрастающим, непостижимым возбуждением. Что-то обязательно должно произойти!

Поль растерянно хлопал глазами.

– Ты хочешь ее поймать? – уточнил он. – Но зачем?

– Это наша река, – настойчиво сказала я. – И в нашей реке ее быть не должно!

На самом деле я просто не сумела выразить переполнявшие меня эмоции; мне казалось, что щука неким тайным, неведомым мне самой образом оскорбила меня, причем куда сильнее, чем эти проклятые змеи; особенно меня раздражала ее способность от всех ускользать, а также ее невероятный возраст и явная склонность к злодейству. Но я не смогла подобрать нужные слова, лишь чувствовала, что она настоящее чудовище.

– Да и не поймать ее тебе, – продолжал между тем Поль. – Многие уже пытались. Взрослые мужики, между прочим. Чем только ее не ловили, и удочками, и сетями. Только она любые сети прокусывает и уплывает. А уж лески... их она одним рывком прямо посередине разрывает. Очень она сильная, понимаешь? Сильнее любого из нас.

– Ну и пусть сильнее, – упорствовала я. – Можно заманить в ловушку.

– Надо быть семи пядей во лбу, чтоб Старуху заманить в ловушку, – солидным тоном возразил Поль.

– Ну и что? – Я начала злиться и резко повернулась к нему со сжатыми кулаками и перекошенным от отчаяния лицом. – Ничего, у нас тоже будет семь пядей во лбу! Нас ведь четверо: Кассис, я, Ренетт и ты. Если ты, конечно, не трусишь.

– Я н-не с-ст-т-трушу! Т-только э-т-то же н-н-невозможно!

Поль снова начал сильно заикаться, как всегда, когда чувствовал, что на него давят.

Я презрительно на него посмотрела.

– Ну и ладно. Я и сама все сделаю, если вы откажетесь помогать. Погодите, вот я эту вашу Старуху поймаю!..

Вдруг глаза обожгло слезами. Я сердито смахнула слезы тыльной стороной ладони и заметила, что Поль смотрит на меня с каким-то

странным выражением лица, но молчит. Злобно ткнув сачком в теплую глинистую жижу у берега, я воскликнула:

– Подумаешь, какая-то старая рыбина! – Я снова ткнула сачком. – Вот поймаю ее и подвешу на Стоячих камнях. – Я взмахнула мокрым грязным сачком, указывая на Скалу сокровищ. – Вон там. Да-да, прямо вон там, – тихо повторила я и сплюнула на землю, подтверждая только что данную клятву.

Весь тот жаркий месяц мать чувствовала в доме запах апельсинов, и примерно раз в неделю за этим следовал ужасный приступ. Пока Кассис и Ренетт были в школе, я старалась сбежать из дома на реку; ходила я туда в основном одна, но иногда ко мне присоединялся и Поль, если ему, конечно, удавалось удрать с дядиной фермы, где дел было вечно невпроворот.

Я достигла самого противного возраста, превратившись в весьма дерзкого и строптивого ребенка; мне не хватало общества сверстников, а матери я не слушалась – не выполняла ту работу, которую она велела, не являлась домой к обеду, а то и к ужину, приходила лишь поздно вечером, вся грязная, со слипшимися от пота неприбранными волосами, и одежда моя вся была в желтых разводах от высохшего речного ила и песка. Вообще-то я, можно сказать, с рождения отличалась редкой строптивостью, но в то девятое лето своей жизни я каждое слово матери встречала в штыки; мы с ней выслеживали друг друга, как кошки, охраняющие собственную территорию. Казалось, у обеих от малейшего прикосновения шерсть так и встает дыбом, а из глаз сыплются искры. Любую фразу мы воспринимали как потенциальное оскорбление, поэтому самый обычный разговор превращался в ходьбу по минному полю. За обеденным столом мы с ней сидели напротив и прямо-таки испепеляли друг друга взглядами, поедая суп или блинчики. Кассис и Рен обходили нас стороной, точно испуганные придворные поссорившуюся королевскую чету, и старались помалкивать, лишь изумленно переглядываясь.

Не знаю, почему мы постоянно налетали друг на друга, как бойцовые петухи; возможно, всему виной действительно был мой переходный возраст. Я понемногу выросла и теперь словно в ином свете видела мать, терроризировавшую меня в течение всего детства. Я замечала сдину в ее волосах и морщины по углам рта и с оттенком презрения понимала: передо мной всего лишь стареющая женщина, которая во время своих ужасных приступов становится совершенно беспомощной и вынуждена прятаться в темной спальне.

А она постоянно старалась меня на чем-нибудь подловить, нарочно расставляла всякие ловушки. Во всяком случае, так я считала. Теперь-то мне кажется, что все это у нее скорее выходило невольно, что во всем виноват ее несчастный характер, заставлявший ее изводить меня всевозможными придирками, – тогда как я, тоже в силу собственного

несносного характера, не могла не бросить ей вызов своим неповиновением. В то лето я была убеждена, что она и рот-то открывает, только чтобы меня отругать. Осудить мои манеры, одежду, внешность, высказывания. С ее точки зрения, все во мне заслуживало осуждения. Я неряха, ложась спать, как попало бросаю одежду на спинку кровати, при ходьбе так шаркаю ногами и сутулюсь, что скоро у меня вырастет горб, я обжора и вечно набиваю брюхо фруктами из нашего сада, за столом толком не ем, а значит, вырасту тощей и костлявой. И вообще, почему бы мне не постараться быть такой, как Рен-Клод? В двенадцать лет сестра уже созрела и выглядела вполне взрослой девушкой. Мягкая, нежная, сладкая, как темный мед. Со своими янтарными глазами и волосами цвета осенних листьев она напоминала героиню какой-то волшебной сказки или одну из тех богинь киноэкрана, которыми я восхищалась. Когда мы были поменьше, Рен позволяла мне заплетать ей косы, и я всегда вплетала в эти толстые тяжелые пряди цветы и веточки с ягодами, а голову ей любила украшать венками, в которых моя сестра была похожа на лесного духа. Теперь же в облике Рен и в ее повадке появилось нечто совсем взрослое, некая сладкая покорность. И мать не раз говорила, что я рядом с ней выгляжу как лягушка, как уродливый, тощий лягушонок со своим огромным ртом и вечно надутыми, точно от обиды, губами, со своими крупными и неуклюжими ручищами и ножищами.

Особенно хорошо я помню одну стычку с матерью, случившуюся, как всегда, во время обеда. К столу мать подала *raupiettes* – рулетики из молотой телятины и свинины, перевязанные шнурком; их тушат в густом соусе из моркови, лука-шалота и помидоров с добавлением белого вина. Я со скучающим видом сидела над тарелкой, не проявляя к еде ни малейшего интереса. Ренетт и Кассис молча жевали и делали вид, что остальное их не касается.

Мать уже была доведена до бешенства моим молчанием и явным нежеланием есть приготовленный ею обед. Она даже кулаки стиснула. После гибели отца некому было охладить ту ярость, что вечно кипела в ее душе почти у самой поверхности, едва сдерживаемая тоненькой пленкой приличий. Мать, правда, редко нас била – что, кстати, в те времена казалось весьма необычным, почти ненормальным, – но, как я подозреваю, отнюдь не по причине чрезмерной любви к нам. Скорее уж она опасалась, что, начав бить кого-то, попросту не сможет остановиться.

– Да не сутулься ты, ради бога! – пронзительно бросила она; ее голос показался мне едко-кислым, как незрелый крыжовник. – Смотри, будешь так сутулиться – в конце концов горбатой станешь.

Быстро и довольно-таки нагло я взглянула на нее и поставила локти на стол.

– И локти со стола убери! – почти простонала она. – Посмотри на свою сестру. Нет, ты посмотри, посмотри на нее! Разве она горбится? Разве сидит за столом точно неотесанный поденщик? Разве губы над тарелкой надувает, словно я подсунула ей какую-то дрянь?

Но и после этой тирады я несколько на Ренетт не обиделась. А вот на мать я, естественно, злилась и при каждом удобном случае всячески демонстрировала ей непокорность, которая сквозила в каждом моем жесте, в каждом движении моего тщедушного, еще детского тела. В общем-то, я сама давала сколько угодно поводов для травли. Мать, например, требовала, чтобы выстиранную одежду мы вешали на веревку за подол, я же нарочно вешала за воротник. Банки и кувшины в кладовой всегда следовало ставить наклейками вперед, а я нарочно поворачивала их так, чтобы наклеек не было видно. И конечно, я всегда «забывала» вымыть руки перед едой. Я из вредности меняла порядок, в котором мать обычно развешивала сковороды на кухне – от большей к меньшей. Я оставляла окно на кухне открытым, чтобы оно с грохотом захлопнулось от сквозняка, как только мать распахнет дверь и войдет. Я нарушала тысячу лично ею установленных правил, и на каждое подобное нарушение она реагировала одинаково – яростно и немного растерянно. Соблюдение этих паршивых правил казалось ей, видимо, очень важным; она полагала, что с их помощью она как раз и управляет нашим крохотным мирком. Отними их у нее – и она станет такой же, как все, в полной мере ощутит свои сиротство и неуверенность.

Но тогда я еще не понимала этого.

– Ты упрямая маленькая сучка! Вот что ты рогом уперлась? – Мать оттолкнула от себя тарелку; в ее голосе не было ни враждебности, ни любви, только холод и равнодушие. – Впрочем, в твои годы я тоже такой была, – прибавила она, впервые на моей памяти упомянув свое детство.

И вдруг улыбнулась. Но улыбка вышла натянутая, безрадостная. Казалось немыслимым, что эта женщина когда-то была юной. Я потыкала вилкой рулетики в густом, совершенно застывшем соусе.

– Тоже вечно со всеми спорила да ссорилась, – продолжала мать. – Чем угодно была готова пожертвовать, любого побить, кому угодно сделать больно, лишь бы доказать свою правоту. Лишь бы одержать победу. – Ее черные, как деготь, глаза смотрели на меня внимательно, даже с некоторым любопытством. – Уж очень ты своенравная. Впрочем, я-то с самого первого дня, как ты на свет появилась, знала, какой ты будешь. Из-за тебя все это

снова и началось. И куда хуже, чем прежде. А все потому, что ты ночи напролет орала, но грудь не брала. Не желала, и все. А я лежу без сна, двери поплотней закрою, и в голове у меня точно молот стучит...

Я молча слушала, и вдруг мать рассмеялась – как ни странно, довольно весело – и принялась убирать со стола. Больше она о войне между нами не упоминала ни разу, хотя до конца этой войны было еще ох как далеко.

Наблюдательный пост мы устроили на огромном старом вязе, который рос на нашей стороне Луары, наполовину нависая над водой; из обвалившегося берега торчала целая борода его мощных корней, стараясь дотянуться до воды. Забраться на вяз ничего не стоило даже мне, а с его верхних ветвей была видна вся наша деревня. Кассис и Поль построили на нем «домик», точнее, шалаш: укрепили в развилке ветвей примитивный настил и, связав несколько склоненных ветвей, сделали «крышу». Когда они этот шалаш достроили, именно я проводила там порой целые дни. Ренетт не очень-то любила лазить по деревьям, хотя подъем на Наблюдательный пост был дополнительно облегчен веревкой с узлами, да и Кассис, повзрослев, редко бывал там, и чаще всего шалаш находился в полном моем распоряжении. Я залезала туда, чтобы спокойно подумать и помечтать, а заодно и понаблюдать за дорогой, по которой иногда проезжали немцы в джипах или, гораздо чаще, на мотоциклах.

Деревня Ле-Лавёз немцев мало интересовала. Там не было никаких общественных строений, которыми можно было воспользоваться, ни казармы, ни школы, ни еще чего-либо подобного. Свою штаб-квартиру они устроили в Анже, а в окрестных деревнях оставили только немногочисленные патрули; немцев я видела, если не считать их машин и мотоциклов, мчавшихся по дороге, только когда они раз в неделю навевались на ферму Уриа реквизировать излишки продуктов. К нам на ферму они редко заглядывали, ведь коров у нас не было, только козы да несколько поросят. Нашим основным источником дохода всегда были фрукты, но лето только начиналось, и они еще не созрели. Впрочем, раз в месяц к нам без особой охоты заезжали двое-трое солдат, но лучшие припасы мать надежно прятала, а меня в таких случаях всегда отсылала в сад. И все-таки солдаты в серых мундирах очень меня интересовали; сидя на Наблюдательном посту, я стреляла воображаемыми снарядами в проносившиеся мимо немецкие джипы и с любопытством присматривалась к сидевшим там немцам. Впрочем, особой враждебности к ним я не испытывала, как, по-моему, и все наши ребята. Нами действительно руководило чистое любопытство, когда мы «выслеживали» их; и мы повторяли ругательства: «грязные боши», «нацистские свиньи», всего лишь инстинктивно подражая родителям. Я, например, понятия не имела, что происходит на той территории Франции, которая оказалась полностью

оккупирована немцами, и с трудом представляла, где находится Берлин.

Однажды немцы явились к старому Дени Годену, чтобы присвоить его скрипку. Внучка Дени, Жаннетт Годен, на следующий день рассказала мне, как это происходило. Уже спустились сумерки, так что ставни на окнах были закрыты и шторы опущены. Тут раздался стук в дверь, и Жаннетт пошла открывать. На пороге стоял немецкий офицер, он вежливо, с трудом подбирая французские слова, обратился к ее деду:

– Месье, я... понимаю... у вас есть... скрипка. Я... в ней нуждаюсь.

Из его объяснений следовало, что вроде бы несколько немецких офицеров решили создать военный оркестр. Наверно, даже немцам нужно было как-то развлечься в свободное время.

Старый Дени Годен посмотрел на офицера и добродушно заметил:

– Скрипка, mein Herr, она ведь как женщина. Ее займы не дают.

И он очень аккуратно прикрыл дверь перед носом у фрица. Некоторое время по ту сторону двери царило молчание – видимо, офицер переваривал услышанное. Жаннетт уставилась на деда, испуганно вытаращив глаза. И вдруг снаружи донесся дикий хохот; смеялся тот самый немецкий офицер, громко повторяя: «Wie eine Frau! Wie eine Frau!»^[25]

Больше он к Годенам не приходил, а скрипка так и осталась у Дени почти до конца войны.

Но в начале того лета меня главным образом интересовали отнюдь не немцы. Днем и ночью я думала об одном: как поймать Старую щуку. Планы так и роились у меня в голове. Я изучала всевозможные способы рыбной ловли. Выясняла, что больше подходит для ловли угрей, какие ловушки ставить на речных раков, как пользоваться бреднем и неводом, на что вообще лучше ловить – на живца или на мормышку. Я постоянно ходила к отцу Поля Уриа и буквально изводила его вопросами, и в итоге он выложил мне все, что знал о наживках. Я выкапывала на прибрежных осыпях жирных червей и училась держать их во рту, чтобы в момент насадки на крючок они были теплыми. Я ловила мясных мух и надевала их на рыболовные крючки, которые затем один за другим нанизывала на леску, точно елочную гирлянду. Я мастерила клетки из ивовых прутьев и бечевки, а внутрь клала наживку из объедков, от которой тянулись тонкие нити. Достаточно было слегка коснуться одной из этих нитей, и клетка моментально захлопывалась, а потом вместе со всем содержимым вылетала из воды, вытолкнутая распрямившейся веткой, которую я подсовывала под днище клетки и слабо-слабо закрепляла с помощью тех же нитей. В самых узких местах на реке я натягивала меж песчаными берегами куски старой рыболовной сети. А у противоположного берега Луары оставляла лески с наживкой из тухлого мяса. С помощью своих хитроумных приспособлений я наловила множество окуней, уклеек, пескарей, гольянов и угрей. Часть улова я относилa домой и смотрела, как мать готовит пойманную рыбу. Кухня теперь служила для нас единственной в доме нейтральной территорией, местом краткой передышки от бесконечных военных действий. Обычно я молча стояла возле матери, слушая, как она негромко и монотонно разъясняет мне, как что готовить, а иногда мы вместе варили ее фирменный *bouillabaisse angevine*^[26] – нечто вроде густого рыбного супа с красным луком и тимьяном – или запекали в фольге окуней с грибами и эстрагоном. Но часть рыбы я всегда оставляла на Стоячих камнях, развешивая ее в виде вонючих гирлянд как вызов врагу.

Однако проклятая Старая щука так ни разу и не появилась. По воскресеньям, когда у Рен и Кассиса не было занятий, я пробовала и их заразить своей страстью, но им охотиться на Старую щуку совершенно не хотелось. После того как Рен-Клод тоже поступила в *collège*, они оба как-то сразу от меня отделились. В конце концов, Кассис ведь был на целых пять

лет старше меня, да и Рен – на три года. А вот между ними разница в возрасте почти не ощущалась; мне они оба казались такими взрослыми и такими похожими друг на друга – высокие скулы, одинаковый золотистый загар, – что их можно было даже принять за близнецов. Теперь они часто о чем-то переговаривались с таинственным видом, смеялись каким-то свежим шуткам, которые были понятны только им двоим, и сыпали новыми, совершенно мне неизвестными именами. То и дело я слышала из их уст странные, незнакомые то ли фамилии, то ли прозвища: месье Тупе^[27], мадам Фруссин^[28], мадемуазель Кюлур^[29]. Кассис давал прозвище каждому из учителей и отлично изображал их повадки и голоса, так что Рен хохотала до упаду. А некоторые имена они произносили только шепотом, под покровом темноты, надеясь, что я уже сплю. Это были вроде бы имена их новых друзей: Хайнеман, Лейбниц, Шварц; но любое упоминание об этих людях всегда сопровождалось приглушенным презрительным смехом, в котором отчетливо чувствовались вина и почти истерический страх. Речь точно шла не о жителях нашей деревни, и я догадалась, что это иностранные фамилии, но, когда спросила о них, Кассис и Рен-Клод глупо захихикали и, взявшись за руки, умчались куда-то в сад.

Их скрытность здорово раздражала меня. Отчего-то мои брат и сестра вдруг превратились в заговорщиков, хотя еще совсем недавно мы во всем были на равных. Наши общие развлечения они стали именовать детскими, а Наблюдательный пост и Стоячие камни принадлежали теперь практически мне одной. Рен-Клод заявила, что боится змей и на рыбалку больше не пойдет. Теперь она постоянно торчала у себя в комнате – делала разные сложные прически и вздыхала над фотографиями знаменитых киноактрис. Кассис, правда, почти всегда выслушивал – вежливо, но абсолютно невнимательно, – как я с возбуждением излагаю ему свои далеко идущие планы, но вскоре, извинившись, исчезал под тем якобы предлогом, что ему нужно переписать урок или выучить латинские глаголы для месье Тубона. И я опять оставалась одна. Только потом, став старше, я поняла, как трудно им было от меня отвязаться. Они назначали мне встречи и не являлись; или посылали меня через всю деревню с каким-нибудь бессмысленным поручением; или обещали встретиться со мной на берегу, а сами уходили в лес, и я тщетно ждала их у реки, и сердитые слезы жгли мне глаза. Но когда я возмущенно упрекала их, они притворно хлопали себя по губам и изумленно восклицали: «Не может быть! Неужели мы действительно сказали "у старого вяза"? Да нет, мы вроде бы договаривались у второго дуба!» Однако стоило мне повернуться к ним спиной, как они начинали противно хихикать.

Купались они теперь редко. Рен-Клод входила в воду с опаской и выбирала самые глубокие места с чистой водой, где змей обычно не встретишь. Я жаждала внимания старших и, чтобы его привлечь, совершала поистине невероятные прыжки в воду с самого крутого берега или оставалась под водой, пока Ренетт не впадала в панику и не начинала кричать, что я утонула. Но, несмотря на подобные уловки, они потихоньку ускользали от меня, и я чувствовала себя все более одинокой.

В тот период один лишь Поль остался мне верен, хоть и был старше Рен-Клод. Они с Кассисом были почти ровесниками, однако Поль почему-то всегда казался младше. Да и таким ученым, как мой брат, не был. В присутствии моих сестры и брата он порой лишался дара речи и, слушая их разговоры о школе, всегда улыбался с каким-то отчаянным смущением. Поль едва умел читать и писать, с трудом выводя крупные неровные буквы, словно какой-то малыш. Но он очень любил слушать, когда ему читают вслух, и я, если он приходил ко мне на Наблюдательный пост, читала ему разные истории из приключенческих журналов Кассиса. Мы забирались в наш «домик», он строгал перочинным ножом какую-нибудь деревяшку, а я читала вслух «Гробницу мумии» или «Вторжение марсиан». Между нами лежало полкаравая хлеба, и мы время от времени отрезали по ломтю и подкреплялись. Иногда Поль приносил с собой *rillettes*, завернутые в вощеную бумагу, или полголовки камамбера, и мы устраивали настоящее маленькое пиршество, к которому я старалась добавить то полный карман клубники, то один из маленьких козьих сыров, обваленных в золе, которые моя мать называла зольничками. С дерева были видны все мои ловушки и сети, которые я, впрочем, все равно каждый час проверяла и, если нужно, цепляла свежую наживку, а пойманную рыбу выбирала на жаркое.

– Чего ты попросишь у нее, если все-таки поймашь?

Теперь Поль уже почти верил, что я эту щуку непременно поймаю, и в его голосе слышались невольное восхищение и легкий страх.

Немного подумав, я ответила:

– Не знаю. – И откусила кусок хлеба с *rillettes*. Потом еще помолчала и прибавила: – Какой смысл сейчас это обсуждать? Я ж еще не поймала. В таком деле спешить не стоит.

Да, вот именно: спешить мне совершенно не хотелось. Шла уже четвертая неделя июня, но мой энтузиазм ничуть не иссяк. Как раз наоборот. И равнодушие Кассиса и Рен-Клод лишь сильнее подстегивало упрямое желание во что бы то ни стало поймать Старую щуку. Мне она представлялась неким таинственным черным талисманом, я чувствовала, что если заполучу этот талисман, то сумею исправить все, что у нас в

жизни идет не так, как надо.

Ничего, думала я, я им еще покажу! Вот поймаю щуку, пусть тогда смотрят на меня с восхищением. Небось удивятся – и Кассис, и Рен, и, может быть, даже мать. А интересно, какое у нее тогда будет лицо? Может, она наконец как следует меня разглядит? А может, стиснет в ярости кулаки? Или, наоборот, нежно улыбнется и раскроет мне объятия?..

Тут моя фантазия иссякала. Вообразить себе что-то еще я просто не осмеливалась.

– И потом, – промолвила я с нарочитой скукой, – не очень-то я в это исполнение желаний верю. Я же говорила тебе об этом.

Поль насмешливо хмыкнул, посмотрел на меня и спросил:

– Если не веришь в исполнение желаний, зачем тогда столько со всем этим возишься?

Я покачала головой, помолчала и наконец произнесла:

– Не знаю. Наверно, просто чтобы чем-то заниматься.

Он расхохотался.

– Вот в этом вся ты, Буаз! Вся как на ладони! Надо же – ловить Старую щуку, просто чтобы чем-то заниматься!

И он снова захохотал, катаясь по полу нашего «домика». В итоге он подкатился к самому краю и чуть не свалился вниз в приступе совершенно непонятного мне веселья, и Малабар, привязанный у корней дерева, залаял так громко и отрывисто, что нам пришлось его успокаивать, а самим затихнуть, пока наше тайное убежище кто-нибудь не обнаружил.

Вскоре после этого разговора я обнаружила под матрасом у Рен-Клод губную помаду. Тоже мне, нашла где спрятать! Глупее не придумаешь – там ее любой мог увидеть, в том числе и мать; но у Ренетт всегда не хватало воображения. В тот день была моя очередь убирать постели, и тюбик, наверно, просто выкатился из-под матраса, когда я заправляла выбившуюся нижнюю простыню. Сперва я даже не поняла, что это такое. Мать никогда косметикой не пользовалась. Это был маленький золотой цилиндрок, напоминавший коротенькую ручку-самописку. Я повернула крышечку, чувствуя легкое сопротивление, и открыла. Я как раз решила на пробу мазнуть себя по руке, когда у меня за спиной кто-то испуганно охнул и передо мной возникла Ренетт с очень бледным, искаженным от гнева и растерянности лицом.

– Сейчас же отдай, – прошипела она. – Это мое!

Она выхватила у меня помаду, но не удержала скользкий тюбик, и тот закатился под кровать. Рен моментально нырнула следом, выудила его и выпрямилась. Лицо у нее так и пылало.

– Где ты это взяла? – с любопытством осведомилась я. – Маме известно, что ты пользуешься этой штукой?

– Не твое дело! – рявкнула Рен. – Ты не имеешь права рыться в моих вещах. Вот только посмей кому-нибудь наябедничать...

– А что, могу и наябедничать, – нагло заявила я и усмехнулась. – А могу и промолчать. Это уж от тебя зависит.

Сестра угрожающе шагнула ко мне, но я теперь почти сравнялась с ней ростом, и она, хотя злость и придала ей храбрости, все же не решилась со мной драться.

– Не надо, не говори, – льстивым тоном пропела она. – Хочешь, я сегодня пойду с тобой ловить рыбу? Или можно залезть на Наблюдательный пост и почитать журналы.

– Там посмотрим, – пожала я плечами. – И все-таки где ты это взяла?

Ренетт умоляюще на меня посмотрела.

– Обещай, что никому не скажешь.

– Обещаю.

Я плюнула себе на ладонь. Она секунду поколебалась и сделала то же самое. Потом мы скрепили сделку «печатью», сложив липкие от слюны ладошки.

– Ладно, слушай. – Рен, поджав ноги, устроилась на краешке кровати. – Это началось у нас в школе еще весной. У нас есть один учитель, преподает латынь. Месье Тубон. Это его Кассис прозвал месье Тупе, потому что у него такие смешные кудри, будто парик. Он вечно всеми недоволен. Это именно он то задерживает весь класс после уроков, то заставляет стоять неподвижно. Его у нас все ненавидят.

– Так тебе эту штуку дал учитель? – воскликнула я, просто не веря своим ушам.

– Нет, глупая, что ты! Не перебивай. Ты вроде в курсе, что боши реквизируют у нас в школе оба первых этажа, прежде всего классы с окнами во двор. Ну, для своего штаба. А во дворе муштруют солдат.

Конечно, я об этом слышала. Старая школа, расположенная в самом центре города, с просторными классами и закрытой площадкой для игр и спортивных занятий, идеально подходила для подобных целей. Кассис не раз говорил, что немцы проводят на дворе учения, надев серые рогатые противогазы, но никому на это смотреть не разрешается, так что во всех классах, выходящих во двор, обязательно наглухо закрывают ставни.

– Но кое-кто из ребят все равно потихоньку подглядывал в щель под одной из ставень, – продолжала Ренетт. – Хотя, по-моему, ничего интересного: маршируют без конца туда-сюда и что-то орут по-немецки. Тоже мне, великая тайна. – И сестра презрительно оттопырила нижнюю губу. – В общем, однажды старый Тупе застукал за этим занятием нескольких учеников и давай нас отчитывать, Кассиса, меня и других ребят, ты их, впрочем, все равно не знаешь. Лишил нас законного свободного дня в четверг да еще задал целую кучу дополнительных упражнений по латыни! – Рен сердито фыркнула. – Можно подумать, сам святой! Он-то ведь тоже туда приперся, чтоб на бошей поглазеть! – Она пожала плечами и как ни в чем не бывало сообщила: – В общем, мы сумели ему отомстить. Старый Тупе живет при школе, в квартирке рядом со спальней мальчиков. Вот Кассис как-то и заглянул туда, пока его не было дома. И как ты думаешь, что он там нашел?

Я пожала плечами.

– Большой радиоприемник! Под кроватью! Ну, такой, который принимает длинные волны...

И Ренетт вдруг смущенно умолкла.

– А дальше что?

Я посмотрела на маленький золотой тюбик, который она по-прежнему сжимала в руке; мне было совершенно непонятно, какое отношение ее история имеет к губной помаде.

Она улыбнулась противной, взрослой улыбкой.

– Я знаю, нам не полагается иметь с бошами никаких дел, но нельзя же все время их избегать! – Она отчего-то произнесла это высокомерным тоном. – Ну вот мы, например, постоянно с ними сталкиваемся, то в воротах школы, то в кино.

Эти их поездки в Анже были привилегией, которой я ужасно завидовала. Мать разрешала Рен-Клод и Кассису по четвергам, в их свободный день, ездить в город на велосипедах и посещать кинотеатр или кафе. Конечно, я тут же надулась и сердито потребовала:

– Ладно, давай побыстрей выкладывай!

– А я что делаю? – возмутилась Ренетт. – Господи, Буаз, до чего ты все-таки нетерпеливая! – И она изящным движением поправила прическу. – В общем, как я уже говорила, все равно ведь с немцами иногда сталкиваешься. И они, кстати, не все такие уж плохие. – Снова эта противная, взрослая улыбка. – Некоторые из них очень даже милые. Уж во всяком случае, лучше старого Тупе.

Я нахмурилась и равнодушно заключила:

– Значит, один из немцев дал тебе помаду.

И чего было так трепыхаться из-за ерунды? – недоумевала я. Ренетт вечно суется из-за всяких пустяков.

– Мы сказали им... ну, просто намекнули там одному... Насчет Тупе и его радиоприемника. – И Рен вдруг вся вспыхнула, щеки зарделись, как пионы. – А он подарил нам эту помаду. И сигареты Кассису. И еще кое-что, короче, всякие вещички. – Теперь она вдруг начала тараторить, ее глаза странно заблестели. – А через некоторое время Ивонна Кресонне увидела, как они выходили из квартиры Тупе вместе с ним самим и его радиоприемником. Так что теперь у нас вместо латыни дополнительный урок географии с мадам Ламбер, и никому не известно, что произошло с нашим латинистом.

Ренетт посмотрела прямо на меня; глаза у нее в этот момент казались совершенно золотыми, цвета кипящего сахарного сиропа, когда он начинает карамелизоваться.

– Ну, вряд ли с ним что-то случилось, – рассудительно заметила я, пожав плечами. – Не станут же они отправлять такого старика на фронт только за то, что у него есть радио.

– Нет, конечно не стали бы! – слишком поспешно подхватила Ренетт. – И потом, он действительно не имел права хранить у себя приемник. Все знают, что это не положено.

Я согласилась с ней. И впрямь не положено. Уж учитель-то должен

соблюдать новые правила. Рен любовно разглядывала тюбик с помадой, ласково поглаживая его пальцами.

– Ты ведь не проболтаешься, да, Буаз? – Она тихонько дотронулась до моей руки. – Не проболтаешься?

Я отстранилась и машинально вытерла ту руку, которой она коснулась. Терпеть не могла подобные нежности.

– Вы с Кассисом часто с ними встречаетесь? – спросила я. – С этими немцами?

– Иногда, – ответила сестра.

– И каждый раз что-нибудь им рассказываете?

– Нет, – как-то слишком поспешно отозвалась она. – Мы просто с ними беседуем. Послушай, Буаз, ты ведь никому не проболтаешься, а?

– Может, не проболтаюсь, – улыбнулась я. – Если ты кое-что для меня сделаешь.

Рен прищурилась.

– Что именно?

– Мне бы тоже хотелось иногда ездить в Анже вместе с тобой и Кассисом, – спокойно заявила я. – В кино сходить, или в кафе, или еще куда.

Для пущего эффекта я помолчала, а она, продолжая щуриться, гневно сверлила меня взглядом, острым, как лезвие ножа.

– А если вы не хотите, – продолжала я притворно елейным тоном, – то я могу рассказать матери, что вы встречаетесь с людьми, убившими нашего отца. Что вы общаетесь с ними, шпионите для них. Шпионите для врагов Франции! Интересно, как ей это понравится.

Сестра явно встревожилась.

– Буаз, ты же обещала!

Я с суровым видом покачала головой:

– Мало ли что... Таков мой патриотический долг!

Наверно, эти торжественные слова прозвучали весьма убедительно. Ренетт побелела. Хотя на самом деле понятие «патриотический долг» для меня ровным счетом ничего не значило. И никакой враждебности к немцам я не испытывала, даже когда пыталась убедить себя, что это они убили моего отца. Даже если предполагала, что тот, кто его убил, вполне может находиться где-то рядом – точнее, там, в Анже, всего в часе езды на велосипеде, пьет пиво в баре и курит сигарету «Голуаз». Я вполне ясно могла это представить, однако образ врага был все же лишен должного смысла. Возможно, из-за того, что и лицо-то отца я помнила смутно. А может, причина была в ином, в том, почему дети так редко вмешиваются в

ссоры взрослых, а взрослые так редко оказываются способны понять, отчего у детей возникает внезапная враждебность друг к другу. Я держалась с Ренетт чопорно, говорила неодобрительным тоном, но все это не имело ни малейшего отношения ни к нашему отцу, ни к Франции, ни к войне с немцами. На самом деле мне просто хотелось, чтобы меня снова приняли в игру, чтобы со мной обращались как с равной, чтобы мне тоже могли доверить любую тайну. А еще мне хотелось пойти в кино, увидеть Лаурела и Харди, венгра Белу Лугоши, Хамфри Богарта [11](#); хотелось сидеть в мерцающей темноте зала между Кассисом и Рен-Клод и, может быть, держать в руке кулек с чипсами или лакричную палочку.

– Ты что, с ума сошла? – недоуменно воскликнула Ренетт. – Ты же знаешь, мать тебя ни за что одну в город не отпустит. Скажет, что ты еще слишком мала. И потом...

– А я бы одна и не поехала. Кто-нибудь из вас, Кассис или ты, мог бы подвезти меня на багажнике.

Сдаваться я и не думала. Рен добиралась до школы на велосипеде матери, а Кассис – на отцовском, очень высоком, неуклюжем, чем-то напоминавшем подъемный кран. Пешком было слишком далеко, и, не будь у них велосипедов, им пришлось бы жить в интернате, как большинству деревенских детей.

– Учебный год почти кончился, – рассуждала я. – Можно всем вместе съездить в Анже, посмотреть какой-нибудь фильм или просто так прошвырнуться.

Но на лице сестры было написано прямо-таки ослиное упрямство.

– Она не отпустит нас. Захочет, чтобы мы торчали дома и работали на ферме. Вот увидишь! Она терпеть не может, когда кому-то из нас хочется немного повеселиться.

– В последнее время ей постоянно мерещится запах апельсина, – деловито произнесла я, – а во время приступа она и не заметит нашего отсутствия. Можно ускользнуть потихоньку, и она даже ничего не узнает.

Уговорить Рен оказалось совсем нетрудно. Повзрослев, она стала еще более пассивной; за ее милой, чуть лукавой повадкой скрывалась природная лень, почти равнодушие. Теперь она уже смотрела прямо на меня, но все-таки бросила мне в лицо, точно жалкую горсть песка, свой последний, слабый протест:

– Ты спятила!

Мне было хорошо известно, что все мои поступки кажутся Рен чистым безумием. Она считала безумием столько времени находиться под водой, или, забравшись на самую вершину старого вяза, нашего Наблюдательного

поста, скакать там на одной ножке, или вечно огрызаться на любое замечание матери, или есть незрелые фиги и яблоки.

Поэтому я решительно тряхнула головой и твердо заявила:

– Это все очень легко устроить. Можешь на меня положиться.

Сами видите, какой невинной была сначала наша цель. Мы никому не желали причинить боль; и все же заноза в глубине моей души настаивает, что это не совсем так, там хранится четкая и неумолимая память о том, как все было на самом деле. Мать поняла, как опасна наша затея, задолго до того, как это поняли мы сами. А меня с моим неугомонным, переменчивым нравом, готовую в любую минуту взорваться, как динамит, она понимала особенно хорошо и по-своему пыталась меня защитить, хотя и несколько странным способом, пыталась удержать при себе, пусть даже предпочла бы меня вовсе не видеть. Она уже тогда знала гораздо больше, чем я могла себе представить.

Но мне было не до нее. У меня уже созрел план, не менее хитроумный и тщательно продуманный, чем ловушки для Старой щуки. В какой-то момент мне, правда, показалось, что Поль обо всем догадался, но, если это и так, он ни одним словом себя не выдал. В общем, начиналось все с мелочей, а привело ко лжи, к обману и кое-чему похуже.

Первый шаг был сделан у прилавка с фруктами субботним ярмарочным днем. Через два дня после моего девятого дня рождения, то есть пятого июля.

И сначала был апельсин.

До того лета я считалась маленькой, и в город по рыночным дням меня не брали. Мать уезжала в Анже одна, и уже к девяти утра устанавливала на площади возле церкви небольшой прилавок. Иной раз с ней ездили Кассис или Рен-Клод. Для меня же было свое поручение – следить за хозяйством, но обычно весь этот свободный день я ловила у реки рыбу или гуляла в лесу вместе с Полем.

Однако в том году мать сочла, что я уже достаточно подросла и от меня «должен быть хоть какой-то толк», как она выразилась в своей обычной, грубоватой манере. «Нельзя же вечно оставаться ребенком», – прибавила она и пытливо на меня посмотрела. Глаза у нее были темно-зеленые, как старые крапивные листья. «И потом, – обронила она словно между прочим, чтобы я не отнеслась к этому как к поблажке с ее стороны, – тебе, может, и в другой день захочется съездить в Анже с братом и сестрой, в кино сходить...»

Тут я догадалась: это явно Ренетт постаралась. Больше никто не сумел бы ее убедить. Только Ренетт. Только она знала, как подольститься к матери. И наша твердокаменная мать, разговаривая с Ренетт, всегда светлела лицом, взгляд у нее теплел, словно ее заледенелое нутро слегка оттаивало.

Я буркнула в ответ что-то невнятное, а мать продолжала:

– И тебе, пожалуй, уже пора понять, что у всех в семье есть определенная ответственность. Может, хоть это удержит тебя от твоих диких выходок. Научит, что почем в этой жизни.

Изображая полное послушание, я кивнула, – примерно как Ренетт.

Только мать было не провести. Взглянув на меня, она насмешливо приподняла бровь и сказала:

– Ладно, хоть за прилавком немного поможешь.

И вот я впервые вместе с ней поехала в город на нашей двуколке, доверху нагруженной ящиками с товаром, которые она заботливо прикрыла брезентом. В одном ящике были пироги и печенье, в другом – сыры и яйца, в остальных – фрукты. Правда, лето еще только началось, так что фрукты толком и созреть не успели, зато урожай клубники был весьма неплох. Мы также пополняли свой бюджет за счет продажи повидла, сваренного из остатков прошлогодних фруктов и сахарной свеклы, и с нетерпением ожидали, когда фрукты в саду нальются соком.

В Анже по рыночным дням царила суматоха. Повозки стояли колесо к колесу, заполняя всю центральную площадь и главную улицу; меж повозками с трудом проталкивались велосипеды с плетеными корзинками на багажниках и маленькие открытые тележки, нагруженные бутылками с молоком; какая-то булочница несла на голове поднос с караваями хлеба; на прилавках громоздились горы парниковых помидоров, баклажанов, кабачков, лука, картошки. Чуть дальше виднелись прилавки, где торговали шерстью и кухонной посудой, вином и молоком, домашними консервами и ножами, а также фруктами, старыми книгами, хлебом, рыбой, цветами... Мы с матерью приехали рано и устроились удачно. В фонтане у церкви разрешалось поить лошадей, возле фонтана росли несколько тенистых деревьев. Мать велела мне заворачивать покупки и вручать их покупателю, пока сама с ним рассчитывалась. Она обладала феноменальной памятью и считала с невероятной быстротой. Ей ничего не стоило сложить в уме целый столбец цифр, подсчитывая общую стоимость покупок, ей даже не нужно было эти цифры записывать. И она всегда очень точно, не колеблясь, выдавала сдачу. Вырученные деньги она совала в карманы фартука, банкноты в один карман, мелочь в другой. Затем выручка аккуратно убиралась в старую коробку из-под печенья, спрятанную под брезентом. Я до сих пор помню эту металлическую коробку, розовую, с розочками по краю. Помню, как мать прятала туда монеты и банкноты; банкам она не доверяла и эту розовую коробку со всеми нашими сбережениями хранила в подполе, рядом с наиболее ценными винными бутылками.

В ту самую первую мою поездку на рынок мы буквально в течение часа успели распродать все привезенные яйца и сыры. Покупатели торопились, подгоняемые присутствием солдат, стоявших на перекрестке с ружьями наперевес; их лица выражали скуку и равнодушие. Мать заметила, что я пялюсь на этих солдат в сером, и больно меня шлепнула:

– Прекрати, дурочка, глаза таращить!

Даже когда они проходили совсем рядом, пробираясь сквозь толпу, мать заставляла меня не обращать на них внимания и не убирала ладонь с моего плеча. И вдруг ее рука задрожала, хоть лицо и осталось по-прежнему бесстрастным. Один из немцев остановился возле нашего прилавка. Он был коренастый, лицо круглое, красное – в другой жизни он вполне мог бы оказаться мясником или виноторговцем. Весело блеснув голубыми глазами, он воскликнул:

– Ach, was für schöne Erdbeeren!^[30] – Судя по голосу, он уже успел хорошенько угоститься пивом, точно самый обычный горожанин в выходной день. Он аккуратно взял клубничину своими толстыми пальцами

и кинул в рот. – Schmeckt gut, ja?^[31] – Он засмеялся, но совсем не зло и даже щеки надул от удовольствия. – Wu-n-der-schön!^[32]

И, изображая полный восторг, он смешно выпучил глаза. Я невольно улыбнулась. Материны пальцы опять нервно стиснули мое плечо. Они были обжигающе горячи, и я быстро посмотрела на немца, пытаюсь понять, чего это она так напряглась. Он выглядел ничуть не страшнее тех, что иногда заходили к нам в деревню; наоборот, мне он показался совсем не страшным в островерхой фуражке, вооруженный всего-навсего пистолетом, который висел в кобуре у него на боку. Я снова ему улыбнулась, скорее из чувства неповиновения, чем по какой-то другой причине.

– Gut, ja^[33], – согласилась я и кивнула.

Немец снова рассмеялся, взял еще одну клубничину и пошел назад, на перекресток, расталкивая толпу; его черный мундир выглядел на пестром рыночном фоне как-то странно, точно на похоронах.

Потом мать попыталась мне объяснить. Сейчас всякая военная форма опасна, говорила она, но эти, в черном, хуже всех. Они не просто военные, они – армейская полиция. Их и сами немцы побаиваются. Они что угодно могут с человеком сделать. Им плевать, что мне всего девять лет. Один неверный шаг – и этот в черном мундире меня запросто пристрелит. Пристрелит, ясно мне? Мать чеканила слова с совершенно каменным лицом, но ее голос дрожал, и она все время подносила руку к виску тем же нервным, беспомощным движением, как перед началом очередного ужасного приступа. Я вполуха слушала ее предостережения. Ведь я впервые лично встретила с врагом! Когда я потом, на высоком помосте Наблюдательного поста, размышляла на эту тему, враг показался мне каким-то до странности безобидным. Это меня даже разочаровало. Я ожидала чего-то более впечатляющего.

Рынок обычно закрывался к двенадцати. Но мы все свои товары распродали гораздо раньше и задержались лишь для того, чтобы купить кое-что для себя и собрать всякие подпорченные остатки, которые нам иногда отдавали другие торговцы: перезрелые фрукты, мясные обрезки, подгнившие овощи, которые до завтра уж точно не долежат. Затем мать послала меня в бакалейную лавку, а сама отправилась покупать парашютный шелк – его кусками продавала из-под прилавка мадам Пети, хозяйка швейной мастерской. Мать старательно свернула шелк и засунула в карман фартука. Ткани, любые, достать было почти невозможно, и мы все носили старье. На мне, например, было платье, сшитое из двух старых: лиф у него был серый, а юбка – синяя холщовая. Мать сказала, что этот

парашют нашли прямо в поле, неподалеку от Курле, и теперь она сможет сшить Ренетт новую блузку.

– Стоило, правда, черт знает сколько, – проворчала она то ли сердито, то ли с восхищением. – Небось такие, как эта мадам Пети, и войну запросто переживут. Всегда на четыре лапы приземлятся, как кошки.

Я спросила, что значит «такие, как эта».

– Евреи, – отозвалась мать. – У них прямо талант делать деньги. Это ж надо, столько содрать за кусок шелка! А ведь ей самой он ни гроша не стоил!

Говорила она, правда, совершенно беззлобно, словно удивляясь чужому мастерству. Когда я поинтересовалась, что же тогда плохого сделали евреи, она лишь раздраженно пожала плечами. По-моему, мать и сама толком не знала ответа на мой вопрос.

– Да в общем, они делают то же самое, что и мы: стараются выжить. – Она погладила карман, в котором лежал кусок парашютного шелка, и тихо прибавила: – А все-таки неправильно это – когда хитростью да обманом.

Я пожала плечами, удивляясь про себя: господи, сколько шума из-за куска старого шелка! Но то, чего хотела Ренетт, она так или иначе обязательно получала. Например, бархотки, за которыми надо было либо стоять в очереди, либо на что-то выменивать. Для нее мать переделывала лучшие свои платья; только Рен каждый день ходила в школу в белых гольфах и модельных черных туфельках с пряжками, хотя мы, как и почти все остальные, давно перешли на грубые «деревяшки». Ну и ладно. За столько лет я привыкла к подобным несуразностям в мамином характере.

В общем, напоследок я прошлась вдоль рыночных рядов с пустой корзинкой, и люди, зная печальную историю нашей семьи, даром отдавали мне то, что не сумели продать. Вскоре у меня в корзинке уже лежала парочка дынек, несколько баклажанов, цикорий и шпинат для салата, головка брокколи, изрядная горсть помятых абрикосов. А когда я купила у булочника каравай хлеба, он бросил мне в корзинку еще и парочку круассанов и ласково взъерошил мои волосы крупной, испачканной в муке лапой. Затем я остановилась возле торговца рыбой, мы немного с ним поболтали, обменялась всякими рыбацкими историями, и он подарил мне несколько очень неплохих кусков, завернув их в газету. Под конец я подобралась к прилавку, где торговали овощами и фруктами; его хозяин как раз наклонился, передвигая ящик со сладким синим луком, и я, очень стараясь, чтобы глаза меня не выдали, стала высматривать апельсины.

И почти сразу увидела их – поднос с ними стоял на земле, рядом с прилавком, возле ящика с салатным цикорием. Апельсины тогда были

редкостью, и каждый плод торговец бережно завернул в темно-красную бумажку, а поднос с ними спрятал в тень, подальше от солнечных лучей. Я даже и не надеялась, что в первый свой визит в Анже увижу хоть один апельсин, однако они были прямо передо мной, пять гладких и таинственных плодов в бумажных скорлупках, словно ждущие, когда их переложат в пакет и отдадут покупателю. И мне вдруг нестерпимо захотелось заполучить один апельсин; он был мне настолько необходим, что я и думать больше ни о чем не могла. Вот прекрасная возможность, решила я, и матери рядом нет.

Один из плодов, скатившийся на самый край подноса, почти касался моих ног. Торговец по-прежнему стоял ко мне спиной, а его помощник, мальчишка тех же лет, что Кассис, был занят – носил ящики и укладывал их в кузов маленького грузовичка. Вообще-то машин в городе, если не считать автобусов, почти не было. Раз у этого торговца есть свой автомобиль, значит, он человек вполне обеспеченный, прикинула я. И это тоже в значительной степени оправдывало мои намерения.

Делая вид, что меня безумно интересуют мешки с картошкой, я осторожно скинула с ноги «деревяшку», воровато вытянула босую ногу и пальцами, которые за столько лет лазанья по деревьям и крутым склонам стали очень ловкими и натренированными, подцепила апельсин и вытолкнула его из подноса. Он, как я и предполагала, откатился в сторону и почти исчез под зеленой скатеркой, накрывавшей соседний прилавок.

Я тут же опустила корзину на землю, наклонилась, якобы вытряхивая камешек из своей «деревяшки», и заметила, глядя меж ног, что торговец уже поднимает в свой грузовичок последние ящики с товаром. На меня он по-прежнему не обращал внимания, от его взора укрылось, как ловко я переправила в корзинку украденный апельсин.

Господи, до чего все оказалось легко! Сердце бешено стучало в груди, щеки пылали, и я испугалась, что кто-нибудь меня разоблачит. Апельсин лежал в корзине, точно граната с выдернутой чекой. Я осторожно выпрямилась как ни в чем не бывало, сделала несколько шагов в сторону материной двуколки...

И замерла на месте: только в эту минуту я обнаружила, что у фонтана по ту сторону рыночной площади стоит немец и внимательно наблюдает за моими преступными действиями. Он небрежно, слегка ссутулившись, привалился к бортику и курил сигарету, прикрывая ее сложенной лодочкой ладонью. Рыночный люд старательно его обтекал, он находился как бы в небольшом кругу затишья и пристально на меня смотрел. У меня не было ни малейших сомнений: он конечно же видел, как я украла апельсин; он

просто не мог этого не видеть!

Несколько секунд я тоже, не мигая, смотрела на него; я была просто не в силах двинуться с места. Лицо у меня совершенно задеревенело. Слишком поздно вспомнила я рассказы Кассиса о том, какие жестокости творят немцы. Интересно, а как они поступают с ворами? – думала я. Но этот немец пока что ничего не предпринимал, просто не сводил с меня глаз. А потом вдруг взял да и подмигнул мне.

Еще мгновение я помедлила, по-прежнему пребывая в полном оцепенении, потом резко повернулась и пошла прочь, чувствуя, как горит лицо, и почти позабыв о лежащем на дне корзинки апельсине. Я не смела оглянуться, не смела снова посмотреть на немца, хотя стоял он совсем близко от нашего прилавка. Меня била дрожь, и я была уверена, что мать сразу это заметит, но она не заметила: была слишком занята. Спинай я ощущала взгляд немца и все время вспоминала, как он лукаво и насмешливо мне подмигнул – точно гвоздь засадил в лоб. Теперь я ждала удара, ждала, кажется, целую вечность, но удара так и не последовало.

Мы разобрали прилавок, сложили брезент и козлы в повозку и отправились домой. Я вынула торбу с овсом из-под носа у нашей кобылы, взяла ее под уздцы и повела между рядами, а тот немец все сверлил мне затылок насмешливым взглядом. Апельсин я перепрятала, сунула поглубже в карман фартука, предварительно завернув в кусок влажной газетной бумаги из-под тех рыбных обрезков, что принесла от торговца рыбой. Это было необходимо, иначе мать могла учуять апельсиновый запах. Руки я на всякий случай не вынимала из карманов, чтобы она не обратила внимания на мой оттопыренный карман. И до самого дома я ехала молча.

Я никому не рассказала про украденный апельсин, кроме Поля. Я и ему не собиралась говорить, да он совершенно неожиданно залез на Наблюдательный пост как раз в тот момент, когда я любовалась апельсином, буквально пожирала его глазами, вот и не заметила появления Поля. Он таких фруктов никогда прежде не видел и сперва решил, что это просто золотистый мячик. А потом долго рассматривал апельсин, чуть ли не с благоговением сжимая его в сложенных ладонях, словно боялся, что тот расправит волшебные крылышки и улетит.

Мы разрезали фрукт пополам, подстелив два широких листка, чтобы не пропало ни капельки сока. Апельсин был отличный, тонкокожий, сладкий, с легким кисловато-терпким привкусом. Помню, как старательно мы высасывали из шкурки каждую капельку сока, как потом дочиста выскребли шкурку изнутри зубами и долго еще жевали ее и сосали, пока во рту не стало совсем горько. Измочаленную шкурку Поль хотел бросить вниз, но я вовремя его остановила.

– Давай сюда, – велела я.

– Это еще зачем?

– Нужно.

Когда он наконец ушел, я осуществила последнюю часть плана. Перочинным ножом я разрезала обе половинки апельсиновой шкурки на множество мелких кусочков; ноздри тут же наполнил аромат эфирных масел, горький и возбуждающий. Те два листка, которые мы использовали как салфетки, я тоже порвала на кусочки; запах от них исходил куда более слабый, но они должны были поддержать во влажном состоянии главное оружие – апельсиновую кожуру. Все это я старательно увязала в муслиновый лоскуток, украденный из материной кладовки с вареньем, и сунула узелок вместе с его пахучим содержимым в жестянку из-под табака, а жестянку – в карман.

Теперь все было готово.

Ей-богу, из меня вышел бы отличный убийца – так тщательно я спланировала это преступление! В течение нескольких минут я ликвидировала все наиболее опасные улики: хорошенько выкупалась в Луаре, чтобы уничтожить следы апельсинового запаха на лице и на теле; потом долго терла жестким речным песком ладони, и они теперь прямо-таки сверкали чистотой, приобретя ярко-розовый, несколько воспаленный

оттенки; в довершение всего я острой палочкой старательно вычистила грязь из-под ногтей и уже на пути домой сорвала несколько пучков дикой мяты и натерла ею подмышки, руки, колени и шею. Сильный аромат этой полевой травы, разогретой солнцем, способен перебить любой приставший запах. В общем, когда я явилась домой, мать ничего не заметила. Она готовила на кухне рагу из подаренных нам на рынке кусков рыбы, по всему дому уже разносился аппетитный аромат розмарина, чеснока и жарящихся в масле помидоров.

Вот и прекрасно. Я осторожно коснулась лежавшей в кармане жестянки из-под табака. Да, все просто прекрасно!

Я бы, конечно, предпочла действовать в четверг. В этот день Кассиса и Ренетт обычно отпускали в Анже, выдав им деньги на карманные расходы. Меня же мать считала слишком маленькой для того, чтобы иметь собственные карманные деньги. Да и как их было тратить в деревне? Допустим, я бы нашла на что потратиться, однако мать имела иное мнение.

Но пока я отнюдь не была уверена, что мой план сработает, и решила сначала просто попробовать.

Жестянку из-под табака я спрятала – открыв, разумеется, крышку – под трубой отопления, ведущей из гостиной в кухню. В доме, конечно, не топили, но эта труба, соединенная с горячей кухонной плитой, была достаточно теплой для воплощения моего замысла в жизнь. И действительно, уже через несколько минут от муслинового узелка стал исходить довольно сильный запах апельсина.

Мы сели обедать.

Рагу было вкусное: соус с синим луком, помидорами, чесноком, душистыми травами и чашкой белого вина и нежнейшие кусочки рыбы, которые тушились в этом соусе на медленном огне вместе с жареной картошкой и целенькими луковичками шалота. Свежее мясо мы тогда ели очень редко, зато овощей хватало – мы выращивали их сами; кроме того, мать припрятала в подвале под досками пола три дюжины бутылок оливкового масла и самые лучшие бутылки вина. Ела я жадно. И вскоре услышала:

– Буаз, убери локти со стола!

Материн голос звучал резко, но я успела заметить, как ее пальцы знакомым жестом прикоснулись к виску. Я еле сдержала улыбку: кажется, получилось!

Мать, кстати, сидела ближе всех к трубе отопления.

За столом царил молчок. Еще пару раз мать украдкой прикоснулась к вискам, потом провела пальцами по щеке, по векам, словно проверяя

упругость кожи. Кассис и Рен уткнулись носами в тарелки. Воздух казался тяжелым от свинцового полуденного жара, и у меня вдруг – видимо, из солидарности с матерью – тоже немного разболелась голова.

И тут она рявкнула:

– Кто принес в дом апельсины? Я же чувствую их запах! Ну кто? – В ее пронзительном голосе отчетливо звучало обвинение в смертном грехе. – Ну же? Говорите!

Мы дружно помотали головами.

И снова этот жест. Теперь уже ее пальцы задержались на виске, нежно его массируя, словно нащупывая болевую точку.

– Здесь совершенно точно пахнет апельсинами! Вы правда не приносили их в дом?

Кассис и Рен сидели довольно далеко от жестянки с апельсиновыми корками; к тому же между ними и матерью стоял горшок с рагу, источая дивные ароматы винного соуса, рыбы и разогретого масла. И потом, мы все слишком привыкли к ее ужасным приступам, а потому мои брат и сестра наверняка решили, что этот апельсиновый запах, о котором она так упорно твердит, ей просто мерещится. На этот раз я не сумела сдержать улыбку и прикрылась рукой.

– Буаз, передай, пожалуйста, хлеб.

Я протянула матери круглую плетенку с хлебом; она взяла кусок, но есть его не стала, лишь задумчиво теребила, вжимая пальцы в мякоть и рассыпая крошки по красной клеенке. Если бы я, например, вздумала так обращаться с хлебом, она бы наверняка резко меня одернула.

– Буаз, принеси, пожалуйста, десерт.

С трудом скрывая облегчение, я вылезла из-за стола. От страха и возбуждения меня слегка подташнивало. На кухне я радостно улыбнулась собственному отражению, глядясь в начищенные до блеска медные сковороды. На десерт было блюдо с фруктами и тарелочка с печеньем; печенюшки были, конечно, ломаные, целые мать продавала, оставляя дома только некрасивые или поврежденные. Я обратила внимание, как подозрительно она изучает привезенные с рынка абрикосы, переворачивает их один за другим и даже нюхает, словно один из них может и впрямь оказаться апельсином в абрикосовом обличье. Теперь она уже почти не убирала руку от виска и глаза прикрывала ладонью, точно от слепящего солнца. Потом взяла половинку печенья, но есть не стала, а раскрошила и крошки рассыпала по тарелке.

– Рен, убери посуду. А я, пожалуй, пойду прилягу. Кажется, снова приступ начинается. – Голос матери звучал как обычно, ее плохое

самочувствие выдавал только знакомый жест: быстрые повторяющиеся прикосновения пальцев к виску, щекам, глазам. – Рен, не забудь задернуть шторы. И ставни закрой. А ты, Буаз, вытри посуду и обязательно расставь тарелки как надо.

Даже в таком состоянии она стремилась сохранить раз и навсегда заведенный порядок: блюда и тарелки надлежало тщательно вымыть губкой, вытереть чистым крахмальным полотенцем и расставить непременно по размеру и по цвету. Ничего оставлять на кухонном столе ни в коем случае не разрешалось – это придавало кухне неряшливый вид. Затем посудные полотенца стройными рядами вывешивались на просушку.

– И чтоб хорошие тарелки только горячей водой мыть, слышали? – Голос ее звучал уже болезненно ломко, но она все еще беспокоилась о своих драгоценных тарелках. – И непременно вытрите их с обеих сторон. И не убирайте, пока полностью не высохнут. Буаз, ты слышишь меня?

Я кивнула. Мать поморщилась и отвернулась. Ее глаза блестели, словно от жара.

– Рен, проследи, чтобы она все сделала как полагается. – Мать смотрела на часы, странно покачивая головой. – И двери обязательно закройте. И ставни тоже.

По-моему, ей больше всего хотелось уйти к себе, но она все еще не решалась оставить нас без присмотра, на свободе, со своими тайными делами. Она встала и, повернувшись ко мне, произнесла резким и надменным тоном, скрывая невнятное беспокойство:

– Ты, Буаз, главное, не забудь как следует убрать тарелки. Вот и все.

Наконец она ушла. Было слышно, как в ванной льется вода в раковину. Я опустила в гостиной специальные шторы затемнения и задернула занавески; затем, быстро нагнувшись, вытащила из-под трубы жестянку с апельсиновыми шкурками и, выйдя в коридор, громко, чтобы мать меня услышала, крикнула:

– Я разберу тебе постель, мам!

Оказавшись у нее в комнате, я сначала закрыла ставни, опустила темные шторы, сняла с постели покрывало и аккуратно его сложила. Затем быстро огляделась. В ванной все еще слышался плеск воды – мать, видимо, чистила зубы. Я быстро и бесшумно извлекла из полосатой наволочки подушку, кончиком перочинного ножа чуточку подпорол шов и сунула внутрь муслиновый узелок с корками, стараясь рукояткой ножа протолкнуть его как можно глубже, чтобы мать не почувствовала непонятный твердый комок. Сердце молотом стучало в груди. Затем я снова натянула наволочку и тщательно разгладила самые мелкие морщинки. Мать

всегда замечала подобные вещи.

Успела я как раз вовремя. С матерью я встретилась уже в коридоре; она хоть и посмотрела на меня подозрительно, но промолчала. Вид у нее уже был отсутствующий, взгляд безумный, веки словно припухли, темные с проседью волосы распущены по плечам. От нее исходил сильный запах туалетного мыла. В полутьме коридора она напомнила мне леди Макбет – историю о леди Макбет я недавно прочла в одной из книжек Кассиса; и руки у матери постоянно двигались, терли друг друга, касались висков, гладили лицо, снова баюкали и терли друг друга – казалось, она пытается стереть с себя не только ненавистный запах апельсина, а некое несмываемое кровавое пятно.

Меня вдруг охватили сомнения: мать выглядела какой-то ужасно старой и усталой. Боль так и стучала у меня в висках; душу снедало нестерпимое желание подойти к ней, прижаться головой к ее плечу. Интересно, как она отреагирует? На секунду глаза мне ожгло слезами. Господи, зачем я это делаю? И тут я вспомнила о Старой щуке, там, на темном дне поджидающей очередную жертву; я представила себе ее жуткие глаза, исполненные безумной злобы, и тот таинственный «приз», что скрывался у нее внутри...

– Ну? – Голос матери звучал хрипло; слова падали, как холодные камни. – На что ты вылупилась, идиотка?

– Ни на что. – Слезы на глазах моментально высохли, даже голова болеть перестала. И я чуть громче повторила: – Ни на что.

Когда в двери ее спальни щелкнул замок, я, не оборачиваясь, направилась напрямик в гостиную, где меня уже ждали Кассис и Рен. Я спокойно встретила их вопросительные взгляды, торжествуя про себя улыбаясь.

– Ты спятила! – выпалила Ренетт.

Это ее обычное беспомощное восклицание, когда иных аргументов нет. Впрочем, свой запас аргументов она всегда исчерпывала очень быстро; хорошо она разбиралась только в губной помаде и сплетнях про кинозвезд.

– А что такого? Сегодняшний день не хуже любого другого, – ничуть не смутившись, заявила я. – Теперь она до полудня проспит. Можно быстренько переделать все дела по дому и ехать куда угодно.

Я в упор посмотрела на сестру. Мы с ней были по-прежнему связаны тайной губной помады, найденной мною две недели назад, и я глазами напомнила ей, что ничего не забыла. Кассис с любопытством на нас поглядывал, но я была уверена: Рен ничего ему не рассказала.

– Она придет в ярость, если узнает, – медленно произнес он.

– А откуда она узнает-то? – пожала я плечами. – Можно соврать, что мы ходили в лес за грибами. Да она вообще вряд ли с постели поднимется до того, как мы вернемся.

Кассис молчал, явно взвешивая все «за» и «против». Рен бросила на него взгляд, одновременно и умоляющий, и тревожный, и очень тихо промолвила:

– Поехали, Кассис. – И прибавила почти шепотом: – Ей все известно. Она все у меня выведала о... – Рен помедлила, потом с несчастным видом закончила: – В общем, мне пришлось кое-что ей рассказать.

– Ага...

Брат одарил меня взглядом, в котором я заметила нечто новое, сродни, пожалуй, даже восхищению. Он с деланным равнодушием пожал плечами – да какая разница, в конце концов? – но глаза остались настороженными и внимательными.

– Я не виновата, это она... – пролепетала Ренетт.

– Ясное дело. Она у нас девочка сообразительная. Ты ведь у нас сообразительная, верно, Буаз? – обронил Кассис почти весело. – Да ладно, она бы все равно рано или поздно пронюхала.

Это была наивысшая похвала, и еще несколько месяцев назад я бы себя не помнила от гордости, но теперь просто посмотрела на него в упор и промолчала.

– И потом, – продолжал Кассис тем же легким тоном, – если она тоже будет во все замешана, то, по крайней мере, не наябедничает матери.

Мне все-таки недавно только девять исполнилось, и я, хоть и была развита не по годам, совершенно по-детски обиделась. Меня больно ужалило то презрение, что прозвучало в небрежных словах брата.

– Я не ябеда!

Кассис пожал плечами.

– Да ладно, можешь ехать с нами. Но учти: платить за себя будешь сама. – Теперь он заговорил уже своим обычным тоном: – С какой стати нам за тебя платить?

Я, так и быть, довезу тебя на багажнике, но на большее не рассчитывай. Там уж сама как хочешь выкручивайся. Идет?

Это было очередное испытание. Я видела вызов в глазах брата. И улыбался он насмешливо, совсем не той добродушной улыбкой, с какой иногда отдавал мне последний кусочек шоколада, а иногда мог так прижечь мне руку ядовитым тунговым маслом, что кровь запекалась под кожей темными пятнами.

– Да ведь у нее и денег-то нет, – заныла Ренетт. – Ну какой смысл брать ее...

Брат только плечами передернул – таким типично мужским жестом, прекращающим всякие споры: я сказал, и все. Его интересовало, что я отвечу, и он спокойно ждал, скрестив на груди руки и чуть презрительно улыбаясь.

– Отлично, – кивнула я, стараясь, чтоб не дрогнул голос. – Согласна. Значит, едем завтра?

– Ну, раз так, – отозвался Кассис, – завтра и поедem.

Часть домашней работы мы решили переделать заранее. Натаскали на кухню воды – для готовки и мытья посуды. Горячей воды у нас не было; у нас, собственно, и водопровода-то не было, только ручной насос возле колодезной скважины в нескольких шагах от двери, ведущей на кухню. Электричество в Ле-Лавёз так и не провели, газ в баллонах достать стало практически невозможно, и теперь мы готовили на старой кухонной плите, топившейся дровами. Снаружи во дворе имелась еще одна плита, огромная, допотопная, топившаяся углем и очертаниями напоминавшая сахарную голову. Рядом с ней был колодец, откуда мы, собственно, и брали воду – один качал ручку насоса, второй держал ведро. На колодце имелась деревянная крышка, обычно не только плотно закрытая, но и запертая на висячий замок; крышка и замок появились там давным-давно, еще до моего рождения, во избежание несчастных случаев, как пояснила мать. Когда она не видела, мы умывались у колодца под струей из насоса, брызгая друг в друга ледяной водой. Но если мать была поблизости, приходилось пользоваться тазиками, подогревать воду на плите и непременно мыться с мылом – твердым, как кусок угля, дегтярным мылом, которое, точно пемза, сдирало кожу и оставляло на поверхности воды сероватый налет.

Но тем воскресным утром мы точно знали: мать еще долго не поднимется с постели. Вечером допоздна было слышно, как она стонет и ворочается на старой кровати, которую когда-то делила с отцом. Ночью она то и дело вставала, бродила по комнате, открывала окно, словно ей не хватало воздуха; ставни с громким стуком ударялись о стены дома, а пол дрожал под ее тяжелыми шагами. Я долго лежала без сна и все прислушивалась к ее шагам, вздохам и лихорадочным спорам, которые она вела с самой собой прерывистым шепотом. Наконец уже где-то после полуночи я задремала, но примерно через час проснулась и поняла, что мать все еще не спит.

Наверно, сейчас эта история звучит совершенно бессердечно, но тогда, если честно, я действительно испытывала только одно чувство: чувство победы. И никакой вины за собой не видела, и никакой жалости к ее страданиям в моей душе не было. Я тогда этих ее страданий попросту не понимала, не представляла даже, какой пыткой может стать бессонница. Мне было всего лишь интересно, как это крошечный узелок с апельсиновыми шкурками, засунутый в подушку, способен вызвать

подобную реакцию. Должно быть, чем чаще она взбивала подушку, чем горше и глубже вздыхала, тем сильнее становился столь ненавистный ей запах, ведь подушка уже здорово нагрелась от ее болезненно горячей головы и шеи. А чем сильнее был запах, тем сильнее становилась ее тревога, ее ужас, связанный с очередным надвигающимся приступом. Вот сейчас вновь начнется эта боль, думала она, и отчего-то ожидание боли казалось ей даже более мучительным, чем сама боль. Тревога, связанная с тем, что боль может обрушиться на нее в любой момент, затаилась в глубокой и уже никогда не исчезавшей морщине, пересекавшей ее лоб; эта тревога вгрызалась ей в мозг, как крыса в стенки крысоловки, убивая сон. Нос сигнализировал ей: где-то здесь спрятаны апельсины. Но разум возражал: нет, это невозможно, откуда, черт возьми, здесь взяться апельсинам? И все-таки запах апельсинов, горьковатый, желтый, как сама старость, сочился, как ей казалось, из каждого темного пятнышка, из каждой пылинки.

Часа в три мать поднялась, зажгла лампу и записала что-то в альбом. Я, конечно, не могу утверждать, что эта запись наверняка относится к тому моменту – мать никогда никаких чисел не ставила, – и все-таки почти уверена, что это написано той самой ночью.

«Сейчас стало гораздо хуже, чем прежде, – ползет по странице ее мелкий-мелкий почерк, словно цепочка муравьев, выпачканных фиолетовыми чернилами. – Лежу и не знаю, удастся ли хоть ненадолго уснуть. Нет ничего хуже бессонницы! Кажется, даже безумие и то принесло бы какое-то облегчение».

А чуть ниже, под рецептом ванильного пирожного «картошка», нацарапано: «Я вся поделена на части, как циферблат этих часов. В три утра, пожалуй, что угодно сочтешь возможным».

После этого она и отправилась в ванную за морфием. Эти таблетки хранились рядом с бритвенным прибором покойного отца. Я слышала, как она открыла дверь спальни, как скрипнули полированные доски пола под ее влажными от пота ступнями. Потом брякнули пилюли, которые она вытряхивала из бутылочки, звякнула чашка, когда она наливала себе воды из кувшина. Скорее всего, то, что она в течение шести часов крутилась и не могла уснуть, в конце концов и вызвало у нее очередной приступ мигрени. Впрочем, теперь это уже неважно; приняв морфий, она моментально отключилась, словно кто-то погасил лампу. И я, повалявшись немного, осмелилась встать.

Ренетт и Кассис еще спали; с улицы из-под толстых штор затемнения просачивался бледный, какой-то зеленоватый свет. Я решила, что сейчас, наверно, уже около пяти; у нас в спальне часов никогда не было. Я села,

ощупью отыскала в полутьме одежду и прямо в кровати быстро оделась. В нашей маленькой спальне я ориентировалась отлично. Послушав, как дышат во сне Кассис и Рен – он более поверхностно, с легким присвистом, – я, ступая почти бесшумно, прошла мимо их кроватей и исчезла за дверью. Мне еще много чего надо было переделать, прежде чем их будить.

У двери материной спальни я помедлила, хорошенько напрягая слух. Оттуда не доносилось ни звука. Я знала, что раз уж она приняла таблетки, то, скорее всего, будет спать как убитая, но рисковать было нельзя: а что, если она проснется и поймает меня? С превеликой осторожностью я повернула дверную ручку, и вдруг доска под моей босой ногой скрипнула, да так оглушительно, словно взорвалась шутиха. Я замерла с поднятой ногой, прислушиваясь к дыханию матери – вдруг проснется? Нет, она дышала по-прежнему ровно, и я проскользнула в комнату. Один ставень на окне остался открытым, и в комнате было почти светло. Мать лежала поперек кровати. Ночью она ногами спихнула с себя одеяло и простыни; одна подушка тоже валялась на полу, а вторую удерживала ее отброшенная в сторону рука. Голова матери под каким-то на редкость неудобным углом свисала с кровати, распущенные волосы мели пол. Я ничуть не удивилась, увидев, что рука ее покоится как раз на той подушке, в которую я засунула узелок с апельсиновыми корками. Я опустилась возле нее на колени. Дышала она медленно, с трудом. Под темными, как синяки, веками беспорядочно двигались глазные яблоки. Я медленно и очень осторожно сунула пальцы внутрь той подушки, на которой покоилась ее рука.

Вынуть узелок оказалось нетрудно. Я быстро нащупала его, подтащила к прорези и, крепко вцепившись в него ногтями, вытянула из потайного убежища. В один миг он благополучно оказался у меня на ладони, а мать даже ни разу не пошевелилась. Только глаза ее продолжали метаться туда-сюда под темными веками, словно все время следили за чем-то ярким, ускользающим. Рот у нее был полуоткрыт, по щеке на простыню сползла нитка слюны. Повинуясь внезапному порыву, я сунула мешочек с корками прямо ей под нос, предварительно помяв его как следует для усиления апельсинового запаха; она что-то жалобно прохныкала во сне, отворачивая голову от запаха и хмуря брови. Тогда я, убрав мешочек поглубже в карман, принялась за дело, на всякий случай поглядывая на мать, словно на опасного зверя, который, возможно, только притворяется спящим.

Для начала я подошла к каминной полке, где всегда стояли часы, тяжелые, с круглым циферблатом под позолоченным стеклянным колпаком.

Они выглядели несколько странно, как-то чересчур помпезно над простой черной каминной решеткой и совершенно не вязались с остальной обстановкой спальни, но мать получила их в наследство от своей матери и считала одной из самых больших своих ценностей. Я приподняла стеклянный колпак над часами и осторожно перевела стрелки назад. На пять часов. Потом на шесть. И опустила колпак на место.

Затем я передвинула предметы на каминной полке: фотографию отца в рамке, фотографию какой-то женщины – мне говорили, что это моя бабушка, – глиняную вазочку с засохшими цветами, блюдечко, на котором лежали три шпильки для волос и одинокий миндальный орешек в сахаре, оставшийся после крестин Кассиса. Фотографии я повернула лицом к стене, вазочку поставила на пол, а шпильки для волос, лежавшие на блюдечке, спрятала в карман материнского фартука, валявшегося тут же. После этого я в артистическом беспорядке развесила по комнате ее одежду. Одну ее «деревяшку» пристроила на абажур, вторую – на краешек подоконника. Платье аккуратно повесила на плечиках за дверью, а фартук расстелила на полу, точно скатерть для пикника. В довершение всего я открыла дверцу гардероба так, чтобы в зеркале на внутренней стороне дверцы отражались кровать и сама мать, лежащая на этой кровати. Проснется и первым делом увидит собственное отражение.

На самом деле я действовала не из каких-то злых побуждений, а просто желая сбить ее с толку. Я не имела ни малейшего намерения причинить ей боль или как-то особенно сильно ее расстроить; мне хотелось ее обмануть, заставить думать, что этот воображаемый приступ был настоящим, что она, сама того не ведая, переставила в комнате все предметы, перевесила одежду, перевела стрелки на часах. От отца я знала, что она порой и впрямь ничего не помнит о своих поступках; а когда у нее от головной боли мутится сознание, она вообще все видит и воспринимает как-то искаженно, неправильно. То ей чудится, что кухонные настенные часы разрезаны пополам и одна их часть видна ясно, а вторая куда-то исчезла и вместо нее только пустая стена; то вдруг бокал для вина самостоятельно изменит привычное место и начнет коварно перемещаться вдоль края тарелки. То чье-то лицо – мое, или отца, или хозяина кафе Рафаэля – вдруг лишится некоторых черт, словно под ножом какого-то ужасного хирурга; или вдруг испарится полстраницы в книге кулинарных рецептов, а буквы на оставшейся половине начнут как-то странно приплясывать.

Конечно, тогда я ничего этого толком не понимала. Подробности открылись мне лишь благодаря ее альбому, когда я наконец сумела

разобраться в ее сумбурных записях, сделанных микроскопическим почерком, а порой и вовсе нацарапанных вкривь и вкось, будто в лихорадке. Иногда, впрочем, я поражалась холодной констатации факта, граничащей с полным отчаянием: «В три утра, пожалуй, что угодно сочтешь возможным». А иные ее слова свидетельствовали о том, что она с каким-то безучастным, почти научным любопытством подмечала симптомы своей болезни: «Я вся поделена на части, как циферблат этих часов».

Когда я вышла из дома, Рен и Кассис еще спали; по моим прикидкам, у меня было примерно полчаса доделать все до того, как они проснутся. Сначала я проверила, ясное ли небо. Да, оно было ясное, чуть зеленоватое, с бледно-желтой полоской на горизонте. Рассвело всего минут десять назад. Однако мне следовало поторопиться.

Я принесла из кухни ведро, сунула ноги в «деревяшки», ждавшие меня на коврике возле двери, и поспешно кинулась к реке. Срезая путь, я промчалась через заднее поле фермы Уриа с огромными цветущими подсолнухами; их зеленые головы на мохнатых стеблях были обращены к бледному небу. Пригибаясь, чтобы меня кто-нибудь случайно не заметил, я бежала под широкими листьями подсолнухов, и ведро при каждом шаге больно било меня по ноге. Через пять минут я уже была на берегу перед Стоячими камнями.

В пять утра Луара выглядит на редкость спокойной. Под своим легким туманным покрывалом она предстает роскошной холодной красавицей; вода в ней какая-то волшебна-светлая; песчаные берега вздымаются, точно затерянные в океане континенты. От реки пахнет ночью, и на ней то тут, то там вспыхивает блесками слюды свет разгорающейся в небе зари. Сняв башмаки и платье, я внимательно осмотрела реку. Она казалась какой-то подозрительно застывшей.

Последний из Стоячих камней, Скала сокровищ, находился примерно шагах в тридцати от берега, поверхность воды у его подножия была странно шелковистой – верный признак того, что там, в глубине, крутит сильное течение. И я вдруг подумала: а ведь я здесь запросто и утонуть могу и никто даже не догадается, где меня искать.

Впрочем, выбора не было. Кассис бросил мне вызов. И я кровь из носу должна была раздобыть денег, чтобы самостоятельно за все расплатиться. А где еще я могла их взять, как не в том кошельке, что хранился в нашей Сокровищнице? Правда, Кассис мог Сокровищницу и перепрятать. И я решила: если так, я пойду на риск и украду деньги у матери. Вытащу их прямо у нее из сумочки. Хотя мне очень не хотелось к этому прибегать. Не потому, что красть нехорошо, а потому, что у матери была потрясающая память на числа. И она всегда точно помнила, сколько у нее денег в кошельке – до последнего сантима. Она, конечно, сразу догадалась бы, что это моих рук дело.

Нет. Надо непременно опустошить Сокровищницу.

Поскольку у Кассиса и Ренетт наступили каникулы, они ходили на реку довольно часто. Да и сокровища они теперь завели свои собственные, взрослые; мне на них разрешалось только с завистью смотреть. Хотя монеток в старом кошельке вряд ли прибавилось; хорошо, если наберется на пару франков. Я рассчитывала на лень Кассиса и на его уверенность в том, что никто, кроме него, до Сокровищницы добраться не сумеет. А потому почти не сомневалась: деньги по-прежнему там.

Я осторожно сползла по берегу и вошла в воду. Вода была холодная; ступни тонули в речном иле. Зайдя по пояс, я почувствовала силу течения, бившегося, точно нетерпеливый пес на поводке. Господи, до чего бешеный нрав у этой реки! Я сравнялась с первым столбом, оттолкнулась от него рукой и сделала еще шаг. Течение усиливалось. Прямо впереди было опасное место, где дно довольно-таки мелкой Луары резко уходит вниз, образуя омут. Кассис каждый раз, оказавшись там, делал вид, что тонет: переворачивался в мутной воде пузом вверх, пронзительно вопил и отплевывался, якобы борясь с течением. И сколько бы раз он этот свой трюк ни проделывал, Рен всегда покупалась и визжала от страха, когда коричневатая луарская вода накрывала его с головой.

Но сейчас у меня на подобный выпендрёж времени не было. Я пальцами нащупала край обрыва. Вот он. С силой оттолкнувшись, я постаралась проплыть как можно дальше, следя, чтобы Стоячие камни по-прежнему находились справа от меня и чуть ниже по течению. На поверхности вода была теплее, да и течением сносило не так сильно. Я двигалась размеренно, описывая плавную дугу от первого Стоячего камня до второго. Камни находились на неравных расстояниях друг от друга и не на одной линии по отношению к берегу; в самом широком месте между ними было, наверно, шагов двенадцать. Если хорошенько оттолкнуться, то первые пять шагов можно было преодолеть почти без усилий, но только держась чуть вверх по течению, чтобы оно же потом тебя и подтащило к следующему столбу. Точно маленькая лодка, противящаяся сильному ветру, я неровными рывками приближалась к Скале сокровищ, чувствуя, как с каждой секундой нарастает мощь течения. У меня уже перехватывало дыхание от холода, когда я наконец достигла четвертого столба и приготовилась совершить последний бросок к заветной цели. Когда я, влекомая течением, подплыла к Скале сокровищ и, немного промахнувшись, не смогла сразу ухватиться за столб, меня на мгновение охватил слепящий ужас. Меня сносило на стрежень реки; я бессмысленно молотила по воде руками и ногами, задыхалась и чуть не плакала, но потом

все же ухитрилась из последних сил оттолкнуться ногами и вырулить к столбу. Цепь, на которой висел наш заветный сундучок, была вся покрыта бурым речным илом и водорослями; на ощупь она была отвратительно скользкой, но я вцепилась в нее мертвой хваткой. Крепко держась за цепь, я обогнула столб, отыскивала уходящий в глубину конец и немного повисела на месте, чтобы успокоить бешено колотящееся сердце.

Собравшись с силами и крепко упершись спиной в надежную каменную опору, я стала вытягивать Сокровищницу наверх. Это оказалось непросто. Сам по себе жестяной сундучок был довольно легким, но вместе с толстой цепью и промасленным брезентом, предохранявшим его от воды, он весил немало; мне казалось, будто я гроб со дна тащу. Прогрогнув насквозь, стуча от холода зубами, я сражалась с тяжелой цепью. Наконец я почувствовала, что она немного подалась, и стала поднимать сундучок. Ногами приходилось работать непрерывно, иначе бы отнесло от столба, и тут меня вновь с головой накрыла паника, поскольку ноги обвил скользкий от ила тяжелый брезент, лишив их возможности двигаться. Лягаясь что было сил, я отталкивала от себя проклятый брезент и одновременно пыталась развязать веревку, привязанную к жестянке. Но узел моим онемевшим пальцам поддаваться не желал, и в какой-то момент мне показалось, что я так и не смогу добраться до кошелька с деньгами. Я дернула за веревку, щеколда на крышке сундучка не выдержала, он открылся, и туда хлынула вода. Я выругалась, но кошелек-то оказался на месте! Старый кошелек из коричневой кожи, который мать выбросила, потому что у него сломался замочек. Я схватила его и на всякий случай зажала в зубах; потом последним усилием захлопнула крышку и отпустила сундучок – пусть эта чертова цепь снова утащит его на дно. Брезент, конечно, уплыл, все наши сокровища промокли насквозь, но я решила, что тут уж ничего не поделаешь. Придется Кассису поискать местечко посуше для хранения своих сигарет. Деньги я заполучила, и это было самое главное. Остальное не имело значения.

На обратном пути я решила перемещаться не от столба к столбу, а позволить течению отнести меня в сторону метров на двести и только потом выбралась на берег возле дороги, ведущей в Анже. Течение там напоминало взбесившегося коричневого пса, который грозил сорваться с поводка и так опутал мои окоченевшие ноги, что я не сразу сумела вылезти из воды. Но в целом, по моим прикидкам, вся эпопея с добыванием денег заняла, наверно, не больше десяти минут.

Я заставила себя немного передохнуть, ощущая на лице ласковое прикосновение первых солнечных лучей, которые мгновенно высушили

прилипший к коже речной ил, превратив его в противную бурую пленку. Меня бил озноб. Стуча зубами от холода и радостного возбуждения, я пересчитала добытые деньги: их, безусловно, хватало и на билет в кино, и на стакан сквоша. Вот и прекрасно! Я неторопливо побрела вверх по течению к тому месту, где оставила одежду: старую юбку и красную мужскую рубашку без рукавов, укороченную, но скорее походившую на халатик, чем на блузку. Затем, сунув ноги в старые «деревяшки», я на всякий случай проверила верши. Часть улова я прихватила с собой – рыбешки покрупнее вполне годились на жаркое, – а всякую мелочь оставила в качестве наживки. В ловушку для раков, поставленную возле нашего Наблюдательного поста, попалась небольшая щучка – вот неожиданная удача! Это, конечно, была не та Старуха, но все же очень неплохо; я сунула щучку в ведерко, прихваченное с собой из дома. В сетях, которые я раскинула на илистых отмелях под высоким песчаным берегом, обнаружились целый клубок угрей и вполне приличных размеров уклейка; эту рыбу я тоже бросила в ведро. Отличное алиби, если Кассис и Рен уже проснулись и увидят, как я возвращаюсь с реки. Домой я отправилась тем же путем, каким и пришла, не встретив по дороге ни малейших препятствий.

Прихватив с собой рыбу, я поступила очень разумно. Кассис уже умывался возле насоса, а Ренетт, согрев себе воды и налив ее в тазик, нежно возила по лицу мыльной губкой. Оба посмотрели на меня с некоторым удивлением, затем на лице Кассиса появилось, как и всегда при виде меня, такое презрительно-веселое выражение, и он сказал, указывая подбородком на ведерко с рыбой:

– Ну да, ты ведь у нас никогда не сдаешься, верно, Буаз? И что там у тебя?

Я равнодушно пожала плечами.

– Так, кое-что. – Кошелек давно лежал в кармане, и про себя я торжествующе улыбалась, чувствуя его успокоительную тяжесть. – Щучка. Правда, небольшая.

Кассис засмеялся.

– Маленьких ты еще сто штук наловишь, а вот Старуху тебе никогда не поймать! Даже если и поймаешь, что тебе делать с ней? Такая старая щука для еды совершенно не годится. Горькая, как полынь, и костей полно.

– А я все равно ее поймаю! – упрямо заявила я.

– Да? – насмешливо отозвался он, явно мне не веря. – Ну поймаешь, и что? Небось надеешься желание загадать? Выпросить миллион франков и квартиру в Париже на Левом берегу?

Я молча помотала головой.

– А я бы хотела стать кинозвездой, – мечтательно промолвила Рен, вытирая лицо полотенцем. – Поехать в Голливуд, увидеть бульвар Сансет, сверкающие огни, ездить на лимузине, купить разных платьев, сколько угодно...

Вдруг Кассис так сердито на нее взглянул, что мне стало смешно, и сразу же повернулся ко мне.

– Ну а ты-то что у нее попросишь, Буаз? – Он снова улыбался во весь рот, но взгляд был жесткий. – Что? Меха? Машины? Виллу в Жуан-ле-Пен?

Покачав головой, я спокойно ответила:

– Когда она попадется мне, тогда и решу. А она наверняка мне попадется. Вот увидишь!

Несколько мгновений брат внимательно смотрел на меня, потом улыбка сползла с его губ, он презрительно фыркнул и вернулся к водным процедурам.

– А ты и впрямь крепкий орешек, Буаз, – буркнул он. – Ей-богу!

И мы принялись за дела, чтобы поскорее их закончить, пока мать не проснулась.

На ферме работы всегда хватает. Натаскать из колодца воды в оцинкованных ведрах и выставить их у стены подвала под навесом, чтоб вода не нагрелась на солнце; подоить коз, отнести бадейку с молоком в молочный сарай и прикрыть чистой муслиновой тряпочкой; отвести коз на пастбище, иначе они все овощи в огороде сожрут; покормить кур и уток; собрать созревшую за ночь клубнику; растопить плиту – хотя я лично сомневалась, что мать будет сегодня что-то печь; вывести нашу кобылу Бекассин на пастбище; налить в поилки свежей воды. В общем, хоть мы и носились как сумасшедшие, на все про все ушло часа два, не меньше. К тому времени, как мы покончили со своими обязанностями, солнце пригревало уже вовсю, ночная влага испарилась с насквозь пропекшихся земляных тропинок, да и роса на траве почти высохла. Пора было в путь.

Ни Ренетт, ни Кассис о деньгах у меня так и не спросили. Да и зачем? Кассис ведь сказал, что я за все буду платить сама, и был уверен, что платить мне нечем. Рен, правда, как-то странно на меня косилась, когда мы собирали последние клубничины, – наверно, была поражена моей самоуверенностью, – а потом, переглянувшись с Кассисом, довольно глупо хихикнула. Я обратила внимание на то, что оделась она особенно тщательно: в плиссированную школьную юбочку и красный джемпер с короткими рукавами, на ногах гольфы и модельные туфельки; волосы уложены хитроумной толстенькой колбаской и высоко подколоты с помощью шпилек. И пахло от Рен как-то незнакомо – чем-то сладковатым, похожим на запах пудры или, может, алтея и фиалок. И губы она накрасила своей красной помадой. Интересно, подумала я, уж не на свидание ли она собралась? Например, с каким-нибудь мальчиком из школы. Ренетт явно нервничала и ягоды срывала слишком торопливо, хотя и не без изящества; мне она казалась похожей на кролика, который ест клубнику, зная, что вокруг полно хищных ласок. Двигаясь вдоль клубничной гряды, я услышала, как Рен что-то шепнула Кассису и неестественно, чересчур пронзительно засмеялась.

Я только плечами пожала. Небось собрались куда-то отчалить без меня. Ну и пусть. Я ведь заставила Рен пообещать мне, что они возьмут меня с собой, и теперь она никак не могла отвертеться. Но с другой стороны, им было известно, что карманных денег у меня нет. А значит, в кино они собираются пойти без меня. Возьмут и оставят меня у фонтана на

рыночной площади, велят ждать их там; или отошлют куда-нибудь с выдуманым поручением, а сами будут встречаться со своими новыми друзьями. Я с мрачным видом прикусила губу. Да, над этим стоило поразмыслить. Скорее всего, именно так они и поступят. Они настолько в себе уверены, что им и в голову не пришло, как просто решается проблема с деньгами. Рен-то, конечно, ни за что до Скалы сокровищ не доплывет. А Кассису я по-прежнему кажусь малявкой, которая преклоняется перед ним, обожаемым старшим братом, и никогда не осмелится хоть что-нибудь сделать без его разрешения. Время от времени он посматривал на меня и удовлетворенно улыбался, в его глазах искрилась насмешка.

В восемь мы наконец тронулись в путь. Я сидела позади Кассиса на багажнике его огромного, неуклюжего велосипеда, вытянув вперед ноги и примостив их на раме, в опасной близости от руля. Велосипед Рен был поменьше и поэлегантней, с высоким рулем и кожаным сиденьем. К раме спереди была прикреплена специальная корзинка, в которую она положила фляжку с кофе из цикория и три одинаковых свертка с бутербродами. Голову она повязала белым шарфом, чтобы сберечь прическу, и теперь концы этого шарфа развевались у нее на затылке. Мы останавливались раза три или четыре, чтобы сделать несколько глотков сваренного Рен кофе, проверить, не спустили ли шины, и слегка перекусить хлебом и сыром вместо завтрака. Наконец показались пригороды Анже; мы проехали мимо того collège, где учились Рен и Кассис, – сейчас он был закрыт на каникулы, и у ворот стояли два немецких солдата, – и направились по улице, застроенной аккуратными оштукатуренными домами, к центру города.

Кинотеатр «Palais-Doré»^[34] находился на центральной площади, рядом с тем местом, где обычно устраивали ярмарку. По краям площади выстроились в ряд всякие магазинчики и лавчонки, по большей части открытые с раннего утра; какой-то человек старательно мыл тротуар перед входом в магазин, вытащив на улицу ведро с водой и швабру. Мы пристроили велосипеды в узком переулке между парикмахерской и лавкой мясника, витрина которой была закрыта железными жалюзи. В этом переулке и пройти-то можно было с трудом, не то что проехать: вокруг кучи мусора и отходов; мне подумалось, что вряд ли тут тронут наши велосипеды. Какая-то женщина улыбнулась нам с террасы кафе и выкрикнула приветствие; у нее за столиками уже сидели и завтракали несколько ранних воскресных посетителей, пили кофе с цикорием, ели круассаны и яйца вкрутую. Мимо на велосипеде промчался мальчишка-разносчик, с важным видом трезвоня в звонок. Возле церкви в газетном

киоске продавали сводки с полей сражений со списками убитых и раненых. Кассис огляделся и направился напрямик к киоску. Я видела, как он сунул что-то торговцу, после чего тот передал ему сверток, моментально исчезнувший у Кассиса за пазухой.

– Что он тебе такое дал? – с любопытством осведомилась я.

Брат только нетерпеливо повел плечами. Он был страшно собой доволен, доволен настолько, что был просто не в состоянии молчать, хоть ему и хотелось подразнить меня. Заговорщицки понизив голос, он позволил мне взглянуть на свернутые в трубку журналы, которые сразу снова сунул за пазуху.

– Это комиксы. Такие истории с продолжением, – с важным видом пояснил он и подмигнул Рен. – А еще журнал про американское кино.

Сестра даже взвизгнула от восторга и невольно протянула руку, пытаясь выхватить заветный журнал.

– Дай сюда! Ну дай!

Кассис раздраженно шикнул на нее:

– Ш-ш-ш! Тихо, ты! Ради бога, тише! – Он укоризненно покачал головой и снова перешел на шепот. – Он такую любезность мне оказал, а ты орешь. Это с черного рынка, – произнес он почти беззвучно, одними губами. – Он припрятал их специально для меня.

Ренетт с благоговением посмотрела на него. Меня же все это впечатлило куда меньше. Возможно, потому, что я очень мало знала о черном рынке и о подобных редких товарах, а возможно, потому, что во мне уже прорастали семена бунта, заставлявшие оспаривать все то, чем так гордился брат. Я презрительно пожала плечами и равнодушно отвернулась. Но мне все же очень хотелось выяснить, чем этот торговец газетами обязан Кассису, и в итоге я пришла к выводу, что брат, скорее всего, просто бахвалится. Так я и заявила ему, да еще и прибавила насмешливо:

– Если бы я была связана с черным рынком, я бы постаралась раздобыть что-нибудь получше старых журналов.

Мои слова явно задели брата.

– Да я что угодно могу раздобыть, – быстро сказал он. – Комиксы, курево, книги, настоящий кофе, шоколад... – И, прервав вдруг этот список, с издевательским смехом заявил: – А ты даже денег на вонючий билет в кино достать не можешь!

– Я не могу денег достать?

Улыбаясь, я вытащила из кармана фартука кошелек и слегка его встряхнула, чтобы Кассис услышал звон монет. Кошелек он, конечно, сразу узнал и, широко раскрыв от изумления глаза, прошипел:

– Ах ты, маленькая воровка! Сучонка паршивая!

Я молча наблюдала за его негодованием.

– И как ты только его достала?!

– Доплыла и достала! – с вызовом сообщила я. – И это никакое не воровство. Сокровище было общее.

Но Кассис меня почти не слушал.

– Ты просто вороватая сучонка! – распалялся он.

Кажется, больше всего он был возмущен тем, что не только ему одному удастся что-то заполучить с помощью собственной хитрости и ловкости.

– Да чем это хуже твоих фокусов с черным рынком? – спокойно возразила я. – Совершенно не понимаю, почему ты недоволен. Мы ведь с тобой примерно в одну и ту же игру играем. – Я специально помолчала, давая ему возможность осознать это. – И злишься ты только потому, что у меня получилось лучше, чем у тебя.

Кассис гневно сверкнул глазами и не сразу нашел что мне ответить.

– Это совсем не одно и то же, – отозвался он наконец.

Но я смотрела на него по-прежнему недоверчиво и чуть презрительно. Расколоть Кассиса всегда было проще пареной репы. В точности как и его сына теперь, столько лет спустя. Ни тот ни другой ни черта не смыслят в хитрости.

Кассис побагровел и вдруг заорал, совсем позабыв, что истинному конспиратору полагается говорить шепотом или вполголоса:

– Повторяю: я могу достать все, что угодно! Например, настоящие рыболовные снасти, чтобы ты поймала свою дурацкую щуку! Или американскую жвачку, или туфли с шелковыми чулками. А хочешь, шелковое белье достану! Хочешь? – в ярости прошипел он.

Я засмеялась. В тех условиях, в каких росли мы, сама мысль о шелковом белье казалась мне смешной и нелепой. Моя реакция привела Кассиса в бешенство. Он схватил меня за плечи и сильно встряхнул.

– Ты это прекрати! – Его прямо-таки колотило, голос у него срывался. – У меня есть друзья, ясно тебе? Я знаю нужных людей! И могу достать-тебе-все-что-ты-захо-чешь!

Сами видите, как легко оказалось вывести его из себя. Мой брат был несколько избалован своим особым положением в семье и слишком уж к этому привык. Как же, старший брат, единственный мужчина в доме. Он первым из нас пошел в школу, и мы, его сестры, привыкли, что он самый умный, самый высокий, самый сильный. Хотя случавшиеся у него порой приступы дикого непослушания – и связанные с ними побеги в лес,

дьявольски смелые выходки во время купания в Луаре, мелкие кражи с рыночных прилавков и в магазинах Анже – носили почти истерический характер и ему, по-моему, особого удовольствия не доставляли. Такое ощущение, словно ему постоянно требовалось что-то доказывать нам, младшим, или себе самому.

Своим поведением я совершенно сбивала его с толку. Он так стиснул мои плечи, что мне стало ясно: завтра там наверняка появятся здоровенные отметины, темно-синие, как зрелая черника. Но я ничем себя не выдала и продолжала спокойно смотреть на него, словно играя с ним в гляделки.

– Ну хорошо, слушай. У нас с Рен действительно появились новые друзья. – Теперь он существенно понизил голос, стараясь держать себя в руках, но его большие пальцы по-прежнему больно впивались в мои плечи. – Могущественные друзья. Где, по-твоему, она раздобыла эту дурацкую помаду? Или духи? Или ту фигню, которой она себе лицо на ночь мажет? Откуда, по-твоему, мы все это взяли? И как, по-твоему, за это расплатились?

Вдруг Кассис отпустил мои плечи, и я увидела у него на лице странную смесь гордости и самого настоящего ужаса. И догадалась, что его прямо-таки тошнит от страха.

Фильм я помню не очень хорошо. «Circonstances Atténuantes» ^[2] с Арлетти и Мишелем Симоном, старый фильм, который Кассис и Рен уже видели. Но сестру это ничуть не смущало; она прямо-таки глаз с экрана не сводила, и на лице у нее было написано искреннее восхищение. Мне же вся эта история показалась слишком оторванной от реальной жизни, во всяком случае, моей собственной. Да и мысли мои витали очень далеко. Два раза рвалась пленка, на второй раз в зале даже зажгли свет. Зрители тут же негодуя загудели, и какой-то испуганный человек в смокинге вышел и громко попросил соблюдать тишину. Тогда немцы, устроившиеся в углу, положив ноги на спинки передних кресел, неторопливо захлопали в ладоши. И вдруг Рен, которую обрыв пленки вывел из блаженного транса – она всегда бывала чрезвычайно недовольна подобными перерывами и жаловалась, что ей не дают нормально досмотреть фильм, – как-то странно взвизгнула и, перегнувшись через меня, возбужденно воскликнула:

– Кассис! Кассис, он здесь!

До меня донесся странный, сладковатый, какой-то химический запах, исходивший от ее волос.

– Ш-ш-ш, – свирепо зашипел на нее Кассис. – Не оглядывайся.

На пару минут они оба застыли, уставившись на мертвый экран; их лица стали совершенно неподвижными, как у мумий. Потом Кассис произнес, еле шевеля губами, как шепчут друг другу в церкви во время службы:

– Кто «он»?

Быстро скосив глаза на группу немцев в углу кинозала, Ренетт ответила, тоже почти не открывая рта:

– Он там, в заднем ряду. И с ним еще кто-то, но я не знаю их.

Показ все не возобновлялся; зрители вокруг уже вовсю топали ногами и что-то гневно выкрикивали. Воспользовавшись суматохой, Кассис быстро оглянулся и сказал Рен:

– Хорошо. Только подожду, пока свет погасят.

Минут через десять свет стал меркнуть. Как только продолжился фильм, Кассис поднялся и, осторожно пригибаясь, стал пробираться в конец зала. Я увязалась за ним. На экране горделиво расхаживала, стреляя глазками, Арлетти в облегающем платье с глубоким декольте. Жидкий, как ртуть, свет лился в зал, освещая наши согнутые фигурки, спешащие по

проходу; в этом призрачном свете лицо Кассиса казалось ожившей маской.

– Иди назад, дура малолетняя! – приказал он. – Ты мне совершенно ни к чему, только мешать будешь.

Я покачала головой и решительно заявила:

– Не буду я мешать! А если ты прогонишь меня, я все равно пойду – тебе назло!

– Ладно, – нетерпеливо отмахнулся Кассис.

Он прекрасно понимал, что так или иначе я настою на своем. Даже в темноте было видно, как он дрожит – то ли от возбуждения, то ли от страха.

– Только пригнись пониже, – буркнул он. – И не лезь, пока я буду вести переговоры.

Добравшись до последнего ряда, мы присели на корточки неподалеку от немецких солдат, являвших собой словно островок среди обычных зрителей. Некоторые из них курили; в темноте мерцали красные огоньки на концах сигарет, мельком освещая их лица.

– Вон он, видишь, в самом конце ряда? – прошептал Кассис. – Это Хауэр. Мне надо с ним кое-что обсудить. А ты просто стой рядом, и чтоб ни звука, ясно?

Я промолчала. Не собиралась я ничего ему обещать!

Брат метнулся по проходу и тут же оказался рядом с тем солдатом, которого звали Хауэр. Я с любопытством огляделась. Никто не обращал на нас ни малейшего внимания. В нашу сторону посматривал только один немец, стоявший у нас за спиной у самой стены. Это был стройный молодой человек, остролицый, в заливхватки сдвинутой на затылок фуражке. В одной руке у него была раскуренная сигарета. Я слышала, как Кассис что-то настойчиво шепчет этому Хауэру, затем раздался хруст каких-то бумажек. И вдруг тот остролицый немец приветливо мне улыбнулся и махнул рукой с зажатой в ней сигаретой.

Меня словно кто толкнул: я узнала его! Это же тот самый немец, который тогда был на рынке и видел, как я украла апельсин! Я вся похолодела и не могла сдвинуться с места, лишь тупо на него уставилась.

Он снова поманил меня рукой. В призрачном свете, падавшем с экрана, казалось, что под глазами и под скулами у него пролегли страшноватые, сумрачные тени.

Я нервно посмотрела на Кассиса, но тот был полностью поглощен беседой с Хауэром и взглядов моих не замечал. Молодой остролицый немец по-прежнему выжидающе смотрел на меня с легкой улыбкой на губах. Он стоял чуть поодаль от остальных и сигарету держал за самый кончик, прикрывая ее сложенной лодочкой ладонью; кожа между сжатыми

пальцами, тонкими и длинными, просвечивала алым. Он был в военной форме, но мундир небрежно расстегнул, и это отчего-то придало мне храбрости.

– Иди-ка сюда, – тихо позвал он.

От страха я утратила дар речи. Казалось, рот набит соломой. Лучше всего было бы, конечно, убежать, да ноги были как ватные. Понимая, что спасения нет, я гордо вздернула подбородок и двинулась к немцу.

Он усмехнулся и снова затянулся сигаретой.

– Ты ведь та самая девочка с апельсином, верно? – уточнил он, когда я приблизилась.

Я молчала.

Но его, судя по всему, мое молчание ничуть не смутило.

– А ты ловкая. Я тоже в детстве был ловким. – Он сунул руку в карман и вытащил оттуда что-то завернутое в серебряную бумагу. – На вот. Тебе понравится. Это шоколад.

Окинув его подозрительным взглядом, я произнесла:

– Не надо мне вашего шоколада.

Немец снова усмехнулся.

– Ты, значит, больше апельсины любишь?

Ну что я могла ответить?

– Помню один сад у самой реки, – тихо продолжал он. – Неподалеку от той деревни, где я вырос. В саду были самые крупные и самые черные сливы на свете. А кругом – высоченный забор. И хозяйские собаки весь день спущены с поводка. Чего я только в то лето не делал, чтобы добраться до слив! Все перепробовал. Прямо-таки больше ни о чем думать не мог.

Голос у него был приятный, и акцент совсем незаметный, а глаза сквозь сигаретный дымок казались такими ясными. Я осторожно его изучала, не смея пошевелиться, не понимая, уж не подшучивает ли он надо мной.

– Как известно, ворованное да выпрошенное всего слаще. Куда слаще, чем то, что досталось бесплатно. Тебе так не кажется?

Теперь я уже не сомневалась: ну да, точно, он пытается высмеять меня! Глаза мои невольно вспыхнули от возмущения.

Судя по всему, он это заметил, потому что снова засмеялся и протянул мне шоколадку.

– Ну же, Цыпленок, бери, не бойся. Представь себе, что украла ее у «этих вонючих бошей».

Шоколадка совсем размякла, и я сразу сунула ее в рот. Это был настоящий шоколад, а не тот беловатый и чересчур твердый эрзац, какой

мы изредка покупали в Анже. Немец с явным удовольствием наблюдал, как я ем, а я поглядывала на него с прежней, ничуть не уменьшившейся подозрительностью и существенно возросшим любопытством.

– И что, вы до них добрались в конце концов? – не выдержав, спросила я липким от шоколада голосом. – Ну, до тех слив?

Немец кивнул.

– Добрался, Цыпленок. До сих пор помню их вкус.

– И вас не поймали?

– И это я тоже, увы, помню, – печально улыбнулся он. – Я съел так много, что меня стошнило, по этим следам меня и нашли. А ведь я так здорово спрятался! И все же я получил что хотел. По-моему, это самое главное, согласна?

– Да, – отозвалась я. – Своего добиться всегда приятно. Я тоже люблю выигрывать. – Я помолчала. – Поэтому вы никому не сказали про тот апельсин?

Немец пожал плечами.

– А с какой стати я должен был кому-то докладывать? Меня это совершенно не касалось. И потом, у торговца было еще много апельсинов. Одним-то он мог пожертвовать.

– У него их целый грузовичок, – заметила я, вылизывая кусочек фольги, чтобы не пропала ни одна капелька шоколада, и чувствуя, что этот немец полностью меня поддерживает.

– Некоторые люди хотят как можно больше себе загрести. Прижимистые, только о себе и думают, – сказал он. – Ты как считаешь, справедливо это?

– Вот и мадам Пети из галантерейной лавки за кусок парашютного шелка целое состояние требует, а ведь ей он бесплатно достался! – возмущенно воскликнула я, покачав головой.

– Именно!

И тут до меня дошло, что упоминать о мадам Пети, наверно, не следовало бы. Я быстро взглянула на немца, но он, кажется, меня не слушал, а очень внимательно наблюдал за Кассисом, который все еще о чем-то шептался с Хауэром в самом конце ряда. Меня это неприятно задело: значит, Кассис ему интересней, чем я?

– Это мой брат, – сообщила я.

– Да что ты? – Немец снова посмотрел на меня и улыбнулся. – Вас тут целая семья! И сколько же вас всего?

Я мотнула головой.

– Я самая младшая. Меня зовут Фрамбуаза.

– Приятно познакомиться, Франсуаза.

Усмехнувшись, я поправила:

– Меня зовут Фрамбуаза!

– Лейбниц. Томас.

Он протянул руку. И я после секундного колебания пожала ее.

Так я и познакомилась с Томасом Лейбницем. Не знаю уж почему, но Ренетт пришла в ярость из-за того, что я общалась с ним, и до конца фильма на меня дулась. Хауэр сунул Кассису еще пачку «Голуаз», потом мы оба прокрались на свои места. Кассис закурил, а я погрузилась в размышления и лишь к концу фильма обрела способность задавать вопросы. И тут же спросила:

– Значит, эти сигареты как раз и означают, что ты «можешь достать все, что угодно»? Помнишь, как ты орал на меня?

– Ну естественно.

Кассис был явно доволен собой, но все же, пожалуй, испытывал некоторое беспокойство, несмотря на сияющую физиономию. Сигарету он держал, точно так же прикрывая ее ладонью, как тот молодой немец. Вот только у Кассиса этот жест выглядел неуклюже и нарочито.

– А ты в обмен кое-что рассказываешь?

– Ну, мы иногда... действительно кое-что им рассказываем, – признался Кассис, самодовольно ухмыляясь.

– Что, например?

Брат пожал плечами.

– Началось все с того старого идиота с его радиоприемником. – Теперь он говорил очень тихо. – Но тогда вышло по справедливости. Нечего ему было приемник у себя под кроватью прятать! И нечего было притворяться, будто мы прямо-таки преступление совершаем, когда всего лишь подсматриваем, как во дворе маршируют немцы. В общем, иногда мы оставляем для них записки – в кафе или передаем с курьером. Иногда они через того газетчика кое-что передают нам. А иногда и сами приносят. – Кассис пытался казаться беззаботным, но я-то чувствовала, как он напряжен и взволнован. – В общем-то, ничего особенного в этом нет, – продолжал он. – Почти все боши пользуются черным рынком при отправке посылок в Германию. И вещи кое-какие домой отсылают, те, которые реквизировали, понимаешь? Так что ничего такого особенного мы не делаем, – повторил он.

Немного подумав, я неуверенно начала:

– Но ведь гестапо...

– Ох, Буаз, и когда ты только вырастешь! – Кассис вдруг рассердился, как это бывало всегда, когда я приставала к нему. – Ну что ты знаешь о

гестапо? – Он нервно оглянулся и снова понизил голос. – Конечно же, с ними мы дел не имеем. Это совсем другое. Запомни: это обычная сделка. Но тебя наши дела совершенно не касаются.

Исполненная обиды, я резко к нему повернулась:

– Почему это не касаются? Я тоже кое-что понимаю!

Теперь я уже жалела, что так мало рассказала тому немцу о мадам Пети; надо было добавить, что она еврейка.

Кассис нахмурился и покачал головой:

– Нет, в эти дела тебе лучше пока не соваться.

Возвращались мы в напряженной тишине из-за опасений: а вдруг мать уже встала и догадалась, что мы без разрешения уехали в город? Но дома мы обнаружили, что она пребывает в каком-то необычайно приподнятом настроении. Она ни разу не упомянула ни о запахе апельсинов, ни о «проклятой бессоннице» и ни словом не обмолвилась о том безобразии, которое я сотворила у нее в комнате. А приготовленный обед был почти праздничным: суп с цикорием и морковкой, boudin noir^[35] с яблоками и картошкой, темные блинчики из гречневой муки и на десерт clafoutis^[36], сочный и немного тяжеловатый, из последних прошлогодних яблок, щедро посыпанный коричневым сахаром и корицей. Мы, как всегда, ели молча, но мать на этот раз словно ничего не замечала вокруг – ни нашего настороженного молчания, ни моих спутанных волос и грязноватого лица; она даже забыла сделать замечание, чтобы я убрала локти со стола.

«Может, это апельсин сделал ее такой ручной?» – недоумевала я.

Впрочем, уже на следующий день мать пришла в себя и свое наверстала с лихвой. Мы по мере сил старались избегать ее, торопливо делая привычную работу по дому, а потом ретировались к реке и забрались на Наблюдательный пост. Но игра не клеилась, даже когда к нам присоединился Поль. Он, правда, теперь все чаще чувствовал себя лишним, как бы исключенным из нашего тесного кружка, и редко проводил с нами время. Я искренне сожалела об этом и отчасти ощущала себя виноватой; уж мне-то хорошо было известно, каково это, когда тебя исключают; но я ничего не могла с этим поделать и никак не могла предотвратить наше отдаление друг от друга. Что ж, думала я, теперь и Полю придется сражаться с собственным одиночеством, как это делала я.

К тому же Поль не нравился нашей матери, как, впрочем, и все семейство Уриа. В ее глазах Поль был лентяем, который просто не хочет ходить в школу, и тупицей, неспособным научиться читать. Другие деревенские дети посещали школу и умели читать и писать. Родителей

Поля мать называла жалкими людишками и утверждала, что ни один настоящий мужчина не станет зарабатывать на жизнь, торгуя мотылем на обочине проезжей дороги, и ни одна уважающая себя хозяйка не станет чинить дома чужое белье. Но с особой злобой мать относилась к Филиппу Уриа, дяде Поля. Сперва я считала, что это обычная деревенская зависть к богатому соседу. Филипп Уриа владел самой большой в Ле-Лавёз фермой: необозримыми полями подсолнечника, обширными плантациями картофеля, капусты и свеклы, стадом из двадцати коров, множеством коз и свиней и даже собственным трактором (в то время как местные крестьяне все еще по большей части пользовались ручным плугом с запряженной в него лошастью). А еще у него был настоящий доильный аппарат! Нет, это самая обыкновенная зависть, говорила я себе, обида бедной вдовы, в одиночку бьющейся с жизнью, на живущего рядом успешного, зажиточного вдовца. И все равно ее ненависть выглядела как-то странно, особенно если учесть, что Филипп Уриа был старинным другом нашего отца. Они вместе росли, вместе ловили рыбу, плавали в Луаре и хранили общие секреты. Филипп собственноручно вырезал имя нашего отца на памятнике павшим воинам и всегда по воскресеньям приносил туда цветы. Но мать упорно отказывалась его признавать и лишь сухо кивала ему при встрече. Впрочем, общительностью она никогда не отличалась. Но как мне казалось, после той истории с апельсиновыми корками она стала относиться к Филиппу еще более враждебно.

На самом деле мне лишь значительно позже удалось выяснить истинную причину этой неприязни. Если честно – лет через сорок, когда я наконец прочитала ее альбом. Когда сумела разобрать эти бредущие поперек страницы строки, написанные микроскопическим, неровным, вызывающим головную боль почерком.

«Уриа уже известно, – писала она. – Я заметила, как он порой на меня смотрит – с жалостью и любопытством, как на животное, которое случайно переехал на дороге. Вчера вечером он видел, как я выходила из "La Rép"^[37] с тем, что вынуждена там покупать. Он ничего мне не сказал, но я сразу поняла: догадался. Он уверен, конечно, что нам бы следовало пожениться. Для него это самое оно – вдова и вдовец поженятся, объединят земли. У Янника ведь не было брата, который мог бы после его смерти унаследовать ферму, а женщине как-то не пристало одной тянуть на себе такое хозяйство».

Если бы мать была обычной милой женщиной с уживчивым характером, я бы, возможно, вскоре кое-что и заподозрила. Но определение «милая женщина» Мирабель Дартижан никак не подходило. Она была

твердой и колючей, как каменная соль; мрачной, как речной ил, а приступы гнева у нее случались столь же неожиданно, как летняя гроза, и были неотвратимы, как удар молнии. Я никогда даже до причин этого внезапного гнева не доискивалась, просто старалась по мере сил избежать прямого попадания.

На той неделе мы в Анже больше не ездили, и ни Кассис, ни Ренетт, похоже, не имели ни малейшего желания обсуждать со мной ту встречу с немцами. Да и я как-то не решалась упоминать о своей болтовне с Лейбницем, хоть и была не в силах тот разговор забыть. Воспоминания о нем то наполняли мою душу какими-то тревожными предчувствиями, то вдруг заставляли ощутить в себе некую странную силу.

Кассис казался каким-то беспокойным; Рен злилась на меня, смотрела сердито; к тому же целую неделю шли дожди, Луара грозно вздулась, а поля подсолнечника окутала синеватая дымка. После нашей поездки в Анже минуло уже семь дней. На рынок в последний раз мать ездила с Ренетт, а мы с Кассисом бродили с недовольным видом по насквозь мокрому саду, и я, глядя на зеленые сливы на ветках, с какой-то странной смесью любопытства и тревоги вспоминала о Лейбнице. Мне казалось, что я вряд ли когда-нибудь его увижу.

И все-таки я увидела его, причем совершенно неожиданно.

Это случилось тоже в рыночный день ранним утром. В тот раз была очередь Кассиса помогать матери; он укладывал в повозку продукты на продажу. Рен носила из холодной кладовой свежие сыры, завернутые в виноградные листья, мать собирала яйца в курятнике. Я же только-только вернулась с реки с утренним уловом: парочкой небольших окуней и несколькими уклейками. Все это я порубила на куски в качестве будущей наживки и оставила в ведерке под окном. Обычно в такой день немцы в деревне не появлялись, и когда к нам в дверь постучали, я бросилась открывать.

На пороге стояли трое: двое были мне неизвестны, а третьим был Лейбниц. На этот раз он выглядел очень подтянутым и аккуратным, мундир застегнут, винтовка спокойно лежит на сгибе руки. Увидев меня, он сперва изумленно раскрыл глаза, потом улыбнулся.

Если бы не он, я вполне могла бы и дверь у них перед носом захлопнуть, как Дени Годен, когда немцы попытались реквизировать его скрипку. И уж совершенно точно я бы позвала мать. Но тут меня вдруг охватила такая неуверенность, что я лишь неловко топталась у дверей, не зная, что делать.

Лейбниц повернулся к своим спутникам и заговорил с ними по-немецки. По жестам, которыми он сопровождал фразы, я догадалась, что он

хочет сам осмотреть нашу ферму, а их отсылает дальше, в ту сторону, где живут Рамондены и Уриа. Один из тех двоих посмотрел на меня и что-то сказал. Все трое засмеялись. Потом Лейбниц кивнул им, все еще улыбаясь, и прошел мимо меня на кухню.

Я понимала, что надо бы позвать мать. Когда к нам заходили немецкие солдаты, мать еще больше мрачнела и с каменным презрением наблюдала за тем, как легко они реквизируют у нас все, что им нужно. А тот день был и вовсе не подходящий: у нее и так настроение хуже некуда, неожиданное вторжение немцев стало бы последней каплей.

Добывать продукты немцам становилось все труднее. Это мне Кассис объяснил. Ведь и немцам надо что-то есть. «А они привыкли жрать как свиньи, до отвала, – с презрением говорил мне брат. – Ты бы видела их столовую: уминают целые караваи хлеба – и с джемом, и с паштетом, и с rillettes, и с сыром, и с солеными анчоусами, и с ветчиной, да еще и тушеной капустой с яблоками закусывают. Ты бы просто глазам своим не поверила!»

Лейбниц прикрыл за собой дверь и огляделся. Теперь, когда ушли те двое, он явно чувствовал себя гораздо свободнее и держался раскованно, почти как штатский. Он пошарил в кармане, вытащил сигарету и закурил.

– Вы зачем к нам пришли? – спросила я наконец. – У нас ничего нет.

– Приказ, Цыпленочек, – пояснил Лейбниц. – Отец твой дома?

– А у меня нет отца, – с вызовом ответила я. – Его немцы убили.

– О, извини. – Он будто смутился, а я испытала, пожалуй, даже некоторое удовлетворение. – Ну а мать твоя где?

– Там, за домом. – Я гневно на него посмотрела. – Сегодня рыночный день. Если вы отберете то, что мы приготовились везти на рынок, у нас вообще ничего не останется. Мы и так еле-еле перебиваемся.

Немец снова огляделся; по-моему, на лице у него был явственно написан стыд. Я видела, с какой грустью он изучает чистые плитки пола, латанные занавески, старый, весь в рубцах, сосновый стол, не накрытый ни клеенкой, ни скатертью. Некоторое время он колебался, потом тихо произнес:

– Мне придется это сделать, Цыпленочек. Меня накажут, если я не буду подчиняться приказам.

– Вы могли бы сказать, что ничего не нашли. Или что уже ничего не осталось, когда вы пришли.

– Да, наверно, мог бы... – Глаза его вдруг вспыхнули: он заметил под окном ведро с кусками рыбы. – Приманка? У вас в семье кто-то рыбачит? Кто же это? Твой брат?

– Нет, я.

Лейбниц был поражен.

– Ты? Мала ты еще, чтоб рыбачить-то.

– Мне уже девять! – сердито воскликнула я, уязвленная его словами.

– Уже девять? – В глазах Лейбница плясали веселые искорки, но он не улыбался. – А знаешь, я ведь и сам заядлый рыбак, – признался он шепотом. – Что ты тут ловишь? Форель? Карпа? Окуня?

Я молча помотала головой.

– На кого ж ты тогда охотишься?

– На щуку.

Щуки – самые умные из пресноводных рыб. Очень коварные и, несмотря на свою хищную пасть, очень осторожные. Наживку для них нужно подбирать тщательнейшим образом, иначе их на поверхность не выманишь. Любая мелочь способна вызвать у щуки подозрения – незначительное изменение температуры воды, один лишь намек на движение. Быстро и легко щуку не поймает; может, конечно, чисто случайно повезти, но обычно рыбаку требуется немало времени и терпения, чтобы выловить эту рыбу.

– Ну, тогда дело другое, – задумчиво промолвил Лейбниц. – Вряд ли я брошу своего брата-рыбака в беде. – Он с улыбкой посмотрел на меня. – Значит, щука?

Я кивнула.

– И на что ты ловишь? На червя или на хлебные шарики?

– И на то и на другое.

– Ясно.

Он больше не улыбался: тема была серьезная. Я молча наблюдала за ним. Кассису всегда становилось не по себе, когда я так смотрела.

– Вы только не забирайте то, что мы приготовили для рынка, – повторила я.

Теперь была его очередь молча смотреть на меня. Наконец он ответил:

– Ладно. Надеюсь, мне удастся придумать для них какую-нибудь правдоподобную историю... Но тебе придется держать язык за зубами. Иначе я попаду из-за вас в большую беду, ясно?

Я кивнула. Еще бы не ясно! В конце концов, и он ведь никому не проболтался насчет украденного мной апельсина. Я плюнула на ладонь, чтобы скрепить наш договор, и он даже не усмехнулся. Наоборот, заключая со мной сделку, пожал мне руку со всей серьезностью, как взрослой. Я была почти уверена, что и он попросит меня о каком-нибудь одолжении, но он ни о чем не попросил, и мне это очень понравилось. Значит, Лейбниц не

такой, как другие немцы, решила я.

А потом он пошел прочь; я долго смотрела ему вслед, но он так и не обернулся. Я видела, как он ленивой походкой идет по улице к ферме Уриа, как тушит сигарету о стену дома и от ее тлеющего конца разлетаются красные искры, ясно видимые на фоне темного камня, добытого на берегах Луары.

Ни Кассису, ни Рен я ничего не сказала об этой встрече с Лейбницем. Мне думалось, что рассказать им – значит лишить столь важное событие всей его таинственной значимости. Тайну я хранила глубоко в душе, изучая и разглядывая ее лишь мысленно, словно украденное сокровище. Понимание того, что у меня есть такая серьезная тайна, пробуждало во мне ощущение собственной взрослости и какой-то неожиданной силы.

Теперь я и вовсе с презрением относилась к той любви, которую Кассис питал к комиксам, а Рен – к губной помаде. Небось считают, они одни такие умные, а что такого особенного они совершили? Ведут себя как дети, которые хвастаются в школе какими-то невероятными приключениями, вот немцы и относятся к ним как к детям и подкупают их всякими безделушками. Но Лейбниц даже и не пытался меня подкупить. Он общался со мной как с равной, уважительно.

А вот ферма Уриа в тот день здорово пострадала. Немцы забрали у них недельный запас яиц, половину молока, два бока свиной солонины, семь фунтов сливочного масла и бочонок растительного, две дюжины бутылок вина, которые были кое-как спрятаны за перегородкой в подвале, да еще кучу разных колбас и консервов. Об этом я узнала от Поля, и меня, конечно, немного мучили угрызения совести – ведь Филипп Уриа обеспечивал продуктами и семью Поля; но я пообещала себе непременно делиться с Полем всем, чем смогу. И потом, лето еще только начиналось. Филипп Уриа наверняка сумеет довольно быстро восполнить свои потери. Между тем у меня в голове зрел новый план.

Мешочек с апельсиновыми шкурками по-прежнему хранился в надежном месте. И разумеется, не у меня под матрасом. А вот Ренетт упрямо продолжала прятать свои штучки для наведения красоты именно под матрасом и считала, что никто об этом не догадывается. Мой тайник отличался куда большей изобретательностью. Я положила мешочек со шкурками в стеклянную баночку с завинчивавшейся крышкой и засунула ее примерно на глубину локтя в бочку с солеными анчоусами, стоявшую у матери в подвале. Кусочек нитки, привязанный к горлышку банки, позволял мне моментально ее отыскать в случае необходимости. То, что ее найдет кто-то еще, было весьма сомнительно; мать терпеть не могла пряного запаха анчоусов и всегда посылала за ними меня, если они были нужны для готовки.

Я знала, что содержимое мешочка еще пригодится.

Дождавшись вечера среды, я вытащила мешочек и спрятала его в зольнике под плитой, где жар способствовал быстрому распространению апельсинового аромата. Ну и мать, естественно, вскоре уже терла пальцами висок, трудясь у плиты, и сердито на меня покрикивала, если я не успевала достаточно быстро подать ей муку или принести дров. Она то и дело брюзгливо предупреждала: «Смотри не разбей лучшие тарелки!», и все приноживалась, как животное, с отчаянием и растерянностью поглядывая по сторонам. А я еще и дверь на кухню закрыла, чтобы усилить эффект, и теперь там прямо-таки разило апельсином. Потом я, как и в прошлый раз, сунула мешочек с корками ей в подушку, быстренько зашила прореху и надела на подушку полосатую наволочку; правда, теперь корочки стали ломкими и немного почернели от жара, полежав под плитой, и я понимала, что больше мне, пожалуй, заветным мешочком воспользоваться не удастся.

Обед пригорел.

Но никто не осмелился даже упомянуть об этом. Мать изумленно трогала пальцем хрупкие черные кружева сгоревших блинчиков, потом снова и снова терла виски; в итоге я почувствовала, что еще немного – и закричу. На этот раз она не спрашивала, не принес ли кто из нас в дом апельсины, хотя ей явно очень хотелось задать этот вопрос. Нет, она просто крошила обгоревший край блинчика, касалась виска, снова крошила, снова терла висок, и так без конца, лишь иногда нарушая повисшее за столом молчание гневным окриком, заметив какое-нибудь мелкое нарушение привычного распорядка.

– Рен-Клод, режь хлеб на доске! Нечего крошки сыпать на чистый пол!

Голос ее жалил, как оса, и звучал как-то чересчур нервно. Я отрезала себе ломоть хлеба, нарочно повернув каравай на доске так, что он лежал мякишем вверх. По непонятной причине мать всегда злила моя привычка отрезать хрустящие горбушки с обоих краев; она считала, что я уродую хлеб и сминаю среднюю часть каравая.

– Framбуаза, переверни хлеб как следует! – Она снова летучим движением дотронулась до виска, словно проверяя, что голова у нее все еще на месте. – Сколько раз тебе повторять...

Вдруг она умолкла на середине фразы, склонив голову набок и некрасиво разинув рот.

Наверно, с полминуты она сидела в таком положении – с ничего не выражающим взглядом, точно тупой ученик, который пытается вспомнить теорему Пифагора или правило написания причастных оборотов. Глаза у нее были как зеленое стекло или как лед зимой и ровным счетом ничего не

выражали. Мы молча переглядывались, наблюдая за ней; секунды тикали одна за другой; наконец она шевельнулась. Снова последовал знакомый раздраженный жест, и она как ни в чем не бывало принялась убирать со стола, хотя мы еще и до половины обеда не добрались. Но никто, конечно, ни словом не возразил.

На следующий день, как я и предсказывала, мать осталась в постели, а мы снова преспокойно поехали в Анже. Но на этот раз в кино не пошли, просто слонялись по улицам, и Кассис нахально курил сигарету. Потом в центре города мы уселись на террасе кафе, которое называлось «Le Chat Rouget»^[38]; мы с Ренетт заказали себе diabolos-menthe^[39], брат покусился было на пастис, но под презрительным взглядом официанта сник и покорно заказал rapaché^[40].

Рен пила осторожно, стараясь не размазать помаду. И все почему-то нервно оглядывалась, крутила головой, словно кого-то высматривала.

– Кого мы ждем? – с интересом спросила я. – Ваших немцев?

Кассис бросил на меня гневный взгляд.

– Громче ты не можешь, кретинка малолетняя? – рявкнул он. Потом все же снизошел до объяснений и почти шепотом пояснил: – Да, мы иногда действительно здесь встречаемся. Тут легче записку передать – никто и не заметит. Мы тут разные сведения им продаем.

– Какие еще сведения?

Брат насмешливо фыркнул и нетерпеливо ответил:

– Разные. Например, о тех, у кого есть радиоприемники. Или о черном рынке. О тех, кто торгует запрещенными товарами. Или о Соппротивлении.

Он как-то особенно подчеркнул последнее слово и еще больше понизил голос.

– О Соппротивлении?.. – растерянно отозвалась я.

Попытайтесь представить себе, что мы, дети, тогда знали об этом. Много ли это слово для нас значило? Да нет, конечно. Мы жили по собственным правилам и законам; мир взрослых был для нас далекой планетой, населенной неведомыми существами, о жизни которых нам почти ничего не известно. А уж о Соппротивлении мы знали и еще меньше. Слышали, конечно, что вроде бы есть такая легендарная организация. Это сейчас благодаря книгам и телевидению Соппротивлению уделяется столько внимания, а тогда ничего подобного и близко не было. Я, во всяком случае, никаких особых разговоров об этом не помню. Зато хорошо помню безумные споры и даже драки в нашем кафе из-за всяких противоречивых слухов; помню, как пьяницы громогласно призывали свергнуть новый

режим; помню, как горожане перебирались к родственникам в деревню, спасаясь от притеснений со стороны оккупационных войск. Собственно, одного-единственного, всеобщего Сопротивления – некой тайной армии, существование которой было бы понятно всему народу, – не существовало, это миф. Существовало множество различных группировок: коммунисты, гуманисты, социалисты, жертвователи собой, грабители и пьяницы, оппортунисты и святые; и все эти группировки, в общем, отвечали требованиям времени. Но никакой Армии сопротивления и даже ничего напоминающего такую армию не было и в помине. Как не было и особых тайн, с этим связанных. Наша мать, во всяком случае, отзывалась обо всем этом с презрением. С ее точки зрения, было куда проще пережить этот тяжкий период, не поднимая головы.

Но как бы то ни было, а слова Кассиса произвели на меня сильное впечатление. Сопротивление. Это слово пробуждало в моей душе извечную любовь к приключениям, к драматическим событиям. Мне мерещились противоборствующие банды, сражающиеся за власть, ночные эскапады со стрельбой, тайные встречи под покровом ночи, сокровища и опасности, к которым, естественно, следует относиться с презрением. Все это в некотором смысле напоминало те игры, которыми раньше все мы так увлекались, Рен, Кассис, Поль и я, – со стрельбой мелким картофелем из рогаток, с паролями и особыми ритуалами. Просто, как мне казалось, границы этих игр словно расширились, вот и все. Да и ставки стали повыше.

– Ни с каким Сопротивлением ты не знаком! – насмешливо воскликнула я, чтобы Кассис не очень-то воображал.

– Пока, может, и нет, – согласился Кассис. – Но кое-что выяснить я могу. И кое с кем познакомиться. Мы, между прочим, уже немало всяких таких вещей раскопали.

– Да все нормально, – поспешила успокоить меня Ренетт. – Мы ни о ком из Ле-Лавёз ничего не рассказываем. С какой стати нам доносить на своих?

Я кивнула. Это и впрямь было бы несправедливо.

– А вот в Анже все иначе. Там все стучат друг на друга.

Обдумав эти слова, я заявила:

– Я тоже могу кое-что узнать.

– Тоже мне, может она! – презрительно фыркнул Кассис.

И я, разозлившись, чуть не призналась ему, что рассказала Лейбницу о мадам Пети и парашютном шелке, но заставила себя промолчать. А потом задала вопрос, который не давал мне покоя с того дня, когда Кассис

впервые обмолвился об их «сделке» с немцами.

– Как они поступают с теми, о ком вы рассказываете? Неужели расстреливают? Или, может, посылают на фронт?

– Конечно же нет! Не будь душой, Буаз!

– Что же тогда они делают с ними?

Но Кассис уже не слушал меня. Он не сводил глаз с газетной стойки возле церкви на той стороне улицы; оттуда на нас не менее пристально поглядывал какой-то черноволосый паренек, примерно ровесник Кассиса. Потом парнишка нетерпеливо махнул нам рукой, Кассис тут же расплатился, поднялся и скомандовал:

– Пошли.

Мы с Ренетт тоже послушно встали и последовали за ним. Судя по всему, брат был с черноволосым парнем в приятельских отношениях – они, наверно, в школе вместе учатся, предположила я, уловив несколько слов насчет задания на каникулы, после чего они оба как-то нервно захихикали, прикрывая рты ладонями. Потом мальчишка сунул Кассису в руку свернутую в несколько раз записочку.

– Увидимся, – произнес Кассис, и они преспокойно разошлись в разные стороны.

Записка была от Хауэра.

– По-французски неплохо объясняются только Хауэр и Лейбниц, – сообщил Кассис, пока мы с Рен по очереди читали записку, – а остальные – Хайнеман и Шварц – пользуются лишь несколькими расхожими фразами. Впрочем, Лейбниц вообще говорит как настоящий француз, например родом из Эльзас-Лотарингии; во всяком случае, у него и выговор такой же гортанный, как у всех эльзасцев. Так что, может, он и есть француз.

Чувствовалось, что Кассису приятно так думать. Как будто служить информатором для какого-то может-быть-француза менее предосудительно!

«Встретимся в двенадцать у школьных ворот, – гласила записка. – У меня кое-что для вас есть».

Ренетт коснулась листа кончиками пальцев; от возбуждения на ее щеках вспыхнул румянец.

– Сейчас сколько времени? – спросила она. – Мы не опоздаем?

Кассис покачал головой и ответил:

– Мы же на велосипедах. Интересно, что там у них приготовлено?

Когда мы выводили велосипеды из своего излюбленного переулочка, Рен вытащила из кармана пудреницу и быстренько навела красоту, поглядывая в зеркальце. Нахмурилась, вынула из кармана золотой тюбик с помадой,

ярко накрасила губы, удовлетворенно улыбнулась, немного подправила помаду, снова улыбнулась и спрятала пудреницу. Меня, впрочем, это не особенно удивило. Еще после первой поездки в город мне стало ясно, что у нее на уме не только кино. Уж больно тщательно она стала одеваться и причесываться; и потом, эта помада, духи – нет, она явно делает все это ради кого-то. Ну и ладно, мне, в общем-то, было все равно. Я давно привыкла к Рен и ее штучкам. В свои двенадцать лет она выглядела шестнадцатилетней, а с завитыми, тщательно уложенными волосами и накрашенными губами могла сойти и за девушку постарше. Я не раз видела, какие взгляды бросают на нее мужчины у нас в деревне. А Поль Уриа при виде Рен и вовсе терял не только дар речи, но и способность соображать. Даже Жан-Бене Дарьус, человек уже пожилой, лет сорока, даже Гюгюст Рамонден, даже Рафаэль, хозяин кафе, не могли равнодушно пройти мимо нашей Рен. Все на нее засматривались, это точно. Да и сама Рен обращала внимание на парней. Едва поступив в collège, она с первого дня только и болтала, что о мальчиках, с которыми познакомилась. Одну неделю она восхищалась Жюстеном, у которого такие чудные глаза; потом Раймондом, который вечно заставляет весь класс покатываться со смеху; потом Пьером-Андре, который так здорово играет в шахматы; потом Гийомом, чьи родители в прошлом году переехали в Анже из Парижа. Анализируя все это теперь, я припомнила, когда ее разговоры о мальчишках вдруг прекратились: почти сразу после того, как город был занят немецким гарнизоном. Впрочем, подробности меня не интересовали, хотя какая-то тайна в этом, конечно, была. Но тайны Ренетт крайне редко вызывали мое любопытство.

Хауэр стоял у ворот на часах. Наконец-то при свете дня я получше его разглядела – оказалось, немец как немец, с широким, крайне невыразительным лицом. Он прошептал Кассису: «Выше по течению минут через десять», словно вещая уголками рта, почти не двигая губами. Потом он замахнулся на нас, якобы раздраженно, и закричал, чтобы мы убирались прочь; мы, разумеется, тут же вскочили на велосипеды и помчались к реке. И ни разу не обернулись; даже Ренетт и та не обернулась. Из чего я сделала вывод, что отнюдь не Хауэр – объект ее нового увлечения.

Не прошло и десяти минут, как мы увидели Лейбница. Сперва мне показалось, что сегодня он вообще без формы – он не только мундир, но и сапоги снял и, сидя на парапете, болтал в воздухе босыми ногами, а внизу неслась коварная коричневая Луара. Лейбниц радостно замахал нам рукой, явно приглашая присоединиться к нему. Мы стащили велосипеды на берег,

спрятали так, чтобы не было заметно с дороги, и уселись с ним рядом. Он выглядел моложе, чем мне помнилось, и вряд ли был намного старше Кассиса, но в его повадке чувствовалась та беспечная уверенность в себе, какая моему брату и не снилась; да и в будущем, сколько брат ни старался, он не смог обрести эту уверенность.

Кассис и Ренетт молча смотрели на Лейбница – так дети в зоопарке смотрят на опасного зверя в клетке. Ренетт снова вся раскраснелась. Но на Лейбница наши пытливые взгляды, судя по всему, не производили ни малейшего впечатления. Он неторопливо закурил, усмехнулся и, выпустив целое облако дыма, сказал:

– А с этой вдовой Пети здорово получилось. – Он хмыкнул. – У нее там не только парашютный шелк оказался, но и тысяча других весьма полезных вещей. Вот это настоящая торговка с черного рынка! Все, что хочешь, найти можно! – Лейбниц подмигнул мне. – Отличная работа, Цыпленочек.

Брат с сестрой удивленно на меня уставились, но молчали. Молчала и я; душа моя пела от наслаждения, вызванного его искренней похвалой, и все-таки меня не покидала какая-то странная тревога.

– Мне на этой неделе вообще везло, – продолжал Лейбниц тем же веселым тоном. – А это вам жевательная резинка, шоколад и... – сунув руку в карман, он вытащил оттуда какой-то пакетик, – еще вот.

В пакетике оказался носовой платочек, обшитый кружевом, – разумеется, для Ренетт. Моя сестрица прямо-таки побагровела от смущения.

Затем Лейбниц повернулся ко мне.

– Ну а ты, Цыпленочек? Чего ты сама-то хочешь? – Он усмехнулся. – Помаду? Крем для лица? Шелковые чулки? Нет, это скорее твоей сестренке по вкусу. Может, куклу или игрушечного медвежонка?

Он явно меня поддразнивал, но его светлые глаза весело блестели, в них отражались солнечные зайчики, игравшие на воде.

Это был самый подходящий момент, чтобы признаться: на мадам Пети я донесла нечаянно, ее имя просто от злости сорвалось с языка. Но Кассис по-прежнему смотрел на меня с нескрываемым удивлением, и Лейбниц по-прежнему ласково мне улыбался, и меня вдруг осенила гениальная идея.

Не колеблясь больше ни секунды, я выпалила:

– Хочу хорошие рыболовные снасти! Настоящие рыболовные снасти! – Я немного помолчала, самым наглым образом глядя Лейбницу прямо в глаза, и прибавила: – И еще апельсин.

Через неделю мы снова встретились с Лейбницем на том же месте. Кассис сообщил ему, что в «Рыжей кошке» по ночам играют в азартные игры, и передал те несколько слов, которые подслушал, когда кюре Траке возле кладбища с кем-то обсуждал тайник, где спрятано церковное серебро.

Но Лейбница, кажется, заботило нечто совсем иное. Он повернулся ко мне и произнес:

– Мне пришлось это прятать. Кому-то из наших может не понравиться, что я дарю тебе такие вещи.

И он вытащил из-под мундира, небрежно брошенного на берегу, узкий зеленоватый брезентовый чехол фута в четыре длиной, внутри которого что-то дребезжало и погромыхивало. Он подтолкнул эту штуковину ко мне и, поскольку я не решалась к ней прикоснуться, добавил:

– Бери, бери. Это тебе.

В чехле оказалась удочка. Не новая, правда, но прекрасного качества, это было ясно даже мне. Из темного бамбука, ставшего почти черным от частого употребления, с блестящей металлической спиннинговой катушкой, вращавшейся легко, словно она была на подшипниках. Я испустила восторженный вздох и, все еще не веря собственному счастью, спросила:

– Так она... моя?

Лейбниц рассмеялся – весело, беспечно – и воскликнул:

– Ну конечно твоя! Нам, рыболовам, следует держаться вместе, верно?

Сперва я осторожно дотронулась до удочки, потом жадно ее ощупала. Катушка была холодной и чуть маслянистой, словно ее смазали жиром, прежде чем сунуть в чехол.

– Только придется тебе спрятать ее где-нибудь в надежном месте, ясно, Цыпленок? – предупредил меня Лейбниц. – И никому ничего не говори, ни маме, ни друзьям. Ты ведь умеешь хранить тайны?

– Конечно, – заверила я.

Он улыбнулся. Глаза у него были очень ясные, темно-серые.

– Вот и хорошо. И постарайся непременно поймать ту щуку, о которой ты рассказывала мне, ладно?

Я снова кивнула, и он засмеялся.

– Поверь, с такой удочкой можно даже нашу подводную лодку поймать!

Пытаясь понять, до какой степени он шутит, я оценивающе на него посмотрела. Пусть себе веселится, подумала я, он ведь не со зла, да и слово свое он сдержал. Но одно меня все-таки тревожило.

– А мадам Пети... – неуверенно начала я. – С ней ничего плохого не случится?

Немец вынул изо рта окурок и швырнул в воду.

– Полагаю, нет, – обронил он довольно равнодушно. – Если она, конечно, сама станет держать язык за зубами. – Он вдруг остро на меня взглянул и сразу перевел глаза на Кассиса с Рен. – Кстати, вы все тоже постарайтесь держать язык за зубами, идет?

Мы дружно кивнули.

– Ах да, вот тут у меня еще кое-что есть для тебя... – Он сунул руку в карман и протянул мне апельсин. – Только, боюсь, вам придется его разделить. Достать удалось всего один.

Вот так он окончательно и очаровал нас, понимаете? Все мы угодили под воздействие его чар; Кассис, правда, испытывал чуть меньше восторга, чем мы с Рен, – просто потому, наверно, что был постарше и больше разбирался в тех опасных вещах, которые так нас соблазняли. Ренетт буквально вспыхивала нежным румянцем, застенчиво посматривая на Лейбница, а я... ну, я-то, пожалуй, увязла сильнее всех. Началось с той удочки, позже было немало и всякого другого. И потом, этот его акцент, его ленивая, самоуверенная повадка, его чудесный, беспечный смех... О да, это был настоящий чаровник! Куда до него Яннику, сыну Кассиса, который тоже все пытался меня очаровать – с такой-то кислой рожей и суевливым, настороженным взглядом, как у хищной ласки! Уж что-что, а держался Томас Лейбниц всегда совершенно естественно; даже я это отлично понимала, одинокая девчонка, голова которой вечно была забита всякой ерундой.

Пожалуй, я и объяснить не сумею, чем он был так уж хорош. Рен, наверно, ответила бы, что все дело в его глазах – в том, как он смотрит на тебя и молчит, а глаза его при этом становятся то серо-зелеными, то серо-коричневыми, как река; или в том, как он носит фуражку, лихо сдвинув ее на затылок и засунув руки в карманы, точно мальчишка-прогульщик. А Кассис, наверно, сказал бы, что главное – это его беспечная храбрость. Лейбниц и впрямь мог переплыть Луару в самом широком месте или повиснуть вниз головой с Наблюдательного поста, словно ему тоже четырнадцать лет, как Кассису, и он тоже, как и все мальчишки, презирает любую опасность. И потом, он сразу все понял о Ле-Лавёз, еще до того, как успел ступить на эту землю. Он ведь и сам был деревенским парнишкой

родом из Шварцвальда и часто делился с нами разными забавными историями о своей большой семье, о братьях и сестрах, о своих планах на будущее. Планов у него, кстати, возникало великое множество. Иной раз чуть ли не каждое предложение он начинал фразой: «Когда война кончится и я разбогатею...» И без конца перечислял, что же он тогда сделает. Он был первым взрослым на нашем жизненном пути, который все еще думал как мальчишка, строил планы как мальчишка, и, возможно, именно это больше всего нас и подкупало в нем. Он был одним из нас, вот и все. Он играл по нашим правилам.

За время войны он уже убил одного англичанина и двоих французов, но никакой тайны из этого не делал и говорил об этом так, что не возникало ни малейших сомнений: выбора у него не было. А ведь среди этих французов мог быть и наш отец! – позже осенило меня. Но даже если бы это было и так, я бы простила Лейбница. Да я все на свете готова была ему простить!

Сначала я, конечно, осторожничала. Мы встречались с ним еще три раза – дважды с ним одним у реки и один раз в кино, где он был вместе с Хауэром, а также рыжим приземистым Хайнеманом и медлительным полным Шварцем. Дважды мы передавали ему записки через того черноволосого мальчишку, который поджидал нас у газетной стойки; и два раза получали передачи от Лейбница: сигареты, журналы, книги, шоколад и упаковку нейлоновых чулок для Ренетт. Как правило, взрослые почти не остерегаются детей и при них не очень-то стараются следить за языком. Благодаря этому нам удавалось выудить прямо-таки невероятное количество самых разнообразных сведений, которые мы и передавали Хауэру, Хайнеману, Шварцу и Лейбницу. Другие солдаты с нами почти не общались. Шварц, который немножко знал французский, иногда весьма плотоядно поглядывал на Ренетт и что-то ей нашептывал по-немецки – и мне почему-то казалось, что все эти слова звучат грубо и непристойно. Хауэр отличался скованностью и неловкостью, а Хайнеман, наоборот, был очень шустрым, нервным и энергичным и вечно скреб свою рыжеватую щетину, казавшуюся совершенно неотделимой от его физиономии. Но при виде прочих немцев мне всегда было не по себе.

Один лишь Томас ко всему этому не имел отношения. Он был таким же, как мы. Он был одним из нас. И мы полностью ему доверяли – так, как, может, не доверяли больше никому. Эта наша взаимная привязанность, возможно, не была столь очевидной, как равнодушие нашей матери, явная нехватка друзей или даже тяготы войны, и не была столь значимым событием, как, допустим, гибель отца. Впрочем, всего перечисленного

сами мы почти не замечали; мы существовали как бог на душу положит, в собственном маленьком мирке, полном диковатых фантазий, и появление в нашей жизни Томаса определенно застало нас врасплох. До этого момента мы и сами не понимали, как отчаянно он нужен нам. Не из-за того, что он приносил шоколад, жевательную резинку, косметику и журналы. Нет, просто нам был нужен хоть кто-то, кому можно поведать о своих подвигах и удивить своими поступками; с кем можно разделить тайны; кто обладает не только молодым задором, но и определенной мудростью и жизненным опытом; кто умеет увлечь, рассказать о чем-то так увлекательно, как Кассису и не снилось. Приручение, впрочем, произошло не сразу. Мы ведь были «дичками», как выражалась мать, и с нами еще требовалось найти общий язык. Но это Томас понял, должно быть, с самого начала и повел себя весьма умно, завоевывая нас поодиночке, одного за другим, каждому давая возможность ощутить себя особенным. Боже мой, да я и теперь еще почти верю в его искренность! Даже теперь.

Удочку я для пущей сохранности спрятала на Скале сокровищ. Пользоваться ей приходилось очень осторожно – уж больно у нас в Ле-Лавёз много было любителей совать нос не в свое дело; если вовремя не остеречься, хватило бы и брошенного мимоходом намека, чтобы мать почувствовала неладное. Поль, разумеется, об удочке знал, но я соврала ему, что когда-то она принадлежала отцу; впрочем, Поль при своем жутком заикании к сплетням ни малейшей склонности не имел. А если он что-либо и заподозрил, то держал подозрения при себе, и я была ему за это весьма благодарна.

Июль выдался жаркий, но дождливый; грозы случались чуть ли не через день; в небе над рекой постоянно клубились страшноватые багрово-серые клубы туч. Под конец месяца Луара совсем вышла из берегов; все мои ловушки и сети смыло и унесло течением. Вода залила даже кукурузные поля на ферме Уриа, причем кукурузные початки были совсем зелеными, им еще недели три по крайней мере полагалось зреть. Теперь дождь лил почти каждую ночь; молнии с треском разрывали небеса, точно листок фольги. Рен при этом испуганно вскрикивала и пряталась под кровать, а мы с Кассисом, наоборот, стояли у открытого окна, разинув рты, – мы все пытались проверить, нельзя ли поймать радиосигнал с помощью зубов.

Тем летом головные боли у матери случались особенно часто, хотя узелком с апельсиновыми корками – действие которого я существенно усилила, пополнив его шкуркой того апельсина, который подарил Томас, – я пользовалась всего дважды в июле и еще ни разу с начала августа. Так что

приступы у нее случались в основном сами по себе; кроме того, она без конца маялась бессонницей и просыпалась, по ее собственным словам, «с полным ртом колючей проволоки и без единой здоровой мысли в голове». В те дни я мечтала о Томасе так же страстно, как умирающий от голода – о хлебе насущном. По-моему, Рен и Кассис испытывали примерно те же чувства.

Непрекращающиеся дожди наделали немало бед и в нашем фруктовом саду. Яблоки, груши и сливы, разбухнув от чрезмерного количества влаги, стали лопаться и гнить прямо на ветках; осы въедались в исходившие соком плоды, и казалось, деревья покрыты живым коричневым плащом, от которого исходит неумолчное жужжание. Мать делала все, что было в ее силах. Она даже прикрыла самые любимые деревья брезентом, пытаясь защитить их от дождя, но толку от этого было мало. Почва, насквозь пропеченная и выбеленная июньской жарой, теперь превратилась в вязкое месиво; деревья стояли в озерцах воды, в которой гнили их обнажившиеся корни. Мать постоянно подсыпала к стволам смесь земли с опилками, пытаясь предотвратить загнивание, но и это не помогало. Фрукты падали на землю и превращались в какую-то сладковатую подливу из падалицы и глины. То, что еще можно было собрать, мы, конечно, собирали и спешно превращали в повидло, но было уже абсолютно ясно: урожай пропал, не успев толком созреть; спасти его хотя бы частично не было никакой возможности. Мать совсем перестала с нами общаться. За эти недели сплошных страданий ее постоянно сжатые губы превратились в тонкую белую линию, глаза совершенно провалились, а тот тик, что обычно возвещал начало очередного ужасного приступа, теперь преследовал ее почти постоянно. Все это приводило к тому, что количество таблеток в заветной бутылочке, хранившейся в ванной, стало уменьшаться гораздо быстрее, чем прежде.

Особенно молчаливыми и безрадостными были рыночные дни. Мы продавали все, что могли продать. Урожай у всех в нашей местности был никудышный; по-моему, на берегах Луары не осталось ни одного фермера, который не пострадал бы от ливней. Бобы и фасоль, картошка и морковь, кабачки и помидоры – все сперва пострадало от жары, а потом от непрерывных дождей, так что на продажу собрать почти ничего не удавалось. И тогда мы стали распродавать те припасы, что остались с зимы: консервы, домашние колбасы, вяленое мясо, паштеты и даже домашнюю свиную тушенку, сваренную относительно недавно, потому что свинью пришлось зарезать. Мать пребывала в отчаянии и каждую такую распродажу воспринимала как последнюю в своей жизни. В иные дни лицо

у нее было таким горестно-мрачным, что покупатели не только ничего у нас не покупали, но попросту испуганно шарахались от нашего прилавка; у меня внутри все прямо-таки сжималось от страха и огорчения из-за матери – из-за всех нас, – а она продолжала стоять с каменным лицом, словно ничего не видя вокруг и приставив палец к виску, точно дуло пистолета.

Однажды, приехав на рынок, мы обнаружили, что окна лавки мадам Пети забиты досками. Месье Лу, торговец рыбой, поведал мне, что в один прекрасный день она попросту собрала вещички и куда-то скрылась, никому ничего не объяснив и даже адреса не оставив.

– Может, это из-за немцев? – предположила я, и мне стало немного не по себе. – Ну, из-за того, что она еврейка и все такое?

Месье Лу как-то странно на меня посмотрел и ответил:

– На этот счет мне ничего не известно. Я знаю только, что она буквально в один день снялась с места и исчезла. А ни о чем другом я понятия не имею и тебе об этом болтать не советую. Если у тебя, конечно, осталась хоть капелька ума.

И он снова так холодно и неодобрительно на меня посмотрел, что я, испугавшись, тут же извинилась и поспешила уйти, чуть не забыв пакет с подаренными мне рыбными обрезками.

Мне, конечно, стало легче, когда выяснилось, что мадам Пети вроде бы арестована не была, но вместе с тем меня терзало непонятное чувство неудовлетворенности и обманутых надежд. Какое-то время я молча размышляла, а потом начала потихоньку расспрашивать и выведывать – и в Анже, и у нас в деревне, – что случилось с теми людьми, о которых мы докладывали немцам. Мадам Пети; месье Тупе или Тубон, учитель латыни; парикмахер из той мастерской, что напротив «Рыжей кошки», которому приносили много разных свертков; те два человека, беседу которых мы как-то в четверг подслушали возле кинотеатра после окончания фильма. Довольно странно, но мысль, что мы собираем совершенно бессмысленные, никому не нужные сведения – и возможно, только с целью позабавить или посмешить Томаса и его приятелей-немцев, – тревожила меня куда сильнее, чем понимание того, что наше стукачество причинило некоторым людям действительно серьезный вред.

Должно быть, Кассис и Рен давно уже догадались, в чем дело. Но в девять лет ты живешь еще совсем в ином мире, чем в двенадцать или тринадцать. Понемногу я выяснала, что никто из тех, на кого мы доносили, не был арестован или допрошен, и ни одно из тех мест, которые нам казались подозрительными, обыску не подверглось. Даже загадочное исчезновение месье Тубона было легко объяснимым.

– О, его пригласили на свадьбу дочери в Ренн! – радостно сообщил мне один из учителей по кличке месье Ду^[41].– Так что никуда он не исчезал, киска, и никакая это не тайна. Я сам передал ему приглашение.

Но я все никак не могла успокоиться и, наверно, еще целый месяц постоянно думала об одном и том же, пока голова не начала гудеть от этих мыслей, точно бочка с осами. Мысли о тех людях не покидали меня, когда я ходила на реку ловить рыбу и ставила свои верши, когда мы играли с Полем и стреляли из рогаток или раскапывали в лесу звериные норки. Я даже похудела. Мать критически оглядела меня и заявила, что я слишком быстро расту, что это вредит моему здоровью и нам придется пойти к врачу. Доктор Леметр прописал мне каждый день выпивать стакан красного вина, но и это ничуть не помогло. Мне казалось, что все только на меня и смотрят, только меня и обсуждают. Я совсем утратила аппетит. Теперь я отчего-то решила, что Томас и другие немцы – это тайные члены Сопротивления и они попросту хотят меня разоблачить и уничтожить. Наконец я не выдержала и все выложила Кассису.

Мы с ним сидели на Наблюдательном посту. Снова шел дождь. Рен осталась дома с насморком. Я вовсе не собиралась посвящать брата во все свои страхи, но стоило мне начать, и слова сами собой посыпались изо рта, точно зерно из порванного мешка. Остановить этот поток было невозможно. В одной руке у меня была удочка в зеленом чехле, и от возбуждения я с такой силой взмахнула ей, что удочка улетела куда-то в заросли ежевики.

– Мы же не дети малые! – сердито возмущалась я. – Неужели они не верят тому, что мы рассказываем? Зачем Томас подарил мне это... – я с яростью ткнула пальцем в сторону упавшей удочки, – если я таких подарков не заслуживаю?

Кассис растерянно посмотрел на меня.

– Можно подумать, ты действительно хочешь, чтобы кого-то расстреляли, – с явной неприязнью произнес он.

– Ничего я не хочу! – разозлилась я. – Я просто подумала...

– Да ты вообще никогда не думаешь, – перебил меня Кассис своим прежним тоном, нетерпеливо-высокомерным, исполненным презрения. – Ты что, решила, будто мы помогаем сажать людей в тюрьму или расстреливать? Неужели ты действительно так думаешь?

В его голосе звучало возмущение, но, кажется, мои подозрения ему льстили.

Да, именно так я и думала. И что бы Кассис ни говорил, но я была уверена: именно этим он и занимается. Я пожала плечами и промолчала.

– Какая же ты все-таки наивная, Буаз, – с надменным видом заявил братец. – Нет, ты и впрямь еще мала, чтобы участвовать в таких делах.

Вот тут до меня окончательно дошло: он и сам не очень-то во всех этих «делах» разбирается. Он, конечно, соображал быстрее меня, но сначала и он тоже пребывал в неведении. Потому-то тогда, в кино, ему и было страшно настолько, что он весь взмок от волнения. Да и потом я не раз замечала в его глазах страх, когда он с Томасом беседовал о «делах». Лишь позднее, значительно позднее он стал разбираться, что к чему.

Я молча смотрела на него. Он нетерпеливо махнул рукой, отвел глаза в сторону и вдруг крикнул:

– Это же шантаж! – Он прямо-таки выплюнул это слово мне в лицо, даже слюной меня забрызгал. – Ты что, совсем глупая? Самый настоящий шантаж! Как считаешь, им там, в Германии, легко живется? Думаешь, им эта война дается проще, чем нам? Думаешь, у их детей есть и нормальная обувь, и шоколад, и все прочее? Неужели ты не понимаешь, что им самим тоже, может быть, иногда хочется таких вещей?

Однако я не отвечала, лишь слушала его, разинув рот.

– Ясное дело, тебе это и в голову никогда не приходило. – Кассис разозлился по-настоящему, но злился скорее не из-за моей, а из-за своей собственной недогадливости. – Там ведь людям тоже плохо живется, дура ты такая! – вдруг снова заорал он. – Немцы тоже каждый грош откладывают и посылают домой. Вот и вынюхивают все про разных людей, а потом заставляют их платить, обещая молчать про их делишки. Ты же сама слышала, как он тогда мадам Пети назвал настоящей торговкой с черного рынка. Думаешь, ей позволили бы уехать, если б он проболтался насчет нее хоть кому-нибудь из своих? – Кассис как-то странно задыхался, словно хотел рассмеяться и не мог. – Да ни в жизни! Ты что, не знаешь, как они в Париже поступают с евреями? И о лагерях смерти ни разу не слышала?

Я лишь молча пожала плечами, ощущая себя полной идиоткой. Конечно, я слышала об этих вещах. Но у нас-то в Ле-Лавёз все было иначе! До нас, разумеется, тоже доносились разные сплетни, но в моем детском восприятии они странным образом переплелись с «лучом смерти» из «Войны миров» Уэллса, а Гитлер напоминал Чарли Чаплина из тех фильмов, о которых писали в киножурналах Ренетт. Реальные факты мешались в моем сознании со сказками и легендами, со слухами и литературными образами; сводки с полей сражений представлялись картинками из книжки комиксов о межзвездных боях в глубинах Вселенной, куда более далеких, чем планета Марс; ночные авианалеты из-

за Рейна, бомбежки и артиллерийская стрельба казались похожими на наши невсамделишные бои со стрельбой из рогаток, а немецкие подводные лодки наводили на мысль о «Наутилусе» из «Двадцати тысяч лье под водой».

– Значит, шантаж? – тупо переспросила я.

– Бизнес, – резким тоном поправил меня Кассис. – А по-твоему, справедливо, когда у некоторых людей есть и шоколад, и кофе, и хорошая обувь, и журналы, и книги, а другим ничего не остается, как только обходиться без всего этого? Тебе не кажется, что за подобные привилегии надо платить? Что надо хоть немного делиться с теми, кто ничего не имеет? А как быть с такими лицемерами, как месье Тубон? А с разными лжецами? Разве они не должны расплачиваться за свою ложь? И учти, они запросто могут себе это позволить. И никто при этом не пострадает.

Мне казалось, что Кассис говорит примерно то же самое, что сказал бы и Томас; от этой мысли слова брата сразу становились более значимыми, весомыми, я уже не могла их игнорировать и медленно кивнула в знак согласия.

Кассис как будто вздохнул с облегчением и тут же с жаром, но уже более спокойно, прибавил:

– Мы ведь ни у кого ничего не крадем. То барахло с черного рынка должно принадлежать всем. Я просто стараюсь, чтобы и мы получили свою долю – по справедливости.

– Как Робин Гуд?

– Вот именно.

Я снова кивнула. Если так, то все, что мы делаем, и впрямь честно и разумно.

Несколько успокоившись, я слезла с дерева и отправилась искать упавший в заросли ежевики чехол с удочкой. Приятнее всего было сознавать, что уж удочку-то свою я действительно заработала праведным трудом.

Часть третья

Закусочная «У Люка»

Месяцев, наверно, через пять после смерти Кассиса – а с того момента, как началась история с «тетушкой Фрамбуазой», и вовсе года через три, – в Ле-Лавёз вновь пожаловали Янник и Лора. Это случилось летом, когда у меня гостила моя дочь Писташ со своими детьми Прюн и Рико^[42], и до появления моего племянника и его жены мы были совершенно счастливы. Дети росли так быстро и были такими милыми – в точности как их мать: Прюн с шоколадными глазками и пышными вьющимися волосами и Рико с нежными, как бархат, щечками, хотя в последнее время он успел здорово вытянуться. В них было столько веселья, смеха и любви к проказам, что у меня просто сердце разрывалось, так мне хотелось вернуться в детство. Клянусь, стоило им появиться, и я сразу чувствовала себя лет на сорок моложе! В то лето я как раз учила их ловить рыбу и ставить верши. Кроме того, мы с ними делали леденцовые палочки и варили конфитюр из зеленых фиг. С Рико мы вместе читали «Робинзона Крузо» и «Двадцать тысяч лье под водой», а Прюн я рассказывала всякие небылицы о Старой щуке, которую когда-то поймала, и мы обе дрожали от страха, когда речь заходила об ужасном даре этого чудовища.

– Считалось, что, если Старую щуку поймать и выпустить на свободу, она исполнит твое самое заветное желание, а если ты только увидишь ее, хоть краешком глаза, но не поймаешь, то с тобой непременно случится беда.

Прюн смотрела на меня широко раскрытыми карими глазами, на всякий случай сунув в рот большой палец.

– Какая беда? – с ужасом и восторгом прошептала она.

Нарочно понизив голос, я угрожающе произнесла:

– Кто-то умрет, милая. Может, ты, а может, кто-то другой. Кого ты очень любишь. Или еще что-нибудь может случиться, похуже смерти. В любом случае, даже если сама ты выживешь, проклятие Старой щуки будет преследовать тебя до могилы.

Писташ сердито на меня взглянула и с упреком воскликнула:

– Ну, мама! Я совершенно не понимаю, зачем ты говоришь ей такие вещи! Ты что, хочешь, чтобы ей снились кошмары? Чтобы она в постель стала писаться?

– Я никогда не писаю в постель, – возмутилась Прюн и выжидающе на меня посмотрела, надеясь на продолжение, даже за руку меня дернула. –

Бабуля, ты когда-нибудь эту Старую щуку видела? Видела? Правда видела?

Меня вдруг пробрало таким ознобом, что я и сама пожалела о своих словах. Лучше б я выбрала какую-нибудь другую историю. Писташ снова быстро на меня взглянула и протянула к Прюн руки, будто собираясь снять ее у меня с колен.

– Прюнетт, оставь бабулю в покое. Тебе уже спать пора, а ты еще зубы не почистила...

– Пожалуйста, бабуля, скажи: ты действительно ее видела? – не унималась Прюн.

Я обняла внучку, и тот смертный холод немного отступил.

– Милая ты моя, да я как-то все лето ее ловила! И чего только не делала: и сетями ловила, и удочкой, и верши ставила, и всякие ловушки устраивала. Каждый день ставила и дважды в день проверяла, а то и чаще.

Внучка очень серьезно посмотрела на меня и задала вопрос:

– Тебе, наверно, очень хотелось, чтобы твое желание исполнилось, ага?

– Да, наверно, – согласилась я. – Должно быть, так.

– И ты поймала ее? – просияла она.

От нее пахло печеньем и скошенной травой – ах, этот чудесный, теплый, сладостный запах детства! Старикам непременно нужно, чтобы рядом был кто-то юный, чтобы, знаете ли, не забывать.

– Поймала, – улыбнулась я внучке.

Глаза Прюн широко распахнулись. Ею овладело такое невероятное волнение, что она перешла на шепот:

– И что же ты пожелала?

– Ничего, родная моя, – тихо отозвалась я.

– То есть она уплыла от тебя?

Я покачала головой.

– Нет, я по-настоящему ее поймала.

Писташ так и впилась в меня глазами, но лицо ее было в тени. А Прюн, взяв меня за щеки своими пухлыми маленькими ладошками, нетерпеливо спросила:

– А почему же тогда?

Некоторое время я молча смотрела на нее, потом ответила:

– Нет, ты не думай, обратно в воду я ее не бросила. Раз поймала, то отпускать не собиралась.

Я уже жалела, что подняла эту тему. Да и не все в моей истории – правда. И я поцеловала внучку, пообещав, что остальное расскажу потом. Я и сама толком не знала, зачем мне понадобилось выкладывать ей всякие

рыбачьи небылицы. Идти спать Прюн, естественно, не пожелала, но мы все-таки, несмотря на ее бурные протесты, уговорами и прочими маневрами сумели в итоге уложить ее в кровать. Зато я в ту ночь, когда все давно уснули, еще долго лежала без сна и все думала об одном и том же. У меня никогда не было особых проблем со сном, но на этот раз я сумела задремать лишь под утро. Мне все мерещилась Старая щука в темной глубине, я все тащила ее из воды, тащила, и обе мы – ни она, ни я – не в силах были просто отпустить друг друга.

Вот вскоре после того вечера к нам и появились Янник с Лорой – сначала вроде просто заглянули в мое кафе, смирные такие, и заказали, как обычные посетители, *brochet angevin* и *tourteau fromage*^[43]. Я исподтишка наблюдала за ними из кухни; вели они себя вполне прилично. Тихо беседовали друг с другом, никаких неразумных заказов из винного погреба не делали и в кои-то веки не называли меня тетушкой. Лора была само очарование, Янник искренне улыбался; кажется, оба хотели и мне доставить удовольствие, и сами его получить. Я вздохнула с облегчением, увидев, что они вроде бы перестали без конца обниматься и целоваться при людях. Я даже снизошла до того, чтобы немного поболтать с ними за кофе с птифурами.

Лора за эти три года как-то сильно постарела. И похудела; может, конечно, это мода такая, только ее худоба явно не украшала. Волосы у нее были гладко уложены и обхватывали голову, как медный шлем. И какой-то она мне показалась нервной, и все поглаживала низ живота, словно он у нее болит. А вот Янник, насколько я могла судить, совсем не изменился.

Он весело сообщил, что ресторан их процветает, что в банке у них куча денег и весной они собираются съездить на Багамы, ведь они столько лет не отдыхали вместе. О Кассисе оба вспоминали с любовью и, как мне показалось, с искренним сожалением.

И я, конечно, решила, что судила их слишком строго.

Увы, я заблуждалась.

На той же неделе они приехали снова, но уже на ферму. Писташ как раз собиралась укладывать детей спать. Приехали они с подарками: сласти для Прюн и Рико, цветы для Писташ. Моя дочь смотрела на них рассеянно-ласково, но я-то знала, что так она смотрит на тех, кто ей не по душе. Хотя они, несомненно, сочли подобное выражение лица глуповатым. Лора как-то особенно внимательно приглядывалась к детям, и меня это почему-то встревожило; она прямо-таки глаз не могла отвести от Прюн, игравшей на полу с сосновыми шишками. Янник устроился у камина в кресле.

Я отчетливо ощущала рядом с собой молчаливое присутствие Писташ

и очень надеялась, что мои непрошенные гости надолго не задержатся. Однако ни тот ни другая не выказывали ни малейшего намерения покинуть наш дом.

– Эта щука по-анжуйски была просто великолепна, – лениво заметил Янник. – Нет, ну до чего вкусно! Не знаю уж, как вы готовите ее, только я такого сроду не ел.

– Это все сточные воды, – любезно сообщила я. – Сейчас в Луару стекает столько всякой дряни, что рыба практически только ей и питается. Мы это называем «луарской икрой». Говорят, в ней очень много минералов.

Лора ошеломленно вскинула на меня глаза, но Янник рассмеялся, и она несколько неуверенно к нему присоединилась.

– Тетушка Фрамбуаза у нас любит пошутить. Ха-ха-ха! «Луарская икра», надо же. Ну и шутница же вы, тетушка.

Однако с тех пор щуку они больше никогда не заказывали.

А через некоторое время они вспомнили о Кассисе. Сперва это была просто безобидная болтовня о том, как «папа был бы счастлив увидеть свою племянницу и ее детишек».

– Он всегда говорил: хорошо бы у вас поскорее детки родились, – сказал Янник, – но карьера Лоры...

Та довольно резко его перебила:

– С этим еще успеется. Времени у нас предостаточно. Я ведь еще не старая, правда?

Я покачала головой.

– Конечно, конечно.

– И потом, нам и о папе пришлось позаботиться, – продолжал Янник. – У него-то самого почти ничего не осталось. – Янник с аппетитом надкусил песочное печенье. – Мы полностью его содержали. Даже купили его дом.

А вот этому я вполне верила. Кассис никогда не умел беречь деньги. Они у него просто сквозь пальцы просачивались, как песок; а еще чаще – оседали у него в брюхе; в своем парижском ресторане самым лучшим клиентом всегда был он сам.

– Мы, конечно, и не думали ставить это ему в упрек, – вкрадчиво промолвила Лора. – Мы очень любили бедного папу, верно, *chéri*?

Янник с энтузиазмом закивал, но искренности в нем не чувствовалось, когда он воскликнул:

– Еще бы! Конечно любили. Он ведь был таким щедрым! И насчет этой фермы никогда никаких претензий не предъявлял. Или там насчет наследства. Просто удивительно.

И тут он взглянул на меня – остро так, точно разъяренная крыса.

– Ты это о чем? – вскинулась я, чуть не разлив кофе.

Сдержалась я только потому, что рядом сидела Писташ и внимательно прислушивалась к нашей беседе. Я никогда не говорила дочерям ни о Ренетт, ни о Кассисе. Они никогда с ними не встречались и, наверно, считали, что в семье я была единственным ребенком. И о своей матери я тоже ни словом не обмолвилась.

Янник явно смутился.

– Ну как же, тетушка Фрамбуаза, вам же известно, что это он должен был унаследовать ферму...

– Нет, мы вас, конечно, не обвиняем... – подхватила Лора.

– Но ведь он был старшим сыном, и в соответствии с завещанием...

– Так, погодите-ка минутку! – Я очень старалась, чтобы голос звучал не слишком пронзительно, но не выдержала, в какое-то мгновение сорвалась, в точности как моя мать, и, лишь заметив, как поморщилась Писташ, взяла себя в руки и произнесла спокойно: – Я заплатила Кассису за этот дом кругленькую сумму. Действительно хорошие деньги, особенно если учесть, что после пожара тут остался один остов, а сквозь черепицу все балки торчали. Кассис здесь все равно жить не смог бы, да наверняка и не захотел бы. Я отдала за эту развалину куда больше, чем могла себе позволить, и нечего...

– Ш-ш-ш, тише, все в порядке. – Лора гневно посмотрела на мужа. – Никто даже не пытается утверждать, что ваш договор с отцом Янника был заключен незаконно. Хотя до некоторой степени он действительно неправомерен.

Неправомерен.

Да, это, конечно, словечко Лоры: емкое, самодовольное, слегка приправленное скептицизмом. Я с такой силой стиснула дрожащей рукой кофейную чашку, что горячий кофе выплеснулся мне на пальцы.

– Но, тетушка, попытайтесь взглянуть на этот вопрос с нашей точки зрения. – Янник приблизил ко мне свое широкое лоснящееся лицо. – Бабушкино наследство...

Мне стало противно. Разговор явно зашел не туда. И особенно неприятно было, что Писташ, раскрыв от изумления глаза, все это слушает.

– Да вы оба никогда мою мать и в глаза не видели! – резко оборвала я его.

– Дело совсем не в этом, тетушка, – быстро возразил Янник, – а в том, что вас было трое. И наследство она разделила на три части. Это ведь так, верно?

Я осторожно кивнула.

– Но теперь, когда бедного папы больше нет, мы должны выяснить, было ли то неформальное соглашение, которое вы с папой заключили, справедливым по отношению к прочим членам семьи.

Голос Янника был самым обычным, зато я, заметив, как хищно поблескивают его глазки, неожиданно вышла из себя и гневно крикнула:

– Какое еще неформальное соглашение? Повторяю снова: я заплатила за дом большие деньги. Подписала все необходимые документы...

Лора положила руку мне на плечо:

– Янник не хотел вас расстраивать, тетушка Фрамбуаза.

– А я ничуть и не расстроена, – ледяным тоном отрезала я.

Но Янник, словно ничего не слыша, гнул свое:

– Дело в том, что кое-кто может счесть договор, который вы заключили с бедным папой, больным человеком, отчаянно нуждавшимся в деньгах...

Я видела, как внимательно Лора наблюдает за Писташ, и, не сдержавшись, выругалась себе под нос.

– ...И потом, имеется еще и невостребованная треть наследства, которая должна бы принадлежать тете Рен...

Ну еще бы! Там, в подполе, целое состояние. Десять ящиков бордо, заложенные в тот год, когда родилась Рен-Клод. Мать закрыла их сверху черепицей и даже слой цемента положила, пряча от немцев. А теперь оказалось, что это вино стоит не меньше тысячи франков за бутылку, а то и больше. По сути, коллекционное вино, ждущее своего часа. Черт побери! Этот Кассис никогда не умел держать язык за зубами!

– Это все для Рен, – сердито перебила я племянника. – Я ни к чему не притронулась.

– Ну естественно, тетушка. И все-таки... – Янник горестно усмехнулся и стал до такой степени похож на моего брата, что у меня защемило сердце. Я снова быстро посмотрела на Писташ: она сидела выпрямившись, будто штык проглотила, ее лицо казалось совершенно бесстрастным. – Вы должны признать, что тетя Рен вряд ли в состоянии потребовать свою долю наследства. И разве не было бы справедливее, с точки зрения всех заинтересованных лиц...

– Все это принадлежит Рен, – ровным тоном сказала я. – Я к этому не притронулась. И вам по собственной воле ни за что не отдам. Довольно с тебя такого ответа?

Лора повернулась ко мне. В черном платье, освещенная желтым светом лампы, она выглядела совершенно больной.

– Мне очень жаль, – она бросила на Янника выразительный взгляд, – что наша беседа приняла такой оборот. Мы вовсе не собирались говорить с

вами о деньгах. И конечно, у нас даже в мыслях не было заставить вас отказаться от дома или от той части наследства, которая по закону причитается тете Рен. И если кто-то из нас дал основание...

Совершенно оглушенная, я только головой покачала.

– В таком случае будьте любезны, скажите, к чему все это...

Лора не дала мне закончить; ее глаза сверкнули.

– Была еще некая книга.

– Книга? – недоуменно уточнила я.

Янник кивнул:

– По словам папы, была. Вы ее показывали ему, тетушка.

– Книга кулинарных рецептов, – со странным спокойствием пояснила Лора. – Вы ведь и так все эти рецепты наизусть знаете, тетушка Фрамбуаза. А нам бы на них только взглянуть... Мы бы просто ненадолго взяли ее займы...

– Конечно, мы бы заплатили, – торопливо вставил Янник. – Подумайте об этом, тетушка. Отличный способ навеки прославить фамилию Дартижан.

Должно быть, именно эта фамилия, произнесенная вслух, все и решила. Смушение, страх, недоверие все еще боролись в моей душе, но при упоминании фамилии Дартижан от них не осталось и следа; копье невыносимого ужаса пронзило меня насквозь. В бешенстве я смахнула со стола кофейные чашки, и те вдребезги разлетелись на терракотовых плитках пола, насланного еще моей матерью. Я успела заметить, какими странными глазами смотрит на меня Писташ, но поделаться с собой уже ничего не могла, не могла справиться с охватившим меня гневом и ужасом.

– Нет! Никогда!

Голос мой взвился и забился в небольшой комнатке, точно красный воздушный змей, стремящийся в поднебесье. Словно на мгновение вырвавшись из собственного тела, я бесстрастным взглядом увидела себя как бы сверху: довольно бесцветную, остролицую женщину в сером платье с гладко зачесанными волосами, собранными на затылке в тугий узел. Я увидела странное понимание и сочувствие в глазах дочери, увидела тщательно скрываемую враждебность на лицах моего племянника и его жены, и моя ярость, вспыхнув с новой силой, снова вернула меня на землю.

– Догадываюсь, чего вы хотите! – прорычала я. – Раз вы не можете заполучить «тетушку Фрамбуазу», то готовы удовлетвориться «тетушкой Мирабель»? Что, не так? – Воздух обжигал мне глотку, царапал ее, точно клубок колючей проволоки. – Не знаю уж, что вам там Кассис наговорил, только он к этому никогда не имел ни малейшего отношения! Как и вы не

имеете. Та старая история давно мертва. И мать моя тоже мертва. И ничего вы от меня не получите, хоть полсотни лет ждите.

У меня перехватило дыхание. Горло уже саднило от крика. Схватив их последнее подношение – коробку льняных носовых платков, которая лежала на кухонном столе, завернутая в серебристую бумагу, я с яростью ее отшвырнула и хрипло гаркнула, глядя на Лору:

– Можете забрать свою жалкую взятку! Можете засунуть ее себе в задницу вместе с вашим распрекрасным парижским меню, вашей омерзительной липкой абрикосовой подливой и вашим «бедным старым папой»!

На секунду наши взгляды скрестились, и я заметила, что Лора наконец-то сбросила свою сладкую вуаль, теперь в ее глазах читалась откровенная злоба.

– Я могла бы обсудить это со своим адвокатом... – начала она.

И тут меня разобрал смех.

– Ну правильно! – захохотала я. – А как же, конечно с адвокатом! Ведь в конце концов, все именно к разборке с адвокатом и сводится, верно? – Я прямо-таки изнемогала от смеха. – «Со своим адвокатом», надо же!

Янник попытался успокоить жену; глаза его тревожно блестели.

– Ладно, chérie, ты же знаешь, что мы...

Лора свирепо огрызнулась:

– Убери от меня свои вонючие руки!

Я зашлась от хохота, даже за живот схватилась. Перед глазами у меня плясали какие-то черные мушки. Но Лора уже пришла в себя. Выпустив из глаз заряд ненависти-шрапнели, она произнесла ледяным тоном:

– Мне очень жаль. Вы просто не понимаете, как это для меня важно. Моя карьера...

Племянник попытался подтолкнуть ее к двери, по-прежнему настороженно на меня посматривая, и торопливо пробормотал:

– Никто не собирался так вас расстраивать, тетушка Фрамбуаза. Ничего, мы приедем снова, когда вы все обдумаете. Мы же не просим у вас эту книгу насовсем.

Его слова скользили, не задевая меня, точно рассыпавшаяся колода карт. Я захохотала еще громче; ужас все сильнее охватывал мою душу, я никак не могла успокоиться. И даже когда они попрощались, когда их «мерседес» странно тихо, как бы украдкой, взвизгнул шинами и исчез в ночи, я все еще некоторое время дергалась в странных конвульсиях, переходя от смеха к рыданиям. И по мере того как адреналин постепенно покидал вены, меня охватывало чувство глубочайшего потрясения и

собственной старости.

Да, я казалась себе невероятно старой и дряхлой.

А Писташ молча за мной наблюдала; по ее лицу ничего нельзя было прочесть. Из-за двери, ведущей в спальню, показалась мордашка Прюн.

– Бабуля, что случилось?

– Ложись в кроватку, детка, – быстро велела ей Писташ. – Все в порядке. Ничего страшного.

Но на лице у внучки было написано сомнение.

– А почему бабуля так кричала?

– Нипочему. – Теперь голос Писташ звучал резко, сердито. – Сейчас же ступай в постель!

Прюн неохотно вернулась в кровать, и Писташ закрыла за ней дверь.

Некоторое время мы сидели молча.

Но я знала: когда она будет в состоянии говорить, то начнет именно с этой темы. Знала я и то, что Писташ лучше не подгонять. Она выглядит очень милой, но в глубине ее души таится упрямство. Уж мне-то хорошо это известно; во мне и самой упрямства немало. Так что я вымыла тарелки, убрала со стола, потом взяла книгу и сделала вид, что читаю.

Через некоторое время раздался голос Писташ:

– Что они имели в виду, когда обсуждали бабушкино наследство?

– Ничего, – пожалала я плечами. – Кассис всем старался показать, какой он богатый, надеялся, что они в старости станут о нем заботиться. Им бы следовало раньше сообразить. Только и всего.

Я надеялась, что этого ответа будет достаточно, но у моей дочери между бровями уже пролегла упрямая морщинка, которая ничего хорошего не обещала.

– А я и не догадывалась, что у меня есть дядя, – странным, ничего не выражающим тоном заметила она.

– Мы не были близки.

Снова воцарилось молчание. Я прямо-таки видела, как она прокручивает все это в голове; больше всего мне хотелось, чтобы колесо ее мыслей перестало крутиться, но я понимала, что не смогу его остановить.

– Янник очень на него похож, – добавила я, стараясь сохранять максимальное спокойствие и легкость тона. – Такой же красивый и бесполезный. Вот жена и водит его за собой на веревочке, как танцующего медведя на ярмарке.

Надеясь вызвать улыбку Писташ, я нарочито смешно засемила ногами, но ее задумчивый взгляд стал еще мрачнее.

– Они, кажется, считают, что ты обманула его, – заявила дочь. –

Выкупила у него ферму, когда он был болен и нуждался в деньгах.

Усилием воли я заставила себя промолчать. Все равно вспышка гнева на такой стадии выяснения отношений ни к чему хорошему не привела бы.

– Писташ, – терпеливо начала я, – не верь тому, что плетут эти двое. Кассис не был болен. Во всяком случае, был не настолько болен, как это, возможно, представляется тебе. Он допился до полного банкротства, бросил жену и сына, а потом продал мне ферму для уплаты долгов.

Она смотрела на меня с любопытством, и мне пришлось сделать над собой усилие, чтобы удержаться и не закричать.

– Понимаешь, это было много лет назад. Все кончено. Мой брат мертв.

– Лора упоминала еще о вашей сестре.

– Рен-Клод, – подтвердила я.

– Почему ты скрывала ее?

Я пожала плечами:

– Мы не были...

– Близки. Я уже поняла.

Голос Писташ был каким-то тоненьким, детским. И звучал он как-то чересчур ровно.

Меня снова охватил страх, и я ответила чуть более резко, чем собиралась:

– Ну да, тебе ли этого не понять. В конце концов, вы с Нуазетт тоже никогда не были...

Тут я прикусила язык, но было уже слишком поздно. Я видела, как Писташ вздрогнула. Вот проклятье!

– Нет, не были, – сказала она спокойно. – Но я, по крайней мере, старалась. Ради тебя.

Черт возьми! Я и забыла, какая она чувствительная. Все эти годы я считала ее девочкой спокойной, с тревогой глядя, как моя вторая дочь становится все более своенравной и неуправляемой. Да, Нуазетт всегда была моей любимицей, но до сих пор я считала, что неплохо это скрываю. Если бы передо мной была сейчас не Писташ, а Прюн, я просто обняла бы ее и прижала к себе. Однако передо мной сидела взрослая, тридцатилетняя женщина со спокойным, замкнутым лицом, с легкой уязвленной усмешкой на устах, с немного сонными, кошачьими глазами... И я вдруг подумала о Нуазетт, о том, как из гордости и упрямства превратила собственную дочь в чужого человека.

– Мы расстались давным-давно, – снова заговорила я, пытаюсь хоть что-то втолковать Писташ. – После... войны. Моя мать была... больна. И мы какое-то время жили у разных родственников. Мы практически не

общались. – Это была почти правда; во всяком случае, настолько близко к правде, насколько было в тот момент возможно. – Рен уехала... работать... в Париж. Она... тоже заболела. Она сейчас в частной лечебнице под Парижем. Я как-то навестила ее, но...

Как я могла все это объяснить дочери? Казенный запах больницы – запах вареной капусты, прачечной и болезней; орущие психи в палатах с мягкими стенами; толпы совершенно потерянных людей, которые плачут, если им не нравятся печеные яблоки, или вдруг с неожиданной злобой, с воплями набрасываются друг на друга, беспомощно размахивая кулаками, толкаясь и налетая на эти бледно-зеленые стены. Я помню одного мужчину в кресле-каталке, еще довольно молодого, с лицом, напоминавшим изуродованный шрамами кулак, и глазами, исполненными полной безнадежности. Эти глаза как-то жутко вращались, а сам он, не умолкая, пронзительно выкрикивал: «Мне здесь не нравится! Мне здесь не нравится!»; я все время слышала его голос, пока он не стих сам собой, превратившись в некое монотонное бормотание, и я вдруг обнаружила, что мне совершенно безразлично его отчаяние. А еще одна женщина все время стояла в углу, повернувшись лицом к стене, и плакала, но на нее никто не обращал внимания. И наконец, она, Рен... точнее, некая огромная женщина на кровати, безобразно расплывшаяся, с обесцвеченными волосами, с невероятно толстыми, круглыми, белыми ляжками, с холодными и мягкими, как сырое тесто, руками, все время безмятежно чему-то улыбающаяся, что-то нашептывавшая... Только голос был прежний, иначе я ни за что бы не поверила, что это она. А она детским голоском все напевала что-то бессмысленное, какие-то отдельные звуки или слоги, и глаза у нее были пустые и круглые, как у совы. Я заставила себя дотронуться до ее руки. «Рен. Ренетт». В ответ та же пустая улыбка, слабый кивок, словно в своих мечтах она была королевой, а я ее подданной. Медсестра тихо сообщила мне, что Рен забыла свое имя, но это ничего, она вполне счастлива, у нее бывают «хорошие дни» и она любит телевизор, особенно мультфильмы, а еще она любит, когда ей расчесывают волосы под аккомпанемент включенного радио. «У нас, конечно, еще бывают порой наши ужасные приступы, – пожаловалась медсестра, и я прямо-таки вся похолодела, услышав знакомые слова; что-то екнуло у меня под ложечкой и тут же превратилось в яркий, ледяной ком страха. – И по ночам мы порой просыпаемся». Странно звучало это местоимение «мы», словно медсестричка готова была стать частью этой женщины, разделить с ней тяжкое бремя ее старости и безумия. «И небольшие вспышки гнева у нас иногда случаются, правда ведь?» Она ласково мне улыбнулась, молодая

блондинка лет двадцати, и я в эти минуты испытала к ней такую ненависть – из-за ее юности и этого радостного невежества, – что тоже почти улыбнулась ей.

Вот и сейчас, взглянув на дочь, я почувствовала у себя на лице примерно такую же улыбку и сразу отругала себя за это. И снова попыталась что-то объяснить Писташ уже более спокойным, чуть ли не извиняющимся тоном.

– Тебе же известно, как это бывает, – произнесла я. – Я всегда не выносила стариков и больницы. Но деньги я туда посылаю регулярно.

Вот эта фраза была лишней. Иногда что ни скажешь, все невпопад. Моя мать это отлично знала.

– Деньги! – презрительно бросила Писташ. – Неужели людей интересуют только деньги?

Вскоре она легла спать, и с того вечера все у нас с ней пошло наперекосяк. А через две недели они уехали – немного раньше обычного. Писташ жаловалась, что устала, что ей еще нужно готовиться к началу учебного года в школе, но я-то видела: причина не в этом. Я попыталась вызвать ее на откровенность, однако ничего хорошего из этого не получилось. Она была какой-то отстраненной, глаза смотрели настороженно. Еще до их отъезда я обратила внимание, что дочери очень часто стали приходить письма, но не придавала этому значения. Что к чему, я поняла только значительно позже. А тогда мои мысли были заняты совсем другим.

Через несколько дней после истории с Янником и Лорой появился этот автофургон. Его притащил на прицепе огромный трейлер и пристроил прямо напротив моего кафе «Crêpe Framboise» на поросшей травой обочине, где уже суетился какой-то молодой человек в бумажной красно-желтой шапке. Я как раз обслуживала клиентов и особого внимания на это не обратила. Однако, снова выглянув наружу где-то около полудня, я с удивлением обнаружила, что трейлер уехал, а на обочине стоит небольшой автофургон и на нем ярко-красной краской крупно написано: «Super Snak»^[44]. Я подошла поближе, чтобы получше его разглядеть. Там, кажется, никого не было; металлические ставни на окнах спущены и укреплены цепью с тяжелым замком. Я постучалась, но мне никто не ответил.

Закусочная открылась только на следующий день. Произошло это примерно в половине двенадцатого, когда обычно начинают подходить мои первые посетители. Ставни были уже подняты, за ними виднелся прилавок, над прилавком раскинулась красно-желтая маркиза. Под маркизой была натянута леска с разноцветными флажками, на каждом флажке было написано название какого-нибудь блюда и его цена: «steak-frites, 17F, saucisse-frites, 14F»^[45]; стены были украшены яркими постерами, расхваливавшими «Super Snaks» или «Big Value Burgers»^[46]; на полках выстроилось множество разнообразных прохладительных напитков.

– Судя по всему, у тебя появился конкурент, – заметил Поль Уриа, прибывший, как всегда, точно в четверть первого.

Я даже спрашивать не стала, что ему принести; он всегда заказывает мое «фирменное» блюдо, а готовлю я каждый день разное, и demi^[47]. По нему вообще можно часы проверять. Сидит себе на своем обычном месте у окна, помалкивает, ест да на дорогу смотрит. Решив, что он в кои-то веки пошутил, я насмешливо воскликнула:

– Вот еще, конкурент! Скажешь тоже! Имейте в виду, месье Уриа: если моему «Crêpe Framboise» придется соревноваться с какой-то вонючей забегаловкой на колесах, я попросту соберу горшки да сковородки и навсегда закрою блинную.

Поль добродушно засмеялся. В тот день моим фирменным блюдом были жаренные на решетке сардины, одно из самых любимых блюд Поля, к рыбе полагалась еще и корзинка свежего орехового хлеба. Поль жевал

вдумчиво, как обычно наблюдая за дорогой. Кажется, появление на обочине автофургона с закусками никак не повлияло на количество посетителей моего кафе; в течение последующих двух часов я была полностью занята готовкой, а моя официантка Лиза только и делала, что принимала заказы. Когда же я снова выглянула наружу, возле автофургона уже стояли два каких-то юнца, девочка и мальчик, держа в руках кульки с чипсами. Я пожала плечами. Эти к моим обычным посетителям отношения не имели. Ну что ж, прекрасно проживу и с таким соседом.

Но на следующий день юнцов там собралась добрая дюжина; включенное на полную мощность радио наигрывало какую-то развеселую музыку. Пришлось, несмотря на полуденную жару, закрыть дверь блинной, но и при закрытой двери сквозь оконное стекло доносился гитарный перебор и грохот ударных, так что Мари Фенуй и Шарлотта Дюпре, две мои постоянные посетительницы, пожаловались, что сегодня у меня слишком жарко и шумно.

Через день толпа у закусочной еще выросла, а музыка гремела пуще прежнего. Где-то без двадцати двенадцать я не выдержала и отправилась к хозяину фургона – жаловаться на шум. Стоило мне там появиться, и меня со всех сторон моментально окружили подростки; кое-кого из деревенских я узнала, но большинство были городские – девчонки в лифчиках от купальников и в ярких летних юбках или джинсах, парни в рубашках с поднятым воротником и в мотоциклетных ботсах с пряжками, которые так и звенели на ходу. Под стенкой закусочной стояло несколько мотоциклов, от которых исходила бензиновая вонь, смешивавшаяся с запахом подгоревшего фритюра и пива. Молоденькая девчонка с коротко стриженными волосами и с серьгой в носу нахально на меня уставилась, думая, наверно, что я пытаюсь пролезть без очереди, и ловко засадила мне локтем в бок, хорошо еще, что в лицо не заехала. Затем она хамски заявила, с трудом разлепив челюсти, занятые жвачкой:

– Куда без очереди лезешь, мамаша? Ты что, ослепла? Видишь, сколько людей стоит?

– А-а, так ты, милочка, оказывается, в очереди стоишь? А мне показалось, ты тут просто клиентов подманиваешь!

Конечно, я тоже за словом в карман не полезла.

Девушка разинула рот, а я, работая локтями, двинулась дальше, больше ни одним взглядом ее не удостоив. Мирабель Дартижан, что бы она там ни натворила, всех своих детей научила никому не спускать оскорблений.

Прилавок оказался довольно высоким, и мне пришлось смотреть на хозяина автофургона снизу вверх, задрвав голову. Это был молодой человек

лет двадцати пяти, довольно привлекательной наружности, этакий «свой парень» со светлыми, несколько грязноватыми патлами до плеч и одной-единственной золотой сережкой, болтавшейся в ухе, крестиком, насколько я сумела разглядеть. Глаза у него, правда, были красивые, лет сорок назад я бы, пожалуй, даже внимание на него обратила, но теперь стала слишком старой и привередливой. По-моему, те природные женские часы перестали тикать во мне примерно тогда же, когда мужчины перестали носить шляпы. Несколько позже, вспоминая этого парня, я решила, что он определенно мне кого-то напоминает, но в тот момент я не обратила особого внимания на его внешность.

Конечно, он уже знал, как меня зовут.

– Доброе утро, мадам Симон, – вежливо и чуть насмешливо поздоровался он. – Чем могу служить? Есть замечательный burger américain^[48]. Не желаете попробовать?

Я была рассержена, но старалась этого не показывать. Судя по выражению его лица, он ждал неприятностей и был вполне готов с ними справиться. Так что я одарила его одной из самых добрых своих улыбок и вежливо ответила:

– Не сегодня, спасибо. Но я была бы очень признательна, если бы вы немного убавили звук радио. Мои посетители...

– О, разумеется! – Он был сама вежливость; его глаза отливали синевой и поблескивали, точно фарфоровые. – Я как-то не подумал, что могу кому-то помешать.

Рядом со мной та девица с серьгой в носу презрительно, с явным сомнением фыркнула, и до меня донеслись ее слова, адресованные подружке, тоже коротко стриженной и в таких крошечных шортиках, что из них прямо-таки вываливались мясистые ягодцы:

– Нет, ты слышишь? А что она мне сказала, слышала?

Светловолосый хозяин фургона улыбнулся мне, и я невольно заметила, что в нем есть и определенное мужское очарование, и ум, и еще что-то – ох, что-то очень знакомое! Это непонятное «что-то» занозой застряло у меня в сердце. Он наклонился, прикрутил ручку приемника, и музыка заиграла потише. А я все изучала его: на шее золотая цепь, на серой майке проступили пятна пота, руки, пожалуй, чересчур ухоженные для того, кто занимается готовкой... Нет, что-то в нем не так, думала я, как и во всей этой истории с появлением автофургона. Впервые я почувствовала не гнев, а страх.

– Теперь достаточно тихо, мадам Симон? – вежливо спросил он.

Я кивнула.

– Мне бы ужасно не хотелось, чтобы соседи сочли меня наглецом...

Фразы-то были правильные, но я никак не могла избавиться от мысли, что здесь имеется подвох; какая-то насмешка таилась в его учтивом холодном тоне. Мне все казалось, что я чего-то недопоняла, что-то пропустила. И хотя требование мое было удовлетворено, я так поспешно ретировалась, что чуть ногу не подвернула, споткнувшись о камень, когда пробивалась сквозь плотную толпу молодых тел, обступивших меня со всех сторон; теперь там набралось уже, наверно, человек сорок юнцов, а может, и больше, и я прямо-таки тонула в гомоне их голосов. Я торопливо выбралась из толпы – всегда терпеть не могла, когда ко мне прикасаются, – и направилась назад, к своей блинной. У меня за спиной раздался взрыв наглого смеха. Судя по всему, он, выждав, когда я отойду, не замедлил отпустить на мой счет несколько ядовитых шуточек. Я резко обернулась, но он стоял ко мне спиной и ловко, с привычной сноровкой выдавал покупателям бургеры и хот-доги.

Ощущение подвоха не проходило. Я заметила, что стала чаще прежнего выглядывать из окошка, а когда Мари Фенуй и Шарлотта Дюпре, те самые, что накануне жаловались на шум, в обычное для них время в блинной не появились, мне стало немного не по себе. Возможно, все это ерунда, успокаивала я себя. В конце концов, у меня сегодня всего один столик оказался незанятым. Все остальные завсегдатаи на месте. Однако я то и дело ловила себя на том, что с невольным восхищением наблюдаю, как ловко работает мой «конкурент» и как быстро продвигается очередь, успевшая собраться на обочине. Молодежь с аппетитом поедала что-то из бумажных кулчков и пластиковых контейнеров, а он правил балом и словно уже успел подружиться со всеми. Полдюжины девиц – среди них и та, с серьгой в носу, – постоянно толклись у прилавка, держа в руках банки и бутылки с прохладительными напитками. Да и прочие особы женского пола торчали поблизости, стояли или сидели, лениво развалившись и намеренно выставив напоказ голые ляжки и едва прикрытые купальником груди. Видимо, эти голубые глаза заставили биться быстрее многие сердца, куда более нежные и куда менее опытные, чем мое старое сердце.

В половине первого я услышала из кухни рев мотоциклов. Жуткий звук, словно разом включили несколько пневматических дрелей. Я уронила лопатку с длинной ручкой, которой переворачивала на сковороде *bolets farcis*^[49], и выбежала на дорогу. Рев стоял оглушительный, я даже уши заткнула, и все равно барабанные перепонки чуть не лопались – уши у меня стали такими чувствительными еще в детстве, когда я без конца ныряла в нашу старую Луару. Пять мотоциклов, те самые, что были прислонены к

стене автофургона, теперь выехали на дорогу, и их владельцы прямо напротив моей блинной прогревали моторы; у троих на заднем сиденье кокетливо пристроились полуголые девицы. Они явно собирались уезжать, и напоследок каждый старался превзойти соседа в мощности и громкости рева мотора. Я стала сердито на них ругаться, но услышать что-либо в этом кошмарном шуме было невозможно. Заметив, что некоторые молокососы, столпившиеся у прилавка, засмеялись и захлопали в ладоши, я в бешенстве замахала руками, понимая, что мне до них не докричаться. Ездоки насмешливо сделали мне ручкой, а один поставил на дыбы свой мотоцикл, точно норовистую лошадь, удвоив при этом громкость его рева.

Представление длилось минут пять, но за это время мои белые грибочки успели совершенно сгореть, в ушах у меня стоял болезненный звон, и я просто кипела от злости. Снова жаловаться владельцу автофургона у меня попросту не было времени, и я решила непременно сделать это, как только уйдут мои клиенты. К тому времени, однако, закусочная уже закрылась, и сколько я в ярости ни колотила кулаком в металлические ставни, мне никто не ответил.

На следующий день он снова включил радио на полную катушку. Я терпела эту чертову музыку, сколько хватило сил, потом все же потопала к закусочной. Народу там было еще больше, чем вчера; кое-кто узнал меня, пока я проталкивалась к прилавку, и принялся отпускать хамские комментарии. На этот раз я была слишком зла и не думала о манерах. Гневно посмотрев на владельца закусочной, я заорала:

– Мы ведь, кажется, договорились?

Одарив меня улыбкой, широкой, как вход в амбар, он осведомился:

– О чем, мадам?

«Нет уж, сегодня этот фокус у тебя не пройдет!» – решила я.

– Не притворяйтесь, будто не понимаете! Я требую немедленно выключить музыку! Немедленно!

Он вежливо поклонился и со скорбным выражением лица, демонстрируя, насколько обижен моим яростным натиском, выключил музыку.

– Конечно, конечно, мадам, не сердитесь, я не предполагал, что это вызовет у вас такое раздражение. Мы с вами теперь близкие соседи, нам нужно непременно притереться друг к другу.

В первые несколько секунд из-за охватившего меня гнева я не сумела даже расслышать предупреждающий звоночек, прозвеневший в этих словах.

– Что вы имеете в виду? Какие еще «близкие соседи»? – До меня

наконец-то начинал доходить смысл этой фразы. – И вообще, долго вы еще намерены тут торчать?

– Так ведь как получится... – пожал он плечами; его голос звучал вкрадчиво. – Вы и сами знаете, мадам, как непросто угодить клиентам. Посетители – вещь непредсказуемая. Сегодня, как говорится, густо, а завтра пусто. Неизвестно, как оно сложится...

Теперь предупреждающий звоночек превратился в оглушительный звон; меня вдруг охватил озноб.

– Но вы поставили фургон на общественной дороге, – сухо заметила я. – Не сомневаюсь, полицейские заставят вас уехать, как только выяснится, что вы тут находитесь.

Он покачал головой и произнес почти ласково:

– У меня имеется официальное разрешение здесь находиться. К тому же стою я не на дороге, а на обочине, все документы у меня в порядке. – И он с оскорбительно вежливой улыбкой спросил, глядя прямо на меня: – Надеюсь, мадам, что и у вас тоже?

Я заставила себя сохранить на лице каменное спокойствие, но сердце трепыхалось, точно выброшенная на берег рыба. Он что-то знает! От одной этой мысли я сразу почувствовала головокружение и тошноту. Боже мой, он действительно что-то знает! Проигнорировав его вопрос, я твердым голосом заявила:

– И еще одно. – Я была довольна, что удастся сохранять достоинство и тихую уверенность женщины, которой совершенно нечего бояться; вот только сердце готово было прямо-таки выскочить из груди. – Вчера ваши клиенты устроили адский шум, заводя мотоциклы. Если вы еще раз позволите своим друзьям беспокоить посетителей моего кафе, я сообщу в полицию о нарушении общественного порядка. И я уверена, что там...

– А я уверен, там ответят, что шум возник не по моей вине, а по вине самих мотоциклистов. – Судя по его голосу, он с удовольствием развлекался, дразня меня. – Нет, правда, мадам, я очень стараюсь вести себя должным образом. Бесконечные угрозы и обвинения с вашей стороны делу не помогут.

И я вдруг, как ни странно, и впрямь ощутила себя виноватой, словно это не он, а я кому-то угрожала. В ту ночь я спала плохо, все время просыпалась, а утром накричала на Прюн за то, что та разлила молоко, и на Рико, который играл в футбол слишком близко от огорода. Писташ как-то странно на меня посмотрела – мы с ней практически не общались с того вечера, когда к нам приезжали Янник с Лорой, – и поинтересовалась, хорошо ли я себя чувствую.

– Нормально, – буркнула я и вернулась на кухню.

В последующие дни ситуация только ухудшилась. Два дня я, правда, никакой музыки не слышала, зато потом она загремела снова и куда громче, чем прежде. Мотоциклисты стали наезжать целыми бандами, яростно взреывая моторами как при приезде, так и при отъезде, и с дикими воплями и улюлюканьем носились друг за другом вокруг закусочной. Толпа юнцов, собиравшихся там, тоже что-то не уменьшалась, даже наоборот. С каждым днем я все дольше и дольше собирала с обочины шоссе смятые жестянки из-под напитков и бумажные обертки. Но куда хуже то, что этот голубоглазый красавчик стал открывать свое заведение еще и по вечерам, с семи до полуночи, и это странным образом совпадало с расписанием работы моей блинной. Я со страхом прислушивалась к звукам включаемого в фургоне генератора, понимая, что через несколько минут прямо напротив моего тихого кафе загомонит разнузданная ватага девиц и парней. Розовая неоновая надпись, светившаяся в сумерках над закусочной, гласила: «Сэндвичи, закуски, жареный картофель – у Люка есть все!», а в прохладном вечернем воздухе, точно на ярмарке, разливались запахи кипящего фритюра, пива и сладких горячих вафель.

Кое-кто из моих постоянных клиентов начал жаловаться, кое-кто просто перестал появляться. К концу недели я потеряла уже семерых своих завсегдатаев, а в будние дни моя блинная выглядела и вовсе наполовину пустой. Правда, в субботу из Анже приехали сразу девять человек, но в тот вечер шум возле закусочной на колесах был особенно невыносимым; заезжие гости то и дело нервно поглядывали на толпу юнцов, резвившихся на обочине в опасной близости от их автомобилей, а вскоре и вовсе поспешили уйти – без десерта, без кофе – и намеренно не оставили никаких чаевых.

Нет, терпеть это дальше было просто невозможно.

В Ле-Лавёз полицейского участка не было, но один *gendarme* все-таки имелся: Луи Рамонден, внук Франсуа Рамондена. Я-то с ним старалась никаких дел не иметь, он ведь тоже был из тех семей. Луи Рамондену было лет сорок, он очень рано женился на одной из местных девушек и совсем недавно развелся; он очень походил на своего двоюродного деда Гильерма, того самого, с деревянной ногой. Мне совсем не хотелось связываться с Луи, но у меня буквально выбивали почву из-под ног, и я просто не знала, за что хвататься – все будто само валилось из рук. Словом, помощь мне

была совершенно необходима.

Я подробно описала Луи, что творится вокруг автофургона: дьявольский шум, кучи мусора, недовольство моих постоянных клиентов, оглушительно ревущие мотоциклы. Он слушал меня снисходительно, как молодой мужчина может слушать болтовню суетливой старушки; он так усердно кивал и улыбался, что у меня просто руки чесались, до того хотелось дать ему в лоб. Затем он жизнерадостным и исполненным терпения тоном, какой молодые обычно прибегают для глуховатых стариков, разъяснил мне, что пока хозяин закусочной не нарушил ни одного закона. «Crêpe Framboise», сообщил он, находится рядом с главной дорогой, а значит, и жизнь в Ле-Лавёз теперь совсем другая, чем прежде. Даже с тех пор, как я поселилась в деревне, сказал он, уже многое изменилось. Он, конечно, попытается побеседовать с Люком, хозяином закусочной, но и я тоже должна проявить понимание.

О да, я все прекрасно понимала! Я собственными глазами видела, как Луи Рамонден болтался возле закусочной этого Люка – без полицейской формы и в обществе довольно хорошенькой девицы в белой маечке и джинсиках. В одной руке у него была жестянка с каким-то напитком, в другой сладкие вафли. Я как раз шла мимо с корзинкой для покупок, и Люк, увидев меня, разумеется, одарил одной из своих насмешливых улыбок. Я же сделала вид, что ничего не замечаю. Я уже тогда обо всем догадалась.

И чем дальше, тем хуже шли у меня дела. Теперь в моей блинной всегда было наполовину пусто, даже по субботним вечерам, а по будням даже в обеденное время посетителей и вовсе почти не было. Поль, правда, остался. Верный Поль по-прежнему каждый день заказывал мое очередное «фирменное блюдо» и *demi*, и я просто из благодарности стала угощать его пивом за счет заведения, хотя он никогда не просил больше одной кружки.

Лиза, моя маленькая официантка, сообщила, что этот Люк проживает в «La Mauvaise Réputation», хозяин которой, как и прежде, сдавал посетителям несколько номеров.

– А вот откуда он, я не знаю, – делилась сведениями Лиза. – Полагаю, из Анже. Он, между прочим, заплатил за три месяца вперед, так что, кажется, собирается тут задержаться надолго.

Три месяца. То есть почти до декабря. Интересно, думала я, а эта его шантрапа по-прежнему будет сюда тянуться, когда морозы ударят? Для меня поздняя осень и зима всегда были временем неудачным, почти не приносящим доходов; зимой я держалась только за счет немногочисленных завсегдатаев, но при создавшемся положении мне,

ясное дело, даже на них рассчитывать не приходилось. Весна, лето – вот лучшая для меня пора; за эти несколько месяцев, когда начинались каникулы и отпуска, я всегда ухитрялась отложить достаточно денег, чтобы более-менее нормально прожить до следующей весны. Но этим летом... Этим летом, холодно констатировала я, можно запросто понести убытки. Не смертельно, конечно, кое-что было у меня отложено, и все-таки нужно заплатить Лизе, нужно немалую сумму перевести в лечебницу на содержание Рен, нужно купить корм животным и сделать запасы на зиму, нужно приобрести топливо и заплатить за аренду техники. А осенью придется еще и рабочих нанять для сбора яблок в саду, заплатить Мишелю Уриа с его комбайном за уборку зерновых, хотя, конечно, можно и зерно, и сидр сразу продать в Анже и благодаря этому хоть как-то продержаться...

Да, наверно, трудно мне придется. Некоторое время я прикидывала так и этак, однако, судя по всему, это было совершенно бессмысленным. Я даже с внучатами забывала играть и впервые пожалела, что Писташ собирается гостить все лето. Она, впрочем, прожила у меня еще неделю и уехала вместе с Рико и Прюн. По ее глазам я видела: она считает, что я поступаю неразумно; но я не сумела найти в душе достаточно тепла, чтобы поделиться своими переживаниями. Что-то затвердело в том месте, где когда-то гнездилась любовь к дочери, и стало каким-то сухим, холодным, как старая вишневая косточка.

Когда мы прощались, я лишь коротко обняла Писташ и отвернулась, но глаза мои остались сухи. Прюн напоследок подарила мне букет цветов, которые нарвала в поле, и мне вдруг на мгновение стало страшно: я же веду себя в точности как моя мать, столь же холодно и сурово, хотя в душе-то у меня полно тревоги и неуверенности. Мне очень хотелось протянуть к дочери руки, объяснить ей, что она тут совсем ни при чем, но почему-то я так и не смогла заставить себя ей открыться. Видно, так уж нас мать воспитала, требуя всегда держать свои переживания при себе. А от подобной привычки, знаете ли, нелегко избавиться.

Прошло еще несколько недель; за это время мне не раз пришлось объясняться с Люком по разным поводам, но он всегда ловко отделялся от меня всякими насмешливо-вежливыми отговорками. Я по-прежнему была уверена, что мы точно прежде встречались, однако все не могла вспомнить, где и когда. Я попыталась выяснить его фамилию, надеясь, что это даст мне ключ к разгадке, но оказалось, что в «La Mauvaise Réputation» Люк всегда платит только наличными; а когда я навестила это кафе, надеясь что-то узнать о нем, там было полно тех юнцов, в том числе и приезжих из города, что обычно толкуются возле его автофургона. Из местных, собственно, там были только Мюриель Дюпре, братья Лелак и Жюльен Лекоз, а остальные нездешние: наглого вида девицы в дорогуших дизайнерских джинсах и откровенных топах и парни в мотоциклетных кожаных штанах или в неприлично обтягивающих шортах. Я заметила, что молодой Брассо, хозяин «La Rép», уже успел в придачу к своим раздолбанным игральным автоматам обзавестись новым музыкальным центром и бильярдным столом; да, далеко не у всех в Ле-Лавёз бизнес шел так плохо, как у меня.

Возможно, именно поэтому я ни у кого особой поддержки не получила; моя военная кампания была под угрозой поражения. Блинная находилась на дальнем конце деревне, возле шоссе. Собственно, наша ферма всегда стояла в стороне от соседей, ни одного дома рядом, а до самой деревни расстояние еще с полкилометра. Относительно близко от нас были только церковь и почта; Люк, кстати, всегда заботился, чтобы его клиенты вели себя тихо, когда в церкви шла служба. Поэтому даже Лиза, прекрасно понимавшая, какой вред он приносит нашей блинной, все-таки его оправдывала. Я еще два раза попыталась пожаловаться на Люка Луи Рамондену, но толку от этих жалоб было не больше, чем от бесед с моим котом.

Луи сразу же твердо заявил: хозяин закусочной никому никакого вреда не причиняет. И никаких законов не нарушает. Вот если б нарушал, тогда, может, он, Луи, что-нибудь и предпринял бы. А поскольку не нарушает, я должна оставить его в покое и дать ему возможность спокойно заниматься своим делом. Ясно?

Начались новые неприятности. Сначала, правда, мелочи. То среди ночи вдруг кто-то вздумал запускать шутихи и фейерверки прямо у меня

перед домом; потом мотоциклисты стали в два часа ночи прогревать моторы под моими окнами. Потом кто-то высыпал мне на крыльцо кучу мусора и разбил стеклянную панель двери. А однажды кто-то из мотоциклистов среди ночи въехал прямо на мое пшеничное поле и стал выписывать там восьмерки, то и дело буксуя и оставляя жирные следы среди зреющих колосьев. Действительно, казалось бы, мелочи. Но весьма раздражающие. И главное, у меня не было никаких конкретных доказательств того, что это связано с самим Люком или хотя бы с той шпаной, которую он притащил за собой из города. Но однажды кто-то ночью открыл дверь моего курятника, туда забралась лиса и перерезала моих замечательных рыжих несушек. Десять молодых курочек! Они у меня каждый день неслись – и все в одну ночь погибли! Тут уж я не стерпела. Я обо всем сообщила Луи, все-таки он полицейский, обязан заниматься ворами и прочими нарушителями порядка; так он меня же и обвинил: якобы я сама забыла закрыть дверь!

– А может, вашу дверь просто ветром ночью распахнуло?

И он одарил меня такой широкой дружелюбной деревенской улыбкой, словно эта его улыбка могла вернуть моих бедных несушек.

– Запертые двери просто так ночью настежь не распахиваются, – сердито произнесла я, глядя на него в упор. – И знаешь, Луи, уж больно умная лиса нужна, чтобы суметь отпереть висячий замок. Нет, это явно кто-то сделал из вредности с самыми что ни на есть преступными намерениями. А тебе, Луи Рамонден, как раз и платят за поимку таких преступников.

Тот что-то смущенно буркнул себе под нос.

– Что ты сказал? – резким тоном переспросила я. – Слух у меня отменный, ты это учти, парень. И память тоже хорошая; я, между прочим, еще помню, как...

Тут я торопливо прикусила язык: господи, чуть себя не выдала, чуть не проболталась, что помню, как его старый дед храпел в церкви, пьяный в стельку, и как он собственные штаны обмочил, прячась во время пасхальной службы в исповедальне. Ничего такого вдова Симон, конечно же, знать не могла. Я прямо-таки похолодела, понимая, что из глупого желания посплетничать могла себя попросту погубить. Понимаете теперь, почему я старалась по мере возможностей не общаться с членами тех семей?

В общем, Луи все-таки согласился осмотреть мою ферму, но, естественно, ничего предосудительного не обнаружил, предоставив мне полное право самой справляться со своими невзгодами. Утрата несушек

стала для меня настоящим ударом. Сейчас я не могла себе позволить разом их всех заменить, это была довольно дорогая порода, и потом, кто мог дать гарантию, что история с дверью не повторится? Оставалось одно: смириться, что яйца пока придется покупать на ферме старого Уриа; теперь этой фермой, впрочем, владела супружеская пара по фамилии Поммо; они выращивали кукурузу и подсолнечник, а урожай продавали перерабатывающему заводу, расположенному выше по реке.

Мне было ясно, что за всеми этими событиями скрывается Люк, однако я ничего не могла доказать, и это просто сводило меня с ума. Мало того, я никак не могла понять, почему он это делает; невнятный гнев во мне все рос да рос, пока я не почувствовала, что моя старая голова словно угодила в пресс для изготовления сидра и вот-вот лопнет, как переспелое яблоко. В общем, примерно через сутки после того, как лиса забралась в курятник, я решила сама караулить злоумышленников, сидя у темного окна с дробовиком в руках. Должно быть, забавное было зрелище: я в ночной рубаше, поверх которой накинуто легкое осеннее пальто, держу ружье наперевес и целюсь куда-то в темноту. Я купила и повесила новые замки на ворота и на сарай для скота и каждую ночь стояла на страже, поджидая непрошенных гостей. Но больше ко мне так никто и не пожаловал. Этот мерзавец, должно быть, узнал, что теперь по ночам я стерегу дом. Хотя откуда, интересно, он мог узнать? Может, он научился читать мои мысли?

Бессонные ночи начали довольно скоро сказываться. Я стала рассеянной и часто днем не могла толком сосредоточиться. А иногда вдруг забывала, как готовить то или иное блюдо. Или не могла вспомнить, солила я омлет или нет; иной раз я солила его дважды, а то и ни разу. Как-то я сильно порезалась, когда крошила лук, и поняла, что сплю на ходу. Вздвогнув от резкой боли, я с удивлением обнаружила, что рука у меня вся в крови, а на пальце довольно глубокая ранка. Порой я бывала резкой даже со своими немногочисленными посетителями, и хотя музыку Люк включал вроде бы немного потише, а рев мотоциклов стал повторяться у меня под окнами несколько реже, по округе явно поползли нехорошие слухи, и те завсегдатаи, которых я к тому времени уже потеряла, назад так и не вернулись. О, конечно, в полном одиночестве я не осталась. На моей стороне все еще находилось несколько верных друзей, но, возможно, у меня в крови склонность к вечным опасениям, осторожности и подозрительности, столь свойственные моей матери Мирабель Дартижан, которая казалась чужой в собственной деревне. Во всяком случае, я категорически не желала, чтобы меня жалели. Из-за моих внезапных вспышек гнева от меня постепенно отдалялись друзья, да и клиенты переставали посещать блинную. Однако же только этот гнев и вызываемый им прилив адреналина и поддерживали мои силы.

Довольно странно, но конец всему этому положил не кто иной, как Поль. Иногда в будние дни он был единственным, кто обедал в моем заведении. Приходил он по-прежнему регулярно, по нему можно было церковные часы проверять, и оставался ровно на один час. Пока он ел, его собака, как всегда, послушно лежала у него под стулом и молча смотрела на дорогу. На закусочную Люка он обращал так мало внимания, что его, наверно, можно было счесть глухим; да и мне он редко говорил что-нибудь кроме «здравствуй» и «до свидания».

Однажды Поль отчего-то сразу за свой обычный столик не сел, а остался стоять, и я поняла: что-то случилось. С тех пор как в курятник забралась лиса, прошла ровно неделя, и я уже устала как собака. Моя левая рука была забинтована, потому что, как оказалось, поранилась я довольно сильно; мне даже приходилось просить Лизу чистить и резать овощи для супа. Но выпечкой, как ни трудно мне было это делать, я по-прежнему занималась сама – только представьте себе, пекла пирожные, надев на

больную руку полиэтиленовый пакет! Я настолько ошалела от бессонницы, что едва кивнула на приветствие Поля, когда тот появился в дверях кухни. А он, искоса на меня посмотрев, стянул с головы берет, загасил недокуренную черную сигаретку о порожек и произнес:

– Bonjour, мадам Симон.

Я попыталась улыбнуться, но усталость лежала у меня на плечах, как колючее серое одеяло, и слова Поля отозвались во мне протяжным зевком, длинным, как туннель. Его пес тут же пошел и улегся под знакомым столиком у окна, но сам он остался стоять, по-прежнему держа в руке берет.

– Ты плохо выглядишь, – неторопливо сказал он.

– Ничего страшного, – поспешила заверить я. – Плохо спала, только и всего.

– Видимо, ты весь месяц спишь плохо. У тебя что, бессонница?

– Ладно, обед на столе, – сменила я тему, бросив на него недовольный взгляд. – Фрикасе из курицы с горошком. Учти, снова разогревать не буду.

Он как-то сонно улыбнулся.

– Как вы со мной круто, мадам Симон. Прямо как жена с мужем. Что люди-то подумают?

Очередная неуклюжая шутка, решила я и промолчала.

– Ты все-таки подумай. Может, я чем могу помочь? – не унимался Поль. – Нехорошо они с тобой поступают, надо бы их приструнить.

– Прошу вас, месье, не утруждайте себя, – нарочито громко ответила я. – Я и сама прекрасно со всем справлюсь.

После стольких бессонных ночей глаза у меня были вечно на мокром месте, и даже простые слова сочувствия чуть не заставили меня разреветься. Чтобы Поль ничего не заметил, я старалась на него не смотреть и обращалась с ним особенно сухо и насмешливо.

Но Поль не собирался отступать.

– Ты же знаешь, на меня вполне можно положиться, – тихо промолвил он. – Уж теперь-то ты должна это понять. Через столько лет...

Я быстро на него посмотрела, и мне вдруг все стало ясно.

– Пожалуйста, Буаз...

Я окаменела.

– Не волнуйся. Ведь я до сих пор хранил тайну, верно?

Вот она, правда, прилипла к обоим, как старая жвачка.

– Ведь хранил?

– Да, хранил, – согласилась я.

– Тогда вот что. – Поль шагнул ко мне. – Я знаю, ты отроду помощи ни

от кого не принимала, даже если она очень тебе нужна. – Он сделал паузу. – Тут ты ни капли не изменилась, Фрамбуаза.

Смешно. А я-то думала, что стала совсем другой.

– Когда ты догадался? – наконец спросила я.

Он пожал плечами.

– Ну, на это особо много времени не потребовалось. Пожалуй, когда впервые отведал твои блюда, может, щуку по-анжуйски. Так ее твоя мать готовила. Я и до сих пор не забыл, как у нее все вкусно получалось.

Поль снова улыбнулся; его улыбка под вислыми усами была такой милой, доброй и такой невыразимо печальной, что у меня снова ожгло слезами глаза.

– Нелегко тебе, должно быть, пришлось, – продолжал он.

– Не хочу это обсуждать, – буркнула я, стараясь не разреветься.

– Ладно, – кивнул он, – и я ведь не больно-то общителен.

Он отправился за свой столик и принялся за куриное фрикасе, время от времени с улыбкой на меня поглядывая. Через некоторое время я не выдержала: села с ним рядом – в конце концов, кроме нас, никого в доме не было – и налила себе стакан «Gros-Plant». Некоторое время мы хранили молчание, потом я опустила голову на стол и тихо заплакала. Тишину нарушали только мои горестные всхлипывания и постукивание вилки и ножа по тарелке. Поль с задумчивым выражением лица продолжал есть, но на меня не смотрел и на слезы мои никак не реагировал. Однако я чувствовала, сколько в его молчании доброты.

Немного успокоившись, я старательно утерла фартуком лицо и произнесла:

– Знаешь, а вот теперь мне, пожалуй, хочется с тобой поделиться.

Поль – отличный слушатель, и я поведала ему такое, о чем не собиралась говорить ни одной живой душе. Он слушал молча, время от времени кивая. А поток из моих уст все не иссякал. Я рассказала о Яннике и Лоре, о Писташ и о том, как позволила ей уехать, а сама не подарила ей ни слова на прощание; рассказала о погибших несущих, о своих бессонных ночах и о том, что, когда Люк включает генератор, мне кажется, будто у меня в черепе хозяйничают хищные муравьи. Я призналась, что боюсь за блинную, за себя, за свой чудесный дом – боюсь расстаться с той безопасной нишей, которую создала для себя здесь, в Ле-Лавёз. Я честно призналась, что боюсь постареть, что молодежь кажется мне куда более жесткой и грубой, чем когда-то были мы, хоть нам и довелось немало пережить во время войны. Я рассказала Полю даже о своих снах и мечтах, о Старой щуке с ее оранжевой пастью, о Жаннетт Годен, о змеях, которых я прибывала к Стоячим камням; понемногу мне стало казаться, что яд, скопившийся в душе, начинает рассасываться и вроде куда-то исчезать.

Когда я наконец умолкла, на некоторое время воцарилась полная тишина. Потом Поль заключил:

- Нельзя каждую ночь стоять на страже. Ты же убьешь себя!
- А у меня выбора нет, – возразила я. – Эти люди... они в любое время могут вернуться.
- Хорошо, тогда мы будем дежурить по очереди, – просто предложил Поль, и все было решено.

Я позволила ему занять гостевую комнату, ведь Писташ с детьми уже уехала.хлопот он мне никаких не доставлял, сам о себе заботился, сам стелил постель и поддерживал в комнате порядок. Вообще он вел себя совершенно незаметно, мне не мешал, но я тем не менее постоянно ощущала в доме его спокойное присутствие. Господи, и с чего я взяла, что он медлительный? На самом деле он в некотором смысле оказался куда быстрее и ловчее меня; и кстати, именно ему удалось понять, как связана эта закусовая на колесах с моим племянником, сыном Кассиса.

Две ночи мы с Полем по очереди стояли в дозоре, я с десяти до двух, он с двух до шести. Я сразу почувствовала себя гораздо лучше: и отдохнула немного, и силы появились. Видно, мне хватило и того, что я поделилась с кем-то свои проблемы и теперь просто знала, что рядом есть кто-то еще.

Разумеется, соседи сразу принялись сплетничать. Разве можно что-то скрыть, если живешь в такой деревушке, как Ле-Лавёз? Многие сразу заметили, что старый Поль Уриа оставил свою лачугу у реки и перебрался к вдове Симон. Люди замолкали, когда я входила в магазин, а почтальон мне лукаво подмигивал. И все же кое-кто поглядывал на меня неодобрительно, особенно наш кюре и старые гримзы из воскресной школы. Однако чаще всего деревенские жители просто посмеивались мне вслед, негромко и вполне добродушно. Луи Рамонден вроде бы заявил, что вдова – то есть я – в последнее время как-то странно себя вела и вот теперь он понял почему. Ирония судьбы, но ко мне даже вернулся кое-кто из прежних клиентов, хотя, возможно, всего лишь для того, чтобы собственными глазами убедиться, правдивы ли те слухи о нас с Полем.

Я же на слухи внимания не обращала.

Естественно, фургон так никуда и не исчез; как никуда не исчезли шум и гам толпы, ежедневно возле него собиравшейся. Я прекратила всякие попытки урезонить Люка; а от «местной власти» в лице Луи Рамондена, отнюдь не заинтересованного в исчезновении закуской, толку было мало. В общем, у нас с Полем остался только один выход, и мы занялись собственным расследованием.

Поль стал каждый день заходить в «La Mauvaise Réputation» и выпивать там кружку пива, наблюдая за постоянно болтавшимися в кафе мотоциклистами и девчонками из города. Он также обстоятельно расспрашивал почтальона. Лиза, моя официантка, тоже старалась нам помочь, хоть я и была вынуждена на зиму ее уволить. Она даже своего младшего братишку Вианне ввела в курс дела. В общем, теперь в Ле-Лавёз к Люку, пожалуй, было приковано самое пристальное внимание, и в итоге мы кое-что действительно выяснили.

Он был из Парижа. В Анже переехал полгода назад. Денежки у него явно имелись, и тратил он их совершенно свободно. Правда, фамилии его никто не знал, но он носил перстень с печаткой и инициалами «L. D.». Пару раз активно ухлестывал за местными девчонками. Ездил на белом «порше», который ставил за «La Mauvaise Réputation». В этом заведении его всегда привечали – наверно, он не раз угощал тамошних выпивох.

Но для решения наших проблем сведений было маловато.

И тут Поля осенила гениальная идея: надо хорошенько исследовать его фургон. Вообще я и сама уже не раз это делала, но Поль действовал более обстоятельно. Он дождался, пока закусочная закроется, а ее хозяин надолго осядет в баре «La Rép». Сам фургон, конечно, был заперт на все замки, да еще и на цепи висел здоровенный замок, но на задней стенке Поль

обнаружил металлическую пластинку с регистрационным номером и контактным телефоном. Мы позвонили по этому номеру и попали... в ресторан «Деликатесы Дессанж», улица Ромарен, Анже!

И как я сразу не догадалась?

Ясно же было: Янник с Лорой ни за что так просто от столь замечательного источника доходов не откажутся! Теперь-то я поняла, где видела Люка раньше. У него был тот же, с легкой горбинкой нос, те же умные ясные глаза и острые скулы, что и у Лоры. Люк Дессанж был ее братом.

Первым моим побуждением было обратиться прямиком в полицию – не к нашему Луи, разумеется, а в полицию Анже – и заявить, что мне угрожают. Но Поль отговорил меня.

Мягко объяснил мне, что у нас недостаточно доказательств. А без доказательств никто ничего сделать не сможет. Люк не совершал ничего откровенно противозаконного. Вот если б мы за руку его схватили, тогда дело другое, но он был слишком осторожен, слишком умен, чтобы попасться. Нет, они выжидали, надеясь, что я сдамся, пойду на попятный и тогда можно будет снова вернуться сюда и предъявить требования: «Если мы чем-то можем помочь вам, тетушка Фрамбуаза... Позвольте нам хотя бы попробовать, хорошо? Нет-нет, что вы, никаких обид!»

Я порывалась немедленно сесть на автобус, идущий в Анже, отыскать их, застигнуть прямо в логове и выставить как последних негодяев перед их друзьями и клиентами, растрезвонив всем, как они меня травили и шантажировали. Но Поль снова меня остановил и посоветовал подождать. И был прав: мои нетерпение и агрессивность уже и так стоили мне как минимум половины постоянных клиентов. И я впервые в жизни стала покорно ждать.

Они заявили через неделю воскресным полднем.

Вот уже недели три, как по воскресеньям я закрывала блинную. Люк, конечно, тоже стал закрывать свою закусочную – он следовал моему рабочему расписанию с точностью до минуты. Мы с Полем грелись во дворе в последних лучах осеннего солнца. Я читала, а Поль – он и прежде чтение не жаловал – с удовольствием предавался безделью, иногда принимаясь стругать какую-то деревяшку, и лишь время от времени на меня поглядывал в своей обычной, мягкой, неназойливой манере.

В ворота постучали, и я пошла открывать. Передо мной стояла Лора, очень деловитая, в темно-синем платье, а за спиной у нее торчал Янник в темно-сером, цвета антрацита, костюме. Оба улыбались во весь рот, демонстрируя зубы, напоминавшие клавиши пианино. У Лоры в руках было какое-то огромное растение с красными и зелеными листьями. Дальше порога я их не пустила, просто холодно спросила:

– Кто-то умер? Впрочем, уж точно не я, хотя вы оба, мерзавцы этикие, очень старались этого добиться.

Лора скорбно на меня посмотрела и с обидой протянула:

– Но, тетушка Фрамбуаза...

– Никаких «тетушек»! – рявкнула я. – Мне о ваших гадких играх все известно! О том, что это вы пытаетесь запугать меня и сбить с толку! Только ничего у вас не выйдет. Я скорее умру, чем вы хоть грош от меня получите. Можешь и своему братцу это передать. Да скажи, пусть поскорей убирается отсюда прочь со своей вонючей лавчонкой, потому что мне ваши цели совершенно ясны, и если это немедленно не прекратится, клянусь, я тут же отправлюсь в Анже и выложу все полиции насчет ваших грязных делишек!

Янник, конечно, сразу перепугался и залепетал какие-то извинения, но Лора была покрепче. Удивленное выражение, вызванное моим решительным отпором, задержалось у нее на лице, может, секунд на десять, потом она снова взяла себя в руки, на ее губах заиграла суховатая усмешка.

– Я с самого начала предлагала все честно ей рассказать, – обратилась она к мужу, смерив его презрительным взглядом, и повернулась ко мне. – Поверьте, никому из нас эта история пользы не принесла. Но я не сомневаюсь: как только я все объясню, вы моментально поймете, сколь

полезным может оказаться наше скромное сотрудничество.

– Вы можете объяснять что угодно, – ответила я, скрестив руки на груди, – но наследство моей матери принадлежит мне и Рен-Клод, что бы там мой братец вам ни наплел, и обсуждать тут больше нечего.

Лора широко улыбнулась; сколько же неприязни, даже ненависти было в этой улыбке!

– Так вы, тетушка Фрамбуаза, полагали, что нам нужны ваши деньги? Ваше жалкое наследство? Неужели это действительно так? Боже мой, как же плохо вы думаете о нас!

Вдруг я увидела себя их глазами: старая женщина в грязноватом переднике; глаза темные, как тёрн, волосы так туго зачесаны назад и стянуты узлом, что даже кожа на лбу натянулась, рывкает на них, точно испуганная собака, а сама еле на ногах стоит. Мне и правда пришлось ухватиться за дверной косяк, чтобы не упасть – так сильно закружилась голова; каждый глоток воздуха словно продирался сквозь колючие заросли. И тут вдруг в беседу вмешался Янник.

– Вообще-то дело вовсе не в том, что нам некуда девать деньги, – честно признался он. – Особых доходов наш ресторан сейчас не дает. Даже рецензия в «Hôte et Cuisine» не помогла. У нас уже давно сложности...

Одним взглядом Лора заставила его умолкнуть.

– Мне эти деньги не нужны, – отрезала она.

– Знаю я, что тебе нужно, – бросила я, чувствуя, как хрипло звучит мой голос, и очень стараясь скрыть свое смятение. – Кулинарные рецепты моей матери. Но я никогда их тебе не отдам.

Лора молчала, с прежней снисходительной улыбкой глядя на меня, и я поняла: ей нужны не только материны рецепты. Сердце мое словно стиснула ледяная рука, и я невольно прошептала:

– Нет, ни за что...

– Нам нужен альбом Мирабель Дартижан, – почти ласково проворковала Лора. – Ее личный дневник со всеми ее мыслями, кулинарными рецептами и тайнами. Наследство нашей бабушки принадлежит всем нам, членам ее семьи, и с вашей стороны преступление прятать его от нас.

– Нет!

Я с такой болью выкрикнула это слово, словно у меня сердце разорвалось пополам. Лора вздрогнула, а Янник даже отступил на шаг. Дыхание у меня стало каким-то мучительно болезненным; казалось, горло утыкано рыболовными крючками, словно пасть той Старой щуки.

– Но ведь вы все равно не сможете вечно хранить эту тайну,

Фрамбуаза, – рассудительно заявила Лора. – Просто невероятно, что никто ее раньше не раскрыл – тайны Мирабель Дартижан... – От возбуждения Лора порозовела и стала почти хорошенькой. – Тайны одной из самых загадочных и неуловимых преступниц двадцатого столетия! Которая ни с того ни с сего убила молодого немецкого солдата, спокойно смотрела, как половину жителей деревни за это расстреливают, а потом и вовсе исчезла, не проронив ни слова, ничем не объяснив своего поступка...

– Все было совсем не так, – невольно вырвалось у меня.

– Вот и расскажите мне, как это было. – Лора подошла чуть ближе. – А я вам во всем помогу, дам любой совет. Это же исключительная возможность – проникнуть как бы внутрь тех давних событий, увидеть их глазами очевидца. Уверена, книга получилась бы просто замечательная.

– Какая еще книга? – глупо спросила я.

В голосе Лоры послышалось нетерпение:

– Что значит «какая еще книга»? Я думала, вы уже поняли.

Мне показалось, что язык прилип к верхнему небу; с огромным трудом отлепив его, я невнятно пробормотала:

– Я так поняла, вам нужна книга кулинарных рецептов. Вы оба твердили...

Она нетерпеливо потрянула головой.

– Нет. Мне этот альбом нужен как основа для моей книги. Вы ведь читали мой очерк? Значит, могли догадаться, что меня эти события чрезвычайно интересуют. Ну а когда Кассис признался, что Мирабель на самом деле наша родственница, бабушка Янника... – Лора не договорила и схватила меня за руку. Пальцы у нее были длинные, холодные, а ногти покрашены бледно-розовым перламутровым лаком того же оттенка, что и помада на губах. – Тетушка Фрамбуаза, вы последняя из ее детей. Кассис умер, от Рен-Клод толку никакого.

– Значит, вы и к ней съездили? – равнодушно обронила я.

Лора кивнула.

– Она ничего не помнит. Натуральный овощ. – Она поморщилась. – И в Ле-Лавёз тоже никто ничего толком не помнит, а если и помнит, то отказывается обсуждать эту тему.

– Откуда ты знаешь?

Гнев в душе сменился каким-то холодным, спокойным осознанием того, что мои худшие опасения подтверждаются.

– От Люка, естественно, – пожала плечами Лора. – Я попросила его сходить в этот клуб, где собираются старые завсегдатаи, купить кое-кому выпивку, задать вопросы. Ну, вы же понимаете, как это делается. – Взгляд

ее опять стал нетерпеливым и насмешливым. – Сами говорили, что понимаете.

Отвечать я была не в состоянии и просто молча кивнула.

– Должна признать, вам удалось держать тайну под спудом гораздо дольше, чем можно было бы предположить, – с некоторым восхищением продолжала Лора. – Никому здесь и в голову не приходит, что вы отнюдь не та, за кого себя выдаете: не милая старая дама, переехавшая сюда из Бретани, не вдова Симон. Вы пользуетесь большим уважением, и никто ни о чем не подозревает. Вы ведь даже от дочери все скрывали.

– Писташ? – Я и сама почувствовала, как это глупо прозвучало, но язык и мысли вдруг стали ужасно ленивыми и неповоротливыми. – Неужели вы и ее втянули?

– Я отослала ей несколько писем. Надеялась, что она, возможно, что-то знает о Мирандел Дартижан. Но оказалось, вы никогда ей ничего не рассказывали. Ведь так?

Боже мой! Писташ! Я точно катилась, тщетно пытаюсь удержаться, с крутого горного склона, где любое неверное движение может вызвать новый обвал и полное крушение мира, который я до сих пор считала незыблемым.

– А от вашей второй дочери давно не было вестей? Когда она в последний раз вам писала? Ей что, тоже ничего не известно?

– Вы оба... вы не имеете права, не имеете права. – Слова были горькими на вкус и больно царапали горло, точно куски каменной соли. – Вы понятия не имеете, что эта ферма для меня значит. Если люди узнают...

– Ну-ну, тетушка Фрамбуаза, успокойтесь. – У меня не хватило сил оттолкнуть ее, и она обняла меня. – Конечно, ваше имя мы не станем упоминать. И даже если все выйдет наружу – а вы должны отдавать себе отчет, что в один прекрасный день это может случиться, – то мы сразу подыщем вам другое местечко, куда лучше этого. В вашем возрасте не следует жить одной на полуразвалившейся ферме. Боже мой, да тут даже водопровода нормального нет! Мы могли бы подыскать вам в Анже чудную квартирку. И полностью оградили бы вас от нахальных журналистов. Мы же любим вас, тетушка Фрамбуаза, как бы плохо вы ни относились к нам. И мы вовсе не чудовища. Желаем вам только добра.

Я оттолкнула ее с такой силой, что сама удивилась.

– Нет!

И вдруг я ощутила, что все это время Поль безмолвно стоит у меня за спиной; бутон ужаса, сковавший меня, словно распустился, расцвел, превратившись в огромный цветок гнева и ликования. Я не одна! Рядом

Поль, мой верный старый друг!

– Подумайте, тетушка Фрамбуаза, как много это значило бы для всей нашей семьи.

– Нет!

Я выпихала их за дверь и попыталась ее закрыть, однако Лора успела вставить в щель высоченный каблук.

– Вы не можете прятаться вечно.

И тут вперед вышел Поль. Он заговорил спокойно, чуть растягивая слова, как человек, который либо пребывает в полном согласии с самим собой, либо просто не очень быстро соображает.

– Возможно, вы не расслышали, что сказала Фрамбуаза? – Улыбка у него была почти сонной, однако он подмигнул мне, и в этот момент в сердце моем вспыхнула такая любовь к нему, что я даже растерялась и отчего-то сразу утратила весь гневный пыл. – Насколько я понял, она совершенно не хочет участвовать в ваших делах. Или я не прав?

– Кто это? – возмутилась Лора. – Что он здесь делает?

Поль ласково ей улыбнулся и с тем же чуть сонным видом неторопливо пояснил:

– Просто друг. Давний. Из далекого прошлого.

– Фрамбуаза, – крикнула Лора из-за плеча Поля, – вы все-таки подумайте о нашем предложении! Обдумайте все хорошенько! Это очень важно, иначе мы бы и спрашивать у вас ничего не стали. Подумайте!

– Конечно, она подумает.

Дружелюбно кивнув, Поль закрыл дверь. Лора тут же принялась настойчиво в нее барабанить, но он запер дверь на засов, да еще и цепочку в гнездо вставил. Некоторое время за массивной деревянной дверью еще слышался ее голос, в котором теперь звучали пронзительные, визгливые нотки, как вой циркулярной пилы.

– Фрамбуаза! Будьте благоразумны! Я велю Люку уехать! И все опять встанет на свои места! Фрамбуаза!

– Кофе? – предложил Поль и направился на кухню. – Он, знаешь ли, здорово бодрит.

Я все еще смотрела на дверь и наконец дрожащим голосом вымолвила:

– Ну и особа. Вот дрянь.

Поль пожал плечами.

– Пусть себе бесится сколько влезет. На кухне ее и слышно-то не будет.

До чего же у него все просто и легко получалось! Я послушно последовала за ним на кухню, чувствуя, что лишилась последних сил. Он моментально поставил передо мной большую чашку горячего черного кофе

с корицей, со сливками и сахаром, а еще тарелку с куском черничного пирога. Я молча жевала пирог и прихлебывала кофе; с каждым глотком ко мне возвращалось былое мужество.

– Только она ни за что не отступит, – заметила я, глядя на Поля, – и будет продолжать осаду, пока меня отсюда не выкурит. И тогда сразу потеряет ко мне интерес, ведь я уже не буду хранительницей великой тайны... – Я невольно коснулась ладонью лба: у меня отчего-то страшно разболелась голова. – Она знает, что долго мне не продержаться. Ничего, придется ей немного подождать. Впрочем, я в любом случае долго не проживу.

– Значит, ты собралась сдаваться, так, что ли? – уточнил Поль спокойно, но не без любопытства.

– Ни за что! – взвилась я.

Он пожал плечами.

– Ну так не надо и говорить так, словно ты уже сдаешься. Ты ведь куда умнее этой Лоры. – И он отчего-то вдруг покраснел. – И прекрасно понимаешь, что имеешь шанс победить, если постарайся.

– Как мне их победить-то? – Голос звучал резко, в точности как у матери, но я ничего не могла с собой поделать. – Как мне бороться с Люком Дессанжем и его друзьями? Как победить Лору и Янника? Еще и двух месяцев не прошло, а они уже порушили мое хозяйство! Им всего и нужно – продолжать в том же духе, и к весне... – Я в полном отчаянии взмахнула рукой. – А уж если они начнут болтать... Впрочем, им и болтать-то особенно не придется, достаточно один раз обмолвиться, что... – Я поперхнулась словами. – Достаточно просто упомянуть имя моей матери.

Поль покачал головой.

– Вряд ли они это сделают. Во всяком случае, сразу не решатся на это. Они еще и поторговаться с тобой желают. Им ведь известно, чего ты боишься.

– Кассис им все рассказал, – устало подтвердила я.

– Ну и что? – Поль пожал плечами. – Это уже неважно. На какое-то время они все равно оставят тебя в покое; они надеются, что ты сама к ним прибежишь. Надеются, что ты проявишь благоразумие. И потом, им, конечно, хочется, чтобы ты сделала это по собственному почину.

– И сколько времени они будут ждать? – Теперь весь мой гнев обрушился уже на Поля, но удержаться я не смогла. – Месяц? Два? Что я могу сделать за два месяца? Да я и за год ничего умного не придумаю, даже если мозги наизнанку выверну...

– Неправда, – спокойно, без малейшего возмущения произнес Поль; он

вытащил из кармана рубашки одинокую мятую сигарету, чиркнул спичкой о ноготь большого пальца и закурил. – Ты способна сделать все, что задумаешь. И всегда была способна. – Он посмотрел на меня, и за красным огоньком зажатой в пальцах сигареты мелькнула его неяркая печальная улыбка. – Я хорошо помню те летние дни. Ведь ты тогда все-таки поймала Старую щуку? Поймала?

– Это разные вещи, – возразила я.

– Разные-то разные, да не совсем. – Поль выпустил изо рта клуб едкого дыма. – Ты и сама наверняка это понимаешь. Когда на такую рыбину охотишься, можно многому в жизни научиться.

Я озадаченно на него взглянула, а он продолжал как ни в чем не бывало:

– Ну вот как ты ухитрилась тогда поймать Старуху, если больше никому это не удавалось?

На минутку я задумалась, вспоминая себя в детстве, девятилетнюю, затем ответила:

– Я изучала реку. Наблюдала. Старалась узнать об этой щуке как можно больше. Какие у нее привычки, где она кормится и чем. И потом, я набралась терпения и выжидала. Мне просто повезло, вот и все.

– Хм... – Сигарета в пальцах Поля ярко вспыхнула, когда он снова затянулся. Он выпустил дым через ноздри и спросил: – А если бы этот Люк Дессанж был рыбой? Как бы ты тогда на него охотилась? – Он вдруг усмехнулся. – Ты поищи, где он кормится, да правильную наживку для него выбери. Вот иймаешь. Прав я или нет?

Я молча на него смотрела.

– Ну так я прав?

Возможно. Тоненьким серебристым лучиком в сердце шевельнулась надежда. Возможно.

– Слишком я стара сражаться с ними, – буркнула я. – Слишком стара и слишком устала.

Поль накрыл мою ладонь своей грубоватой загорелой рукой и улыбнулся:

– Только не для меня.

Поль был, конечно, прав. В жизни и впрямь можно понять немало, пока рыбу ловишь. Это, кстати, как и многое другое, мне еще Томас объяснил. В тот год мы с ним обсуждали разные темы, прямо стали настоящими друзьями. А вот когда с нами были Кассис и Рен, болтали в основном о всякой ерунде вроде контрабандной жвачки, шоколада, крема для лица (это, конечно, для Рен) или апельсинов. Томас, судя по всему, пользовался неисчерпаемым источником подобных товаров и раздавал их с небрежной легкостью. С нами он в те времена почти всегда встречался один.

После того разговора с Кассисом – в шалаше на Наблюдательном посту – между нами, мною и Томасом, установились вполне четкие отношения. Мы оба следовали неким определенным правилам – не тем, почти безумным, которые изобрела моя мать, а очень простым и понятным даже девятилетнему ребенку: смотри в оба; следи за номером первым; всегда делись и все дели поровну. Мы трое были уже так давно предоставлены по большому счету самим себе, что теперь было почти блаженством – хотя мы никогда в этом вслух не признавались – оказаться рядом с тем, кто несет за тебя ответственность, с кем-то достаточно взрослым и способным установить и поддерживать порядок.

Помнится, однажды мы втроем ждали Томаса; тот запаздывал. Кассис, правда, по-прежнему называл его Лейбницем, но мы с Рен давным-давно уже звали его по имени. Так вот, в тот день Кассис казался каким-то особенно нервным и ершистым; надувшись, он устроился в стороне от всех и швырял в воду камешки. А утром он еще и вынес весьма громогласную схватку с матерью, причем из-за какого-то пустяка. «Если бы отец был жив, ты бы не посмел так себя вести!» или «Если бы отец был жив, он бы, в отличие от тебя, делал все как следует!»

От ее яростных нападок Кассис, как всегда, сбежал из дому. В шалаше на дереве он прятал под соломенным тюфяком старую отцовскую охотничью куртку и сейчас, надев ее, сидел на берегу, сгорбившись, точно старый индеец в пончо. Когда Кассис облачался в отцовскую куртку, это всегда свидетельствовало о его дурном настроении, и мы с Рен предпочли оставить его в покое.

Он все еще находился там, когда появился Томас.

Немец сразу заметил Кассиса, тоже прошел к реке и молча уселся чуть

поодаль. Брат не выдержал первым.

– С меня довольно, – буркнул он, не глядя на Томаса. – Надоели эти детские игрушки! Мне почти четырнадцать. Хватит уже!

Томас снял шинель и бросил ее Рен – пусть сама посмотрит, что там, в карманах, есть. Я помалкивала, лежа на животе и внимательно наблюдая за происходящим.

А Кассис продолжал:

– Комиксы, шоколад – все это чепуха! Какая же это война? Так, забава. Несерьезно все это! – Он даже вскочил от возбуждения. – Хватит играть в ваши вонючие игры! Моему отцу голову на фронте оторвало, а вы тут все развлекаетесь!

– Ты действительно так думаешь? – спросил Томас.

– Я думаю, что ты тоже из этих бошей! – словно выплюнул Кассис.

– Пойдем-ка со мной. – Томас встал. – Девочки, вы пока тут побудьте, хорошо?

Рен радостно кивнула; она с наслаждением рылась в разных журналах и прочих сокровищах, которые уже успела извлечь из многочисленных карманов шинели. Оставив ее за этим занятием, я тихонько поспешила следом за Томасом и Кассисом и спряталась в подлеске, припав к поросшей мхом земле. Их голоса доносились до меня словно издалека, с трудом пробивались сквозь заросли, точно солнечные лучи через густую листву, так что расслышала я далеко не все. Я скрючилась за каким-то пнем, стараясь почти не дышать.

Тем временем Томас расстегнул кобуру, вынул пистолет и протянул Кассису:

– Возьми-ка. Попробуй, каково это, держать в руках подобную штукину.

Брат, видимо, не ожидал, что пистолет окажется таким тяжелым. Но все же поднял его и навел на Томаса, а тот, словно не замечая этого, сказал:

– Моего брата расстреляли как дезертира. Он тогда только-только закончил училище. Ему было всего девятнадцать. Войны он боялся, но его сделали пулеметчиком; наверно, грохот пулемета и свел его с ума. Его расстреляли рядом с одной французской деревушкой еще в самом начале войны. Мне кажется, если бы я был рядом, то смог бы как-то помочь ему, заставил сдержаться, в общем, сумел бы уберечь его от беды. Но меня тогда и во Франции-то не было.

Кассис посмотрел на него с нескрываемой враждебностью:

– И что?

Проигнорировав вопрос, Томас продолжал:

– Эрнст у отца с матерью был любимцем. Мать всегда именно ему давала вылизывать горшки, когда готовила что-нибудь вкусное, да и работой по дому меньше всех его нагружала. Эрнст был их гордостью. А я что... обыкновенный работяга, который только и годится вынести мусор или свиней покормить.

Теперь Кассис был весь внимание. Я прямо-таки физически ощущала, какое напряжение повисло между ними. Казалось – вот-вот обожжешься.

– Я как раз получил увольнительную и был дома, когда принесли письмо. Предполагалось, что прочтем его только мы, но почтальон проболтался, и уже через полчаса вся деревня знала: Эрнст Лейбниц – дезертир. Моих родителей это известие прямо-таки пришибло: стоят, как громом пораженные, и не знают, что делать.

Прячась за стволом упавшего дерева, я по-пластунски подползла ближе и стала слышать Томаса отчетливей.

– Забавно, но я всегда считал, что самый большой трус в семье – это я. Я всегда был очень смирным, никогда не высовывался, никогда не рисковал. Однако после гибели Эрни я стал для родителей героем. Занял вдруг место брата. А они вели себя так, словно его никогда и не существовало. Словно я – их единственный сын. Я стал для них всем на свете.

– А тебе не было... страшно? – еле слышно выдохнул Кассис.

Томас кивнул.

И тут вдруг брат издал какой-то странный звук – то ли тяжело вздохнул, то ли всхлипнул, – словно с трудом закрыл тяжелую дверь.

– Он не должен был умереть! – воскликнул Кассис, и я догадалась: это он об отце. А Томас терпеливо ждал; внешне он выглядел совершенно спокойным. – Его все считали таким умным. У него всегда все было как надо, и собой он отлично владел, да и трусом уж точно не был...

Голос Кассиса сорвался, и он гневно взглянул на Томаса, словно молчание молодого немца казалось ему вызывающим. Я видела, как сильно дрожат у брата руки. А потом он вдруг начал что-то выкрикивать пронзительным, каким-то измученным голосом, так что я даже слов не могла толком разобрать; они спотыкались и налетали друг на друга в каком-то яростном желании вырваться наружу, на свободу.

– Он не должен был умереть! Он должен был просто во всем разобраться и сделать как лучше, а он взял и пошел на фронт, позволил, чтобы его, как последнего дурака, разнесло на куски! А теперь мне за все это отвечать, и я... не... знаю... что мне делать, и я... так... б-боюсь...

Лейбниц выждал, когда кончится эта истерика, потом просто протянул

руку и преспокойно забрал у Кассиса пистолет.

– В том-то все и дело, – заметил он, – с этими героями всегда так: они почему-то никогда не доживают до исполнения тех ожиданий, которые на них возлагают другие. Это, пожалуй, и есть главная их беда, верно?

– Я ведь тебя и застрелить мог, – мрачно изрек Кассис.

– Отомстить можно по-разному, – ответил Томас.

Почувствовав, что они уже снова почти помирились, я стала отползать через подлесок назад. Мне совсем не хотелось быть уличенной в подслушивании. Ренетт сидела на прежнем месте, погрузившись в изучение очередного журнала о звездах кинематографа. Минут через пять вернулись и Томас с Кассисом – держась за руки, как братья. На Кассисе была немецкая фуражка, заливчатски сдвинутая на затылок.

– Оставь ее себе, – разрешил Томас. – Я знаю, где достать новую.

Все. Наживка была проглочена. С того момента Кассис стал его рабом.

Мы с удвоенным энтузиазмом принялись помогать Томасу. Любые сведения, даже самые тривиальные, были зерном на его мельницу. Мадам Анрио с почты тайком открывала и читала письма; Жиль Пети из мясной лавки торговал кошатиной, выдавая ее за крольчатину; Мартен Дюпре вместе с Анри Друо – и это многие в «La Rére» слышали – призывал бороться с немцами; всем известно, что у Трюрианов за домом в саду, в дренажной трубе, спрятан радиоприемник, а Мартен Франсен – коммунист. Ну и так далее. Лейбниц регулярно обходил названных нами людей под тем предлогом, что часть провизии необходимо реквизировать для обеспечения немецкого гарнизона. Покидал он их отнюдь не с пустыми руками и получал не только то, за чем пришел: иной раз толстую пачку денег, а иногда одежду с черного рынка или бутылку хорошего вина. Порой его жертвы и сами расплачивались новой информацией: чья-то якобы родственница, приехавшая из Парижа, прячется в погребе в самом центре Анже, а на задах «Рыжей кошки» кого-то пырнули ножом. В общем, к концу лета Томас Лейбниц выведал в Анже половину всех секретов, а уж в Ле-Лавёз – добрых две трети. Под его матрасом в казарме уже хранилась вполне приличная сумма. Видимо, как раз это он и имел в виду под фразой «отомстить можно по-разному». Кому отомстить – пояснять не требовалось.

Деньги он посылал домой, в Германию, но мне так и не удалось выяснить, каким образом. Способы, конечно, были разные. Дипломатический багаж, курьерские саквояжи, поезда с продуктами, санитарные машины – возможностей для предприимчивого молодого человека хватало, особенно если есть нужные связи. Томас специально менялся дежурствами со своими приятелями, чтобы лишний раз заглянуть на фермы в окрестностях Ле-Лавёз. Он даже у дверей офицерской столовой подслушивал. У людей он неизменно вызывал симпатию, и они доверительно с ним беседовали, ну а он никогда ничего не забывал.

Хотя, конечно, риск был. Он сам как-то об этом обмолвился, когда мы с ним сидели на берегу реки. Если он совершит хоть одну ошибку – расстрела ему не миновать. Но когда он говорил об этом, глаза его сияли. «Попадают только дураки», – с улыбкой утверждал он, потому что только дурак может позволить себе расслабиться и проявить непростительную беспечность, а то и чрезмерную жадность. Вот Хайнеман и прочие –

типичные дураки. Когда-то, правда, он нуждался в них, но теперь понял, что спокойней и безопасней вести игру в одиночку. И все бывшие приятели стали для него просто помехой. Уж больно много у каждого слабостей: толстый Шварц, например, слишком ухлестывает за девицами, Хауэр чересчур много пьет, а Хайнеман вечно чешется и дергается, словно у него нервный тик, будто он первый кандидат в психушку. «Нет уж, – лениво рассуждал Томас, лежа на спине и зажав в зубах стебелек клевера, – куда лучше работать одному». Одному проще быть осторожным и выжидать, позволяя другим рисковать как угодно, хоть собственной головой.

– Вот, например, твоя щука, – произнес он задумчиво. – Разве сумела бы она так долго прожить в реке, если б все время рисковала? Она ведь питается в основном тем, что найдет на дне, хотя с такими зубищами ничего не стоит перекусить пополам любую здешнюю рыбу. – Он помолчал, выплюнул клевер и сел, глядя на воду. – Понимаешь, Цыпленок, она прекрасно чувствует, что на нее охотятся. Вот и затаилась в иле на дне, питаясь всякой гнилью и сточными водами. Там, на дне, куда безопасней. Оттуда спокойно можно следить за другими рыбами, поменьше, которые плавают ближе к поверхности; из своего логова она видит в светлой воде их брюшки, и стоит ей заметить, что какая-то рыбешка отклонилась в сторону, зазевалась, попросту устала или с ней еще что случилось, – и р-р-раз!

И он быстрым движением пальцев показал, как смыкаются на жертве воображаемые челюсти.

Я смотрела на него во все глаза.

– А от сетей и вершей она старается держаться подальше, ей отлично известно, как они выглядят. Другие рыбы бывают жадными, неразборчивыми, но эта щука хватать наживку не торопится. Она и ждать умеет, и о наживке все знает. Старую щуку на мормышку не поймает. Только на живца, да и то не на всякого. Нужно немалое умение, чтобы ее поймать. – Томас улыбнулся мне. – Мы с тобой многому могли бы у Старухи поучиться, Цыпленочек.

Ну, его-то, во всяком случае, я поймала на слове. И мы стали встречаться регулярно, раз в две недели, а иногда и каждую неделю; порой я приходила одна, но чаще вместе с Рен и Кассисом. Виделись мы обычно по четвергам у нашего Наблюдательного поста, потом уходили либо в лес, либо вниз по реке, подальше от деревни и от посторонних глаз. Томас часто вообще надевал штатское или прятал военную форму у нас в шалаше на дереве, избегая лишних вопросов. Если у матери начинала болеть голова, я вытаскивала узелок с апельсиновыми шкурками, чтобы она подольше не выходила из своей комнаты и не мешала нам общаться с Томасом. Во все

прочие дни я вставала в половине пятого утра, до того, как настанет пора приступать к домашним делам, и шла удить рыбу, выбирая на берегах Луары самые темные и тихие уголки. Наловив мелочи, я оставляла ее в корзинках для ловли раков, и потом, когда появлялась возможность воспользоваться новой удочкой, ловила на живца. Удочку с насаженной на крючок живой рыбкой я закидывала не особенно глубоко, чтобы светлое рыбье брюшко только касалось воды; быстрое течение Луары так и завивалось вокруг нее. Этим способом мне действительно удалось поймать несколько щук, но все они были молодые, не длиннее локтя. Ну и ладно. Всех их я пришпилила к Стоячим камням рядом с водяными змеями, которые висели там с весны и уже успели превратиться в вонючие сухие полоски кожи.

Как и Старая щука, я выжидала.

Наступил сентябрь; лето подходило к концу, хотя по-прежнему стояла жара. Но в воздухе уже чувствовалось приближение осени, прежде всего благодаря пропитавшему все вокруг густому, болезненно сладостному, почти медовому запаху падалицы. Те августовские ливни здорово попортили урожай, и падалицы было необычайно много. Фрукты, что еще как-то держались на ветвях, были черны от ос, но мы все равно их собирали: мы не могли позволить хоть чему-то пропасть; если фрукты нельзя было продать в свежем виде, их превращали в конфитюр или в наливку, приберегая на зиму. Мать руководила процессом, выдав нам толстые перчатки и деревянные щипцы – такими щипцами раньше пользовались, вытаскивая белье из чана после кипячения; этими щипцами мы и подбирали с земли падалицу. Помнится, в тот год осы, чувствуя приближение осени и свою погибель, были особенно злыми и без конца жалили нас, несмотря на щипцы и перчатки, особенно когда мы кидали полусгнившие фрукты в чан с бурлящим варевом – будущим конфитюром или повидлом. Сперва это варево, собственно, и состояло наполовину издохлых ос, и Рен, которая насекомых боялась и ненавидела, прямо-таки в истерику впадала, когда мать заставляла ее вылавливать шумовкой полумертвых ос и вышвыривать их подальше, за садовую дорожку, всю уже забрызганную сливовым соком. Живые осы бодро ползали по липким телам своих соплеменниц, что приводило Рен в ужас, но мать не проявляла к ней ни малейшей снисходительности. Она считала, что мы не должны бояться каких-то там ос, и когда Рен испуганно вскрикивала или даже плакала, мать заставляла ее подбирать с земли облепленные насекомыми сливы и выговаривала ей сердито и куда более резко, чем обычно:

– Не старайся казаться глупее, чем Господь тебя создал! Думаешь, сливы сами собой прыгнут в кастрюлю? Или, может, надеешься, что мы всю работу сделаем за тебя?

Рен тихо хныкала, пытаясь заслониться от матери и от хищных ос негнувшимися руками; лицо ее искажала гримаса страха и отвращения.

А в тот день в голосе матери как-то слишком быстро появилась угроза, он напоминал жужжание разъяренной осы.

– Давай-ка делом занимайся, – сердито гудела она, – не то смотри наплачешься у меня!

Вдруг она с силой толкнула Рен прямо на грудь собранных нами слив

– сочившихся липким соком, полуразложившихся, казавшихся живыми из-за невероятного количества ос. Угодив в самую гущу этого жуткого, кишевшего насекомыми месива, Ренетт с визгом бросилась назад. Глаза ее были закрыты, и она не видела, как материно лицо исказила судорога гнева. На несколько секунд мать словно окаменела, затем схватила истерически рыдавшую Рен за руку и, не проронив ни слова, поволокла к дому. Мы с Кассисом только переглянулись, но пойти за ними не решились, догадываясь, чем это пахнет. Вскоре Ренетт заорала еще громче, каждый ее вопль сопровождал резкий звук, напоминавший выстрел из детского духового ружья. Понимая, что ей уже ничем не поможешь, мы, горестно пожав плечами, вернулись к прежнему занятию: стали собирать деревянными щипцами валявшиеся на земле подпорченные сливы и швырять их в бадейки, стоявшие вдоль садовой дорожки.

Вопли и звуки порки не смолкали довольно долго, затем мать и Ренетт вернулись в сад; мать держала в руках кусок бельевой веревки, которым только что «пользовалась». Обе тут же молча принялись за работу; время от времени Ренетт шмыгала носом и вытирала покрасневшие глаза. Вскоре у матери появились знакомые признаки надвигающегося приступа, и она ушла к себе, строго приказав нам собрать всю падалицу и дать будущему повидлу закипеть. Больше она никогда не упоминала о случившемся, а может, и впрямь все позабыла, но той ночью Ренетт без конца ворочалась и даже тихонько плакала; а когда она надевала ночную рубашку, я заметила, что все ноги у нее в красных рубцах.

Хоть эта порка была, безусловно, явлением из ряда вон выходящим, но все же далеко не самым необычным в той череде поступков, которые в ближайшее время предстояло совершить нашей матери, и все мы – кроме Ренетт, разумеется, – вскоре об этой порке забыли. У нас хватало и других забот.

В то лето я редко виделась с Полем. Во время летних каникул, когда Кассису и Рен не нужно было ездить в школу, он старался держаться поодаль, но с началом сентября и новой четверти стал появляться гораздо чаще. Мне Поль очень даже нравился, однако я опасалась их случайной встречи с Томасом, а потому частенько пряталась в кустах возле реки, выжидая, пока Поль уйдет, не откликалась, если он звал меня, а когда он, завидев меня издали, махал рукой, притворялась, что не замечаю его. И он, видимо, вскоре все понял и больше не приходил.

Поведение матери к тому времени стало совсем уж странным. После того случая с Ренетт мы настороженно следили за ней, взирая на нее снизу вверх, точно дикари на своего божка-истукана. Она и впрямь была для нас неким всемогущим божком, распределявшим милости и наказания, а ее настроение – то странноватые улыбки, то хмурые взгляды – служило нам чем-то вроде флюгера, указывавшего, как себя вести дальше. В сентябре, примерно за неделю до того, как у Рен и Кассиса начались занятия в школе, мать превратилась в чудовищную карикатуру на себя прежнюю, она впадала в бешенство от малейшей ерунды: оставленного возле раковины посудного полотенца, тарелки, забытой на сушке, пылинки на стекле фоторамки. Головные боли преследовали ее почти ежедневно. Теперь я прямо-таки завидовала Кассису и Рен, которые целый день пропадали в школе; к сожалению, наша деревенская школа была закрыта, а для того, чтобы вместе с ними учиться в Анже, я была еще маловата, туда я могла поступить только на следующий год.

Той осенью я часто пользовалась заветным узелком с апельсиновыми корками, хоть и очень боялась, что мать все-таки разгадает мою уловку. Но остановиться я уже не могла. К тому же она утихомиривалась, только приняв таблетки, а таблетки она принимала, лишь почувствовав запах апельсина. Мешочек с корками я прятала все в той же бочке с анчоусами, доставая их оттуда в случае необходимости. Это было рискованно, зато давало мне пять-шесть часов покоя.

Между этими краткими передышками мы с матерью продолжали вести необъявленную войну. Я быстро росла, уже нагнала в росте Кассиса и обогнала Ренетт. У меня были такие же, как у матери, резкие черты лица, такие же темные, сумрачные глаза, такие же прямые черные волосы, и это сходство меня раздражало куда сильнее, чем ее враждебность. А теперь,

когда лето сменилось осенью, мое раздражение все усиливалось, порой я прямо-таки задыхалась от бешенства. У нас в комнате висело маленькое зеркало, и я вдруг обнаружила, что невольно поглядываю в него, причем довольно часто. Раньше моя внешность меня совершенно не интересовала, но теперь я стала относиться к ней с любопытством, хотя и весьма критически. Я то и дело пересчитывала недостатки и страшно огорчалась, насчитав их слишком много. Мне бы, например, хотелось иметь вьющиеся волосы, как у Ренетт, и губы такие же пухлые и алые. Я потихоньку таскала у нее из-под матраса фотографии киноактрис и в каждую подолгу вглядывалась, но не вздыхая от восторга, а скрежеща зубами от отчаяния. Ради кудрей я накручивала волосы на тряпочки и яростно щипала бледно-коричневые соски своих крошечных грудей, чтоб скорее росли. Но все напрасно. Я продолжала оставаться такой же, как мать: хмурой, замкнутой, неуклюжей с людьми. Появилось и еще кое-что: мне снились настолько живые, правдоподобные сны, что я просыпалась, вся мокрая от пота, хотя ночи стали уже довольно холодными; задыхаясь, я пыталась понять, не случилось ли это на самом деле. И обоняние у меня невероятно обострилось. Я запросто могла почуять, не горит ли стог сена на дальнем конце фермы Уриа, даже если ветер дул в противоположном направлении. Или, например, точно определяла, в какой день Поль ел копченый окорок; а уж что мать готовила на кухне, я узнавала еще до того, как входила в сад. Среди всех этих запахов я впервые в жизни различила свой собственный, теплый, чуть солоноватый и немного рыбный; запах этот никуда не исчезал, сколько я ни намазывала кожу лимонным бальзамом, сколько ни натирала тело перечной мятой. Волосы же пахли иначе, у них был острый маслянистый запах. Теперь у меня порой случались кишечные колики – это у меня-то, никогда прежде не болевшей! – и стала довольно часто болеть голова. Не раз я опасалась, что унаследовала от матери и ее странный недуг, и ее таинственную зависимость, и ее безумие, которое постепенно овладеет и моей душой.

Однажды утром, проснувшись, я обнаружила кровь на простыне. Кассис и Ренетт поспешно собирались в школу, им было не до меня. Прикрыв одеялом испачканную простыню, я, как всегда, быстренько вскочила и натянула старую юбку и джемпер, чтобы сбегать к Луаре и проверить ловушки. Оказалось, что и ноги у меня тоже все в крови. Я обмыла их в реке и попыталась сделать что-то вроде повязки из старых носовых платков, но рана, видно, была слишком глубока, и платки вскоре насквозь пропитались кровью. И больно было ужасно; мне казалось, будто меня разрывают пополам, вытягивая из живота нерв за нервом.

Мне и в голову не пришло пожаловаться матери. О менструациях я вообще никогда не слышала; мать проявляла безумную стыдливость во всем, что касалось естественных отпращиваний тела. Я пришла к выводу, что где-то сильно поранилась и, возможно, даже умираю, упала в лесу и внимания не обратила, а теперь вот истекаю кровью; или, может, съела гриб ядовитый; или всему виной какая-то моя ядовитая мысль или чей-то сглаз. В церковь мы не ходили; мать недолго любила тех, кого называла *la curaille*^[50], и презрительно фыркала при виде толпы, направлявшейся к мессе, но ей тем не менее удалось внушить нам глубокое понимание того, что такое грех. «Зло всегда найдет выход наружу», – повторяла она; а мы в ее представлении как раз и были вместилищем всего дурного. Судя по всему, мы представлялись ей чем-то вроде полных молодого кислого вина бурдюков, за которыми нужен глаз да глаз и по которым время от времени надо с силой похлопывать, выпуская скопившийся газ. Каждый ее взгляд, каждый сердитый возглас или недовольное ворчание свидетельствовали о том, сколь глубоко мы порочны, какое зло таим в душах.

Хуже всех была я. И понимала это. Глядя в зеркало, я читала это в собственных глазах, таких похожих на глаза матери, исполненных такой откровенной звериной наглости. Мать говорила, что смерть порой можно вызвать одной-единственной дурной мыслью, а у меня в то лето все мысли были дурными. Материным словам я верила. И потому спряталась, точно отравившийся зверек, в шалаше на нашем Наблюдательном посту, свернулась клубком на деревянном настиле и стала ждать смерти. Живот болел ужасно, как гнилой зуб, но смерть отчего-то не наступала. Чтобы отвлечься от боли, я полистала один из комиксов Кассиса, а потом долго лежала, уставившись на яркую пестроту осенней листвы, пока не уснула.

Она все объяснила мне позже, вручая чистую простыню. Лицо ее не изменило своего выражения, если не считать того оценивающего взгляда, который у нее всегда появлялся в моем присутствии. При этом она так поджимала губы, что они чуть ли не в нитку вытягивались, а глаза на бледном лице превращались в щелки, обрамленные колючей проволокой.

– Вот проклятье! Рановато у тебя началось, – проворчала она. – Ладно, возьми-ка.

И она протянула мне стопку муслиновых салфеток, похожих на детские пеленки, но не объяснила, как ими пользоваться.

«Проклятье?» Значит, не зря я весь день проторчала в шалаше на дереве, ожидая смерти? Душа моя пребывала в смятении. Но меня привело в бешенство равнодушное отношение матери к моему несчастью. Впрочем, я всегда любила драматические ситуации и тут же представила себе, как умираю у ее ног или даже лежу мертвая под мраморной плитой, на которой написано: «Возлюбленной дочери», а в изголовье цветы. Еще я опасалась, что, сама того не заметив, все-таки случайно увидела Старую щуку и теперь навеки проклята.

– Проклятие материнства, – сказала она, словно прочитав мои мысли. – Теперь и ты такая же, как я.

И больше не прибавила ни слова. День или два я дрожала от страха, но с матерью больше не говорила об этом, а выданные ею муслиновые салфетки стирала в Луаре. Потом «проклятие» на какое-то время, видно, действовать перестало, и я постепенно о нем забыла.

Зато не забыла возмутительного спокойствия матери, которая так и не пожелала меня ни утешить, ни успокоить. Возмущение мое усиливалось, когда я вспоминала ее фразу «теперь и ты такая же, как я»; эти слова прямо-таки преследовали меня, мне казалось, что я незаметно меняюсь и становлюсь все больше похожей на нее, словно кто-то коварно, исподтишка меня заколдовал. Я щипала себя за тощие руки и ноги, потому что это были ее руки и ноги. Я била себя по щекам, надеясь, что они станут более румяными, чем у нее. А однажды взяла и остригла волосы – причем так коротко, что в некоторых местах даже кожу на голове повредила, – потому что мои прямые патлы никак не желали становиться кудрявыми. Я и брови пыталась выщипать, только умения не хватило, и я практически лишила себя бровей, когда меня за этим занятием застигла Ренетт: скосив глаза и

глядя на себя в зеркало, я упрямо орудовала пинцетом, сердито морщась от боли.

Мать на мой новый облик внимания почти не обратила. Мое дурацкое объяснение – что, дескать, нечаянно спалила волосы и брови, пытаясь разжечь плиту под кухонным котлом, – ее, судя по всему, полностью удовлетворило. Но однажды – в один из тех дней, когда она хорошо себя чувствовала, – она готовила на кухне terrines de lapin^[51] и вдруг повернулась ко мне, как всегда ей помогавшей, и с каким-то странным энтузиазмом спросила:

– Хочешь сегодня пойти в кино, Буаз? Мы могли бы вдвоем съездить в город, только ты и я.

Предложение было столь необычным, особенно из уст моей матери, что я опешила. Она никогда без крайней необходимости не оставляла ферму. И никогда не тратила деньги «зря», то есть на развлечения. Я вдруг заметила, что на ней новое платье, во всяком случае настолько новое, насколько было возможно в те скудные времена, когда все «новое» шили из старого или из чего придется. Платье получилось довольно симпатичное, с красным лифом и весьма смелым вырезом. Наверно, она смастерила его из всяких остатков бессонными ночами у себя в комнате, потому что раньше я никогда его не видела. От возбуждения лицо ее слегка разругалось и странно помолодело; но ее растопыренные пальцы были все в кроличьей крови, и я внутренне сжалась от отвращения.

Я понимала: безусловно, это жест дружбы и отклонить его совершенно немыслимо, однако между нами было столько недомолвок, делавших сближение невозможным... и все же на секунду я представила себе, как подхожу к ней, как она обнимает меня, как я все ей рассказываю...

Именно эта мысль меня и отрезвила.

«Что это я рассказываю ей?» – строго спросила я себя. Слишком много пришлось бы рассказывать! Нет, мне нечего ей сказать. Совсем нечего. А мать лукаво на меня посмотрела и ласково спросила:

– Ну что, Буаз? Как насчет кино?

Голос ее звучал необычно мягко, почти нежно. Передо мной вдруг возникла отталкивающая картина: она в постели с моим отцом, руки раскинуты, в глазах то же лукавство, тот же соблазн...

– Вечно одна работа, – тихо прибавила она, – больше ни на что времени не остается. Я так устала!..

Впервые на моей памяти она пожаловалась вслух. И меня охватило нестерпимое желание броситься к ней, прижаться, почувствовать тепло ее тела, но... нет, невозможно! Не привыкли мы к таким вещам. Мы вообще

друг к другу практически не прикасались. Это казалось нам почти неприличным.

И я отказалась – довольно-таки неуклюже, буркнув, что этот фильм уже видела.

Она еще манила меня к себе, но потом ее окровавленные руки застыли, лицо замкнулось. Меня вдруг охватила какая-то свирепая радость. Наконец-то и я сумела одержать победу в нашем затянувшемся горьком поединке!

– Тогда конечно, – ровным тоном произнесла она и больше разговоров о кино не заводила.

И промолчала, когда в четверг с Кассисом и Рен я поехала в Анже смотреть тот самый фильм, который якобы видела прежде. Возможно, впрочем, она об этом уже позабыла.

В тот месяц у нашей деспотичной, непредсказуемой матери появились новые капризы. То она веселая и что-то напевает себе под нос, следя за тем, как наемные работники в саду снимают с деревьев последние плоды, то вдруг разъярится ни с того ни с сего и прямо-таки готова головы нам снести за то, что мы всего лишь осмелились к ней приблизиться. Бывало, что и неожиданные подарки раздавала: кусок сахара или плитку поистине драгоценного шоколада. А сестре даже блузку сшила из того самого парашютного шелка, купленного еще у мадам Пети. Блузка вышла просто замечательная, с множеством мелких перламутровых пуговиц. Мать, судя по всему, шила ее тайком, по ночам, как то свое платье с красным лифом; во всяком случае, я не видела, как она эту блузку кроила или хоть раз примерила на Рен. Этот подарок, как и все прочие, был вручен молча, в какой-то неловкой, внезапно воцарившейся тишине, где любые слова благодарности или восхищения сразу же показались бы неуместными.

«Она такая хорошенькая, – записывала в свой дневник мать, – и уже почти совсем взрослая; глаза как у отца. Если бы он не умер, я б, наверно, испытала что-то вроде ревности. Кажется, Буаз испытывает именно ревность, ведь у нее-то мордашка как у лягушки, такая же смешная и очень похожа на мою физиономию. Надо бы ее чем-нибудь порадовать. Пока не поздно».

Господи, хоть бы раз она что-нибудь такое мне сказала, а не записывала в свой дурацкий альбом микроскопическим почерком да еще с помощью «тайного шрифта»! А то ее жалкие проявления щедрости – если, конечно, можно так выразиться – еще сильнее меня злили, и я невольно начинала искать новый способ задеть ее побольнее, как тогда на кухне, когда она предложила вместе поехать в кино.

Я не оправдываюсь. Мне действительно хотелось сделать ей больно. Дети ведь, как известно, жестоки. И если уж нанесут рану, то до кости; и в цель попадают куда точнее любого взрослого. А мы, росшие как дикие зверьки, становились и вовсе бессердечными, когда чуяли слабость. В те мгновения, когда она на кухне пыталась до меня достучаться, она проявила фатальную оплошность; потом, возможно, она это поняла, но было, увы, слишком поздно: я успела заметить в ней слабинку и стала совершенно безжалостной. Снедавшее меня одиночество жадно разинуло пасть, выползая из самых глубоких и темных закоулков души, и даже в те

мгновения, когда, как мне казалось, любовь к матери овладевала мною с каким-то болезненным, страстным отчаянием, я моментально пресекала любые мысли о любви к ней и заставляла себя вспомнить ее отсутствующий взгляд, ее вечную холодность и беспричинную гневливость. Логика моих поступков была восхитительно безумна, когда я обещала себе: «Она у меня еще пожалеет, я заставлю ее возненавидеть меня!»

Мне часто снилась Жаннетт Годен, белый ангел у нее на могиле, белые лилии в вазе у изголовья, надпись «Возлюбленной дочери». Иногда я просыпалась вся в слезах; у меня даже челюсти болели, словно я долго скрежетала зубами или стискивала их от невыносимой боли. А иногда просыпалась в полном смятении с уверенностью, что умираю, потому что и меня в конце концов укусила водяная змея. Испытывая дурноту, нарастающую как снежный ком, я говорила себе, что вот, несмотря на все меры предосторожности, она укусила меня, но я не умру – не будет ни белых цветов, ни мраморного надгробия, ни слез, – а превращусь в собственную мать. Я в ужасе стонала, охваченная жарким полусном, и беспомощно сжимала руками свою коротко остриженную голову.

Иногда я пользовалась узелком с апельсиновыми корками из чистой зловредности, словно пытаюсь втайне отомстить матери за эти сны. Я слышала, как она по ночам ходит у себя в комнате, как что-то бормочет. Бутылочка с морфием к этому времени почти опустела. Однажды она швырнула о стену что-то тяжелое, и оно со звоном раскололось; мы потом нашли в мусорном ведре куски разбитых часов, доставшихся ей от матери; стеклянный купол разлетелся вдребезги, циферблат раскололся практически пополам. Но я не испытывала ни малейших сожалений. Я б и сама эти часы кокнула, если б хватило смелости.

В том сентябре две вещи помогли мне сохранить разум. Во-первых, охота на Старую щуку. Воспользовавшись советом Томаса насчет ловли на живца, я поймала уже несколько щучек. Стоячие камни были все увешаныдохлыми вонючими рыбинами, вокруг которых дрожало лиловое жужжащее марево – тучи вьющихся мух. Старуха оставалась по-прежнему неуловимой, однако теперь я была уверена, что постепенно подбираюсь к ней все ближе. Я воображала себе, что, оставаясь на глубине, она следит за мной и с каждой пойманной мною щучкой ее все сильнее охватывают ярость и безрассудная отвага, что когда-нибудь, движимая жаждой мщения, она решит защитить своих подданных от уничтожения. Какой бы терпеливой, какой бы холодной она ни была, однажды она все-таки не сможет сдержать себя, вылезет из логова для сражения, вот тут-то я и

словлю ее. Я была упорна и настойчива, а свой гнев изливала на пойманных щук, с возраставшей изобретательностью терзала их трупы и порой даже использовала их останки в качестве наживки для ловли раков.

Вторым источником моего относительного благоразумия был Томас. Мы виделись с ним почти каждую неделю, если ему удавалось вырваться, и почти всегда по четвергам, потому что в четверг он чаще всего получал увольнительную. Он приезжал на мотоцикле и прятал его, как и свою военную форму, в кустах за нашим Наблюдательным постом. Томас часто привозил нам всякие вещи с черного рынка; предполагалось, что мы сами разделим их между собой. Довольно странно, но мы настолько привыкли к его визитам, что нам, в общем, и одного его присутствия было уже достаточно, хотя мы не показывали вида. В его присутствии мы совершенно менялись, каждый по-своему: Кассис демонстрировал смелость и какую-то отчаянную браваду – «Смотри, я могу переплыть Луару вон там, где течение самое быстрое! Смотри, я ворую мед у диких пчел прямо из улья!»; Рен становилась похожей на застенчивого котенка и украдкой, но весьма выразительно поглядывала на Томаса, складывая бантиком хорошенькие намаженные губки. Я подобное кривляние презирала. Понимая, что мне не под силу соревноваться с сестрицей в подобных играх, я пошла своим путем: стала вести себя еще более смело, чем Кассис, стараясь переплюнуть его во всем. Я переплывала реку в самых глубоких и опасных местах, ныряла с кручи и оставалась под водой дольше, чем он, залезала на самую верхушку нашего дерева, а если Кассис осмеливался сделать то же самое, повисала там на одних ногах вниз головой, хохоча и вопя, как обезьяна, поскольку прекрасно знала, что он втайне боится высоты. Гордо поглядывая на тех, кто внизу, я с коротко стриженными волосами выглядела куда больше мальчишкой, чем любой из мальчишек, а брат уже тогда начинал проявлять ту мягкотелость, которая в зрелости стала его отличительной чертой. Кроме того, я обладала более упрямым и твердым характером, чем он, к тому же была еще слишком мала и плохо понимала, что такое страх; а Кассис уже понимал. Я с легкостью рисковала жизнью только ради того, чтобы выиграть у собственного брата лишнее очко, и вскоре изобрела жутковатую игру в «корни», ставшую одной из наших любимых забав. Я часами тренировалась, желая быть в этой игре первой, и действительно почти всегда оказывалась победительницей.

Собственно, сложностью она не отличалась. Когда прекратились летние ливни, Луара существенно обмелела, и из ее берегов теперь торчало множество обнажившихся в период высокой воды древесных корней.

Некоторые были толщиной с меня, некоторые – не толще пальца; корни пытались дотянуться до воды и зачастую снова вращались в желтый ил на мелководье, образуя сложные петли; таким образом в мутной воде у берега возник настоящий древесный лабиринт. Суть игры состояла в следующем: нужно нырнуть, проплыть через эти петли – а некоторые из них были довольно узкими, – потом аккуратно развернуться и, не поднимаясь на поверхность, вернуться тем же путем. Если ты с ходу промахивался и не попадал в петлю, не разглядев ее в темной взбаламученной воде, или же всплывал раньше времени, так и не пройдя сквозь петлю, то, разумеется, вылетал из игры. Победителем оказывался тот, кому удавалось преодолеть наибольшее количество петель, не пропустив ни одной.

Это было опасное развлечение. Такие петли из корней всегда образовывались в тех местах, где течение было наиболее быстрым, под обрушившимися, изъеденными водой берегами. К тому же в пещерках под корнями обитали змеи, да и с берега в любую минуту мог сползти новый слой земли, и тогда нырнувший оказался бы в ловушке. Темень там была непроглядная, приходилось пробираться на ощупь, и всегда существовала вероятность застрять в очередной петле или не справиться с бешеным течением Луары и попросту утонуть, но в этой-то опасности и заключалась заманчивость игры.

Мне все удавалось отлично. Рен участвовала редко и вечно впадала в истерику, если мы с Кассисом начинали выпендриваться. Кассис никак не мог уступить мне первенство. Он был гораздо сильнее меня, зато я была более тонкой и гибкой, как угорь, в чем и заключалось мое основное преимущество. Чем больше Кассис хвастался, тем хуже у него получалось. Не помню, чтоб я хоть раз ему проиграла.

Наедине мне удавалось побывать с Томасом только в тех случаях, если Кассис и Рен плохо вели себя в школе и их в наказание оставляли после уроков даже по четвергам, когда у всех остальных бывал свободный день; их сажали за парту и заставляли склонять глаголы или что-то без конца писать. Такое, правда, случалось довольно редко; надо учитывать, что военное время было для всех тяжким испытанием. Большую часть школы по-прежнему занимали немцы, да и учителей осталось всего несколько человек, так что в класс порой набивалось по пятьдесят – шестьдесят учеников. Преподаватели нервничали; раздражение вызывала любая мелочь: вылез, когда тебя не спрашивают, получил плохую отметку за контрольную, подрался во время перемены, не выучил урок. В общем, я просто Бога молила, чтоб сестру и брата наказывали чаще.

И день, когда это наконец произошло, был поистине чудесен. Тот день я помню столь же ясно, как некоторые свои сны, память о нем куда ярче и отчетливей, чем о прочих событиях того лета, которые будто окутаны расплывчатой дымкой. В тот единственный за всю мою жизнь день все складывалось согласно какому-то идеально правильному распорядку; впервые с тех пор, как себя помню, я испытывала ощущение покоя, мира с самой собой и с окружающей действительностью. Мне казалось, что стоит захотеть, и этот чудесный день будет длиться вечно. Подобное чувство, пожалуй, меня никогда больше не посещало, хотя нечто очень похожее и возникало в минуты появления на свет моих дочерей, а еще, возможно, раза два с Эрве, или, может, когда особенно сложное блюдо выходило так, как надо. В тот день меня охватило подлинное счастье, пролившееся мне на душу, точно волшебный эликсир; такое никогда не забывается.

Мать заболела еще накануне вечером. И я тут была абсолютно ни при чем; мои апельсиновые корки стали совершенно бесполезными; я так часто за последний месяц их нагревала, что они совершенно почернели и скукожились, да и запах почти исчез. Нет, на этот раз просто случился один из ужасных приступов, и мать через некоторое время, приняв заветные таблетки, улеглась в постель, так что я уже с вечера была предоставлена самой себе. Утром я встала очень рано и тут же поспешила на реку. Кассис и Рен еще спали. День был чудесный, один из тех красно-золотистых дней, какие бывают только в начале октября; хрусткий, терпкий воздух пьянил не хуже яблочной водки. Даже в пять утра, когда еще не совсем рассвело, ясное небо на востоке было багрово-синим – как в самые лучшие осенние дни, которые и случаются-то раза три в год. Я пела, по очереди вытаскивая из воды верши, мой голос звонко, словно колокольчик, разносился над Луарой, еще окутанной туманной дымкой. В лесу как раз пошли грибы, и после того, как я отнесла улов на ферму и быстренько почистила рыбу, я прихватила с собой кусок хлеба с сыром и отправилась за грибами. На них у меня был прямо-таки нюх, точно у свиньи, обученной искать трюфели. Если честно, я и теперь грибник хоть куда. А тогда я сразу чуяла, где растет серая chanterelle^[52], где рыжеватый, с запахом абрикоса bolet^[53] или petit rose^[54], где можно набрать съедобных дождевиков, или лиловых сыроежек, или черных груздей. По настоянию матери собранные грибы мы сначала должны были показывать аптекарю, чтобы в пищу точно не попался какой-нибудь ядовитый гриб, но я ни разу подобной ошибки не допустила и никак не могла перепутать мясной аромат белого гриба и сухой, землистый запах черных груздей. Я всегда знала, где они прячутся и какие места

предпочитают, и терпеливо их там высматривала.

Домой я вернулась уже около полудня; Кассис и Ренетт должны были приехать из школы, но пока что-то задерживались. Я почистила грибы, сложила их в банку с чабрецом и розмарином и залила маринадом из оливкового масла и уксуса. Даже на кухне было слышно, как тяжело дышит мать в своем наркотическом сне, хотя дверь в ее спальню была по-прежнему закрыта.

Половина первого. Они все не появлялись, а Томас должен был прийти самое позднее в два. Меня понемногу охватывало возбуждение. Я зашла к нам в спальню и посмотрелась в зеркальце Ренетт. Волосы начинали отрастать, но были все еще коротковаты, особенно на затылке, и выглядела я как мальчишка. Я примерила соломенную шляпу, хотя летняя жара давным-давно миновала, и сделала вывод, что в ней лучше.

Час дня. Они опаздывали уже примерно на час. Я представила себе, как они сидят в том классе, где оставляют нарушителей порядка, косые полосы солнечного света падают на пол из высоких окон, а вокруг царит осточертевший запах полироли и старых книг. У Кассиса наверняка вид сердитый, а Ренетт потихоньку льет слезы. Я торжествующе улыбнулась и достала из тайника под матрасом ее драгоценную помаду. Немного подкрасила губы, снова критически себя осмотрела и той же помадой слегка мазнула по векам. Затем опять все это повторила и, поглядевшись в зеркало, решила, что стала совсем другой, почти хорошенькой. Конечно, не такой хорошенькой, как Ренетт или те актрисы на фотографиях, но сегодня это не столь важно, ведь сегодня Ренетт рядом со мной нет.

В половине второго я направилась к реке, на то место, где мы обычно встречались. Забравшись на наш Наблюдательный пост, я во все глаза высматривала Томаса, будучи почти уверенной, что не пропущу его, что он не появится слишком внезапно; я пока толком не осознала, как мне необыкновенно повезло. Вдыхая сильный теплый аромат сухих красноватых листьев, еще не успевших облететь и скрывавших меня от случайных прохожих, я думала о том, что пройдет неделя – и наш Наблюдательный пост на целых полгода опустеет, станет непригодным для наших целей, шалаш будет виден всем, словно дом на вершине холма; но в тот день на ветвях хватало листвы, чтобы меня никто не заметил. Душу наполняла нежная музыка, словно в животе, чуть повыше пупка, кто-то играл на изящном старинном ксилофоне с костяными клавишами. В ушах стоял звон, а голова казалась невероятно легкой и светлой. «Сегодня все возможно, – твердила я себе с какой-то опьяняющей убежденностью. – Абсолютно все».

Минут через двадцать, услышав на дороге треск мотоцикла, я спрыгнула с дерева и со всех ног понеслась к реке. Ощущение странной легкости усилилось, я летела, почти не касаясь ногами земли, да и не чувствуя ее. Меня охватило ощущение какого-то невероятного собственного могущества, почти столь же сильное, как и та светлая радость. Сегодня Томас будет только моим, это будет моя тайна, моя собственная великая тайна. И то, что мы с ним скажем друг другу, останется только между нами. И то, что скажу ему я...

Он затормозил у обочины и быстро огляделся, проверяя, не видел ли его кто-нибудь, затем стащил мотоцикл вниз, в заросли тамариска на песчаном берегу. Я следила за ним из укрытия, отчего-то не решаясь показаться; меня вдруг смутило, что мы здесь одни, это привносило в наши отношения незнакомый оттенок интимности. Я наблюдала, как Томас снимает китель, прячет его в кустах и снова осторожно озирается. В руках у него был сверток, перевязанный бечевкой, изо рта, как всегда, торчала сигарета.

– Больше сегодня никого нет.

Мне очень хотелось, чтобы мой голос звучал «как у взрослой» – ведь и он посмотрел на меня, на мои накрашенные губы иначе, чем всегда. Сначала мне показалось, что он намерен пошутить на сей счет. Внезапно я рассвирепела. Если он вздумает смеяться, если только вздумает смеяться... Но Томас смеяться не стал; он просто улыбнулся и спросил как ни в чем не бывало:

– Значит, сегодня мы с тобой вдвоем?

Я уже говорила – день был просто чудесный. Хотя теперь, в мои шестьдесят пять, довольно трудно объяснить, какая трепетная радость, какое счастье тогда царили в душе в течение нескольких часов подряд. В девять лет все воспринимается так остро; порой одного-единственного слова достаточно, чтобы привести тебя в бешенство; к тому же я была много чувствительнее большинства своих сверстников и почти ожидала, что он вот-вот все испортит. Я никогда не задавалась вопросом, люблю ли я его. Вряд ли я смогла бы тогда на него ответить, в девять-то лет. И я, конечно, не понимала, что за отчаянная, почти болезненная радость охватывает меня при встрече с ним; во всяком случае, для описания этого чувства язык любимых фильмов Рен совершенно не годился, хотя отчасти это и напоминало то, что в них показывали. Моя стеснительность, мое одиночество, то отчуждение, которое с некоторых пор возникло в моих отношениях с братом и сестрой, странности и холодность матери – все это послужило причиной того, что в душе моей как бы вечно зиял разверзнутый голодный рот, инстинктивно тянувшийся навстречу любой капельке доброты, исходившей от кого бы то ни было, хотя бы и от немца. Ну а Томасу, этому веселому вымогателю, нужно было одно: непрерывный поток полезных сведений.

Теперь-то я стараюсь убедить себя, что это было именно так, что больше ему ничего не требовалось. И все-таки даже сейчас какая-то часть души спорит с подобным утверждением: нет, ему нужно было не только это. Было и еще кое-что, и весьма существенное. Ведь он с явным удовольствием встречался со мной, беседовал, да и вообще – зачем он так долго со мной общался? Для чего? Я помню каждое его слово, каждый жест, каждую интонацию. Он рассказывал о доме в Германии, о Bierwurst и Schnitzel^[55], о Шварцвальде и улицах старого Гамбурга, о Рейнских землях, о Feuerzangenbowle – чаше дымящегося пунша с плавающим в ней ярко-оранжевым апельсином, напигованным гвоздикой, – и о Keks, и о Strudel, и о Backofen, и о Frikadelle^[56] с горчицей, и о яблоках, которые зрели до войны в саду у его деда; а я рассказывала о матери с ее таблетками и странностями, о мешочке с апельсиновыми корками, о своих вершах, о разбитых часах с треснувшим циферблатом и о том, как, получив возможность загадать желание, я пожелаю, чтобы этот день никогда не кончался.

Тут он посмотрел на меня неожиданно по-взрослому, и я ответила ему таким же взглядом, и мы еще долго не могли отвести друг от друга глаз, словно играли в гляделки. Когда я играла с Кассисом, первым не выдерживал обычно он. Но на этот раз первой отвернулась я и смущенно пробормотала:

– Ой, извини.

– Ничего, все нормально, – отозвался он, и я почему-то подумала: да, действительно все нормально.

Потом мы с ним немного пособирали грибы, нарвали чабреца – чабрец пахнет гораздо сильнее, чем его родственник огородный тимьян, который цветет такими мелкими лиловыми цветочками, – а у пня нашли еще немного запоздалой земляники. Когда мы перебирались через завал, образованный несколькими упавшими березами, я сделала вид, что оступилась, и как бы нечаянно коснулась его спины; ощутив тепло его тела, я еще долго хранила это тепло в ладони, оно жгло мне руку, точно свежее тавро. Потом мы долго сидели у реки и наблюдали, как красный диск солнца опускается за деревья. Вдруг мне показалось, будто в темной воде что-то мелькнуло, живой сгусток черноты; а чуть погодя у наполовину скрытого водой V-образного порога я успела разглядеть глаз, хищную пасть с двойным рядом зубов, маслянисто-скользкий округлый бок и множество старых рыболовных крючков, торчавших на морде, как усы. Чудовищная тварь, обладавшая поистине невероятными пропорциями, тут же бесследно исчезла, я даже не успела произнести ее имя, лишь на поверхности взбаламученной воды осталась рябь, свидетельствовавшая о том, что секунду назад рыба была там.

С бешено бьющимся сердцем я вскочила на ноги и заорала:

– Томас, ты видел?

Он лениво посмотрел на меня, зажав в зубах сигарету, и ответил:

– Кажется, кусок плавника. Или бревно принесло течением. Такого добра тут полно.

– Никакое это не бревно! – дрожащим от возбуждения голосом пронзительно выкрикнула я. – Я видела ее, Томас! Это была она, она! Старуха! Старая щука! Старая...

Умолкнув на полуслове, я с немыслимой скоростью ринулась к Наблюдательному посту за удочкой. Томас засмеялся.

– Тебе никогда ее не поймать. Даже если это и впрямь она. Поверь, Цыпленок, не бывает щук такой величины.

– Это была она, Старая щука! – упрямо настаивала я на своем. – Она! Она! Поль говорит, в ней футов двенадцать и она черная как смоль. Это

точно она! И никакое не бревно!

Томас молча улыбался.

Пару секунд я смотрела прямо в его веселые, полные вызова глаза, потом вдруг страшно смутилась и отвела взгляд. Но все еще еле слышно повторяла:

– Это она, она. Я точно знаю, что она.

Надо отметить, я и потом часто размышляла о том, что именно мы тогда увидели. Возможно, и впрямь всего лишь большой кусок плавника, как считал Томас. Во всяком случае, когда я действительно поймала Старую щуку, никаких двенадцати футов в ней, конечно, не было, хотя это определенно была самая крупная щука, какую кому-либо из нас довелось встречать в жизни. Да и не бывает щук такой величины – напоминала я себе. Тварь, которая в тот день мелькнула в темной речной воде, – а может, мне все-таки померещилось? – размерами больше походила на одного из тех жутких крокодилов, с которыми сражался Джонни Вайсмюллер [\[3\]](#), когда мы по субботам ходили в кинотеатр «Мажестик» на утренний сеанс.

Но это теперь я рассуждаю подобным образом. А тогда у моей убежденности в собственной правоте не было таких препятствий, как логика и здравый смысл. Что увидела, то и увидела; я своим глазам доверяла. Даже если то, что видели мы, дети, и вызывало у взрослых смех, разве мог кто-то сказать с определенностью, правы ли они, взрослые? В душе я знала твердо: в тот день я действительно увидела ее, эту чудовищную тварь, такую же старую и хитрую, как наша река, и мне подумалось, что никому и никогда ее не поймать. Она забрала Жаннетт Годен. И Томаса Лейбница. Да и меня чуть за собой не утащила.

Часть четвертая
«La Mauvaise Réputation»

«Вымыть и выпотрошить анчоусы и натереть изнутри и снаружи солью. Внутрь каждой рыбки натолкать побольше каменной соли и веточек солероса. И укладывать их в бочонок головками кверху, каждый слой посыпая солью».

Тот еще фокус: открываешь бочонок, а они там словно стоят на хвостах, поблескивая кристаллами серой соли, и взирают на тебя в безмолвной мольбе о помощи. Возьмешь, сколько надо для готовки, а остальные снова аккуратно уложишь и пересыплешь солью и солеросом. Мне всегда казалось, что анчоусы в полумраке подвала смотрят на меня с отчаянием, словно дети, тонущие в колодце.

«Быстренько выкинь эту мысль из головы, – велела я себе, – сорви ее и выбрось, точно ненужный цветок».

В альбоме мать пользовалась синими чернилами; почерк аккуратный, с наклоном. Но под рецептом засолки анчоусов куда более небрежно, даже, пожалуй, какими-то диковатыми каракулями жирным красным карандашом, похожим на губную помаду, выведено с помощью тайного шифра: «Toulini fonini nislipni», что означает «out of pills»: «нет таблеток».

Она постоянно принимала таблетки с тех пор, как началась война; сначала, правда, пользовалась ими весьма осторожно, пила их раз в месяц, а то и реже, но потом осмелела; ну а тем странным летом ей постоянно чудился запах апельсинов, так что она совсем перестала заботиться о последствиях.

«Я. изо всех сил старается мне помочь, – кое-как нацарапано в альбоме. – И впрямь, пожалуй, нам обоим становится чуть легче. Таблетки он добывает в "La Rép" у одного знакомого Уриа. Ходит он туда, судя по всему, и ради собственного удовольствия. Но мне лучше даже не спрашивать об этом. В конце концов, он ведь не из камня. В отличие от меня. Вот я и пытаюсь делать вид, что мне это безразлично. Скандалить совершенно бессмысленно. Впрочем, он ведет себя осторожно. И мне бы надо быть ему благодарной, он ведь по-своему обо мне заботится. Да только это бессмысленно. Мы разделены с ним навечно. У него жизнь ясная. Его пугает даже мысль о моих страданиях. И я это знаю. И ненавижу его за то, что он такой».

Значительно позже, уже после гибели отца, мать написала:

«Нет таблеток. Тот немец говорил, что может достать еще, но отчего-

то не приходит. По-моему, я схожу с ума. Детей бы, кажется, продала за одну лишь ночь нормального сна».

Как ни странно, под этими словами стоит дата. Вот как я все выяснила. Мать страшно берегла таблетки, прятала бутылочку у себя в комнате на дне комода. А порой вытаскивала и нерешительно вертела в руках. Бутылочка была из темного стекла, на этикетке еще можно было прочесть полустертые слова на немецком.

«Нет таблеток».

Это она написала как раз в ту ночь – ночь танцев, ночь последнего апельсина.

– Эй, Цыпленок, чуть не забыл.

Обернувшись, он небрежно бросил сверток, точно мальчишка мячик, проверяя, поймаю ли я. Он всегда был такой – притворялся, что забыл, дразнил меня, а потом кидал подарок над мутной речной водой, рискуя утопить его там, если я окажусь недостаточно ловкой и проворной.

– Твое любимое лакомство.

Легко, одной левой, я поймала сверток и усмехнулась.

– Передай остальным, пусть сегодня вечером приходят в «La Mauvaise Réputation». – Томас хитро подмигнул мне, его глаза по-кошачьи вспыхнули зеленым светом. – Возможно, будет довольно весело.

Конечно, мать никогда бы не позволила нам куда-то идти на ночь глядя, хотя комендантский час в таких отдаленных деревушках, как наша, почти не соблюдался. Однако существовали и иные опасности. Мы могли только догадываться, что творится вокруг под покровом ночи, когда так много немцев в увольнении приезжают в «La Rép» выпить и повеселиться подальше от Анже и бдительного ока СС. Собственно, и Томас не раз говорил об этом; слыша ночью рев мотоциклов на шоссе, я думала, что, возможно, это он возвращается домой, и отчетливо его себе представляла: волосы ветром откинута назад, на лице играет лунный свет, холодными белыми отблесками отражаясь от луарской воды. Тот мотоциклист на шоссе мог, разумеется, быть кем угодно, но я всегда представляла именно Томаса.

Тот день, однако, был не таким, как все прочие. Наверно, у меня прибавилось смелости после нашего тайного свидания наедине, и теперь мне все на свете казалось возможным. Набросив китель, Томас лениво махнул мне рукой и, отъезжая, поднял целое облако желтоватой луарской пыли. Меня вдруг охватило чувство неминуемой утраты; сердце в груди словно распухло и чуть не лопнуло. Сначала меня обожгло испепеляющим жаром, потом сковало холодом; стряхивая с себя эту ледяную волну отчаяния, я бросилась за мотоциклом, размахивая руками и чувствуя во рту хруст поднятой пыли. Я бежала еще долго после того, как мотоцикл Томаса исчез вдаль; слезы ручьем текли из глаз, прокладывая на грязных щеках розовые дорожки.

Одного дня мне оказалось мало.

Да, это был мой день, мой единственный чудесный день, и в сердце

уже вновь кипели гнев и неудовлетворенность. Я посмотрела на солнце. Часа четыре. О таком счастье невозможно было даже мечтать, ведь мы все послеобеденное время провели вместе. Однако мне было мало. Я хотела еще. Еще. Этот открывшийся во мне новый аппетит заставлял в отчаянии кусать губы; руку жгло воспоминание о мимолетном прикосновении к теплой спине Томаса. Я то и дело подносила руку к губам и целовала горящее местечко на ладони, которой коснулась его тела. Я без конца перебирала в памяти все произнесенные им слова, точно это были стихи. Я вновь и вновь проживала про себя каждую драгоценную секунду нашего с ним свидания и сама не верила себе – так со мной бывает, когда зимним утром я пытаюсь представить лето. Этот мой новый аппетит был неуголим. Мне нестерпимо хотелось снова его увидеть, сегодня же, сейчас же. В голове роились бредовые идеи насчет совместного бегства в лес, где можно было бы, пока война не кончится, жить вдаль от людей; я построила бы для него на дереве шалаш, а питаться мы могли бы грибами, лесными ягодами и каштанами.

Они нашли меня на Наблюдательном посту. Сжимая в руке апельсин, я лежала на спине и неотрывно смотрела ввысь сквозь по-осеннему пеструю крону дерева.

– С-с-сказала, ч-ч-что б-будет зд-десь, – раздался голос Поля; он всегда ужасно заикался, если рядом находилась Рен. – Я в-видел, к-к-как она шла в лес, к-когда рыбу ловил.

По сравнению с Кассисом он казался стеснительным и неуклюжим, чувствуя, видимо, какие убогие на нем штаны, перешитые из старого дядиного комбинезона, как жалко выглядят его босые ноги, сунутые в «деревяшки». Его старый пес Малабар, как обычно, шел рядом на поводке, сплетенном из зеленого садового шпагата. Кассис и Рен даже школьную форму почему-то не сняли, волосы Рен были подвязаны желтой шелковой лентой. Меня каждый раз удивляло, почему Поль всегда одет кое-как, если его мать обшивает всех в деревне?

– Ты что? – От беспокойства Кассис почти кричал. – Ты почему домой не явилась? Я уж думал... – Он быстро и мрачно посмотрел на Поля, потом настороженно, с некоторой угрозой на меня. – Здесь ведь никого больше не было? Или кто-то был?

Этот вопрос он почти прошептал, и я поняла: больше всего ему хочется, чтобы Поль немедленно отсюда убрался.

Я кивнула. Кассис раздраженно дернул плечом.

– Я сколько раз тебе повторял? Никогда не оставайся одна с... – Он снова метнул взгляд в сторону Поля. – Ну да ладно. Теперь уже все равно,

так что пошли домой. Не то мать начнет беспокоиться, – произнес он уже значительно громче. – Она там рагу готовит. В общем, нам лучше поторопиться...

А Поль, как заколдованный, уставился на апельсин. Потом с каким-то странным выражением лица спросил удивленно:

– Значит, т-ты еще один раздобыла?

Кассис с отвращением на меня посмотрел: ты что, не могла его спрятать, глупня? Теперь придется с ним делиться.

Я колебалась. Вообще-то я ни с кем не собиралась делиться. Апельсин был мне нужен, чтобы вечером обеспечить себе свободу. И все же было очевидно: Полю страшно интересно, откуда у меня апельсин, и он уже готов все выболтать, так что я поспешно ему пообещала:

– Я и тебя угощу, если никому не скажешь.

– А от-куда он?

– На рынке выменяла, – ловко соврала я. – За сахар и кусок парашютного шелка. Мать не знает.

Поль кивнул и, застенчиво взглянув на Рен, предложил:

– Можно прямо здесь его и разделить. Вот, у меня ножик есть.

– Давай сюда, – велела я.

– Лучше я разрежу, – вмешался Кассис.

– Нет, это мой апельсин! – возмутилась я. – Я и делить буду.

Соображала я быстро. Можно было, конечно, спрятать несколько корок, а потом унести с собой, но я боялась, что тогда Кассис кое-что заподозрит.

Я повернулась к ним спиной и стала делить апельсин, очень стараясь не порезаться. Разрезать его на четвертинки, естественно, легче легкого – пополам и еще раз пополам, – но мне-то нужно было не просто разрезать, а выделить для своих целей еще один, достаточно большой кусок, но все же не слишком большой, чтобы незаметно сунуть его в карман. Разделив апельсин, я обнаружила, что на этот раз Томас принес мне севильский «королек»: мякоть была ярко-красной, цвета сангины, цвета крови. На мгновение я замерла, замороженная видом кровавого сока, капавшего с пальцев.

– Ну же, давай быстрее, неумеха, – нетерпеливо поторопил Кассис. – Неужели даже апельсин на четвертинки разрезать не можешь?

– Все я могу, – огрызнулась я. – Просто шкурка слишком толстая.

– Д-дай м-мне...

Поль шагнул ко мне и, кажется, успел ее увидеть – пятую четвертинку, точнее, не четвертинку, а тонюсенький ломтик, прежде чем я спрятала его в

рукаве.

– Да все уже, – сказала я. – Уже разрезала.

Куски получились неровные. Я очень старалась, но все-таки одна четвертинка оказалась очевидно больше других, а одна – явно меньше. Я заметила, что самый большой кусочек Поль протянул Рен.

Кассис наблюдал за этим с явным отвращением.

– Я же говорил, дай мне разрезать, – сердито буркнул он. – Мне вон не четвертинка, а какая-то жалость досталась. И до чего ты все-таки неловкая, Буаз!

Я молча наслаждалась своей долей. Кассис тоже наконец заткнулся и перестал ворчать, занявшись апельсином. Поль, правда, как-то странно на меня посматривал, но помалкивал.

Кожуру мы бросили в реку. Мне, к счастью, удалось сберечь кусочек, спрятав его во рту, но большую часть пришлось тоже выбросить, поскольку Кассис глаз с меня не сводил. Я с облегчением вздохнула, увидев, что он немного расслабился, и подумала: а что, если он подозревает? Ну и ладно. Я ловко переправила спрятанный за щеку кусочек кожуры в карман, где уже лежала пятая четвертинка апельсина. Своими хитроумными маневрами я была вполне довольна и очень надеялась, что такого количества апельсиновой кожуры будет достаточно.

Потом я показала всем, чем лучше отмывать руки и рты, как отбить запах апельсина с помощью мяты и фенхеля и как вычистить все из-под ногтей с помощью ила. Домой мы возвращались через поля. Мать, что-то монотонно напевая себе под нос, готовила на кухне обед.

«Слегка обжарить в оливковом масле лук-репку и лук-шалот, добавить свежий розмарин, грибы и немного порея. Затем бросить туда горстку сушеных помидоров и по щепотке базилика и тимьяна. Разрезать четыре анчоуса вдоль на тонкие полоски, тоже положить на сковородку и минут пять держать на слабом огне».

– Буаз, принеси-ка мне из бочки четыре анчоуса, да выбери покрупнее.

Я спустилась в подвал с тарелкой и деревянными щипцами – с ними соль не разъедала царапины и трещины на руках, – вытащила сперва четыре рыбки, а затем и мешочек с апельсиновыми корками, заключенный в спасительную банку. Апельсиновый сок и эфирные масла из припрятанной четвертинки я выдавила на старые запасы с целью немного их оживить; шкурку, порезав на мелкие кусочки, тоже сунула в мешочек, и вокруг сразу распространился довольно сильный запах апельсина. Убрав

мешочек со шкурками в банку, я старательно очистила ее от соли и рыбного сока и опустила в карман фартука, надеясь, что не пропадет ни капли драгоценного запаха. Затем я нарочно несколько раз неглубоко обмакнула руки в бочку с соленой рыбой, чтобы обмануть мать.

«Добавить чашку белого вина и положить туда же сваренный до полуготовности рассыпчатый картофель и всякие мясные и рыбные обрезки и остатки: шкурку бекона, кусочки мяса или рыбы, добавить еще столовую ложку масла и минут десять тушить на очень слабом огне, не помешивая и не поднимая крышку».

Мне было слышно, как мать что-то напевает на кухне. У нее был монотонный, даже какой-то скрипучий голос, звучавший то громче, то тише.

– Добавить сухого, не замоченного заранее, проса... н-н, н-н-н... и еще капельку убавить огонь. Оставить под крышкой... н-н, н-н-н... на десять минут и не размешивать до тех пор... н-н-н... пока не впитается вся жидкость. Затем выложить плотным слоем в неглубокую форму... а-н-н, ан-ан-ан... сбрызнуть маслом и запечь до хрустящей корочки.

Внимательно следя за тем, что происходит на кухне, я в последний раз спрятала мешочек с апельсиновыми корками под горячую трубу от плиты.

Некоторое время пришлось подождать.

Сначала мне показалось, что ничего не получилось. Мать по-прежнему преспокойно возилась на кухне, мурлыча себе под нос что-то немелодичное. Помимо паве она, оказывается, приготовила еще и пирог, черный от ягод, и большую миску зеленого салата с помидорами.

«Почти что праздничный обед, – подумала я, – хотя что праздновать-то?» Впрочем, если у матери случайно бывало хорошее настроение, она устраивала для нас настоящий пир, зато в ее «плохие» дни мы обходились холодными блинчиками и rillettes. Сегодня же мать была и вовсе сама на себя не похожа: волосы не стянуты, как обычно, в тугий узел, а тяжелыми прядями рассыпались по плечам; на щеках румянец от жара плиты. Было что-то лихорадочное и в том, как она говорила с нами, и в том быстром, порывистом жесте, которым она обняла Рен, когда та вошла на кухню. Такое с ней случалось крайне редко и казалось почти необычным, как, впрочем, и ее внезапные приступы насилия. Даже голос ее звучал как-то непривычно, и руки с каким-то особым, нервным трепетом совершали самые простые действия – что-то мыли в раковине, что-то резали на кухонной доске.

Нет таблеток.

Морщина на переносице, морщины вокруг рта, напряженная, вымученная улыбка. Но на меня, когда я принесла анчоусы, она взглянула так ласково и так неожиданно мило мне улыбнулась, что еще месяц, нет, даже день назад мое сердце мгновенно растаяло бы.

– Буаз!

А я думала о Томасе, вспоминала, как он сидел на берегу реки, и о той твари, которую мельком видела в воде, о том, как маслянисто блеснул ее могучий бок, чуть показавшись над водной поверхностью, прекрасный в своей чудовищной мощи. Я бы хотела, хотела... Пусть он сегодня вечером придет в «La Mauvaise Réputation» и небрежно повесит свой китель на спинку стула! И я представила себе, что вдруг выросла и превратилась в кинозвезду, прекрасную и утонченную, в шелковом платье, подол которого ласково обнимает ноги, а я иду и все на меня смотрят. Я бы хотела... Ах, если б тогда у меня в руках была удочка!..

Тут я заметила, что мать наблюдает за мной со странным страданием во взоре, и меня почти смутила эта ее внезапная уязвимость.

– Что с тобой, Буаз? – раздался ее голос. – Ты здорова? У тебя все в порядке?

Я молча покивала. Меня точно кнутом ударили – ошеломляющая волна ненависти к самой себе накрыла меня с головой; такого со мной еще не бывало. Я бы хотела, хотела... Я постаралась взять себя в руки, и на моем лице появилось обычное хмурое выражение. Томас. Только ты. Навсегда.

– Сбегаю проверю верши, – произнесла я каким-то не своим, тусклым голосом. – Я быстро.

– Буаз!

Конечно, я слышала, как она окликнула меня, но останавливаться не стала. Примчавшись на реку, я дважды проверила каждую вершу; я была уверена, что уж на этот раз, когда мне так нужно, чтобы щука исполнила мое желание...

Все верши оказались пусты. В приступе внезапной ярости я швыряла в воду пойманных рыбешек: уклейек, пескарей, плоских угрей с маленькой хищной головкой.

– Где же ты? – крикнула я, обращаясь к молчаливой реке. – Где ты, хитрая старая сука?

Луара, безмятежная, темно-коричневая, чуть насмешливая, текла у самых ног, окутанная легкой дымкой. Я бы хотела, я хотела бы... Я подобрала на берегу камень и с такой злостью швырнула в реку, что чуть

плечо не вывихнула.

– Где же ты? Где ты прячешься? – Голос мой звучал резко и пронзительно, как у матери. Казалось, даже воздух дрожит от охватившего меня гнева. – Выйди, покажись! Ну же, давай, я вызываю тебя! Выходи! СМЕЛЕЕ!

Ничего и никого. Лишь коричневой змеей извивалась река, песчаные берега которой уже тонули в сгущавшихся сумерках. Горло саднило от крика. Злые слезы выступили на глазах и жалили, точно осы.

– Я знаю, ты слышишь меня, – почти прошептала я. – Я знаю, ты где-то здесь.

Река, кажется, была со мной согласна. Ее волны, набегавшие на берег, одобрительно шелестели.

– Да-да, я знаю, ты здесь, – повторила я почти нежно.

Мне казалось, что теперь уже все вокруг прислушивается к моим словам – и деревья в пестром осеннем уборе, и эта коричневая вода, и жесткая, пожелтевшая от летнего зноя трава.

– Ты ведь знаешь, чего я хочу? – И снова я удивилась тому, как странно звучит мой голос: точно голос чужой, взрослой женщины. Женщины-соблазнительницы. – Знаешь ведь?

И тут вдруг я снова вспомнила Жаннетт Годен, и тех водяных змей, длинные коричневые тела которых я развешивала на Стоячих камнях, и то чувство, которое я испытывала в начале лета – о, это было миллион лет назад! Тогда я была убеждена, что с таким мерзким чудовищем, как Старая щука, нельзя, невозможно заключить сделку.

Я бы хотела, хотела бы...

А что, если и Жаннетт стояла тогда на том же месте, где я сейчас? Стояла босиком, не сводя глаз с воды. Чего пожелала она? Новое платье? Куклу – подружку в играх? А может, что-то совсем другое?

Белый крест. Надпись «Возлюбленной дочери». Мне вдруг показалось, что нет ничего ужасного в том, чтобы умереть и быть возлюбленной дочерью: гипсовый ангел у тебя в изголовье и тишина.

Я бы хотела, хотела бы...

– Я отпущу тебя, честное слово! Снова брошу тебя в воду, – пообещала я, надеясь схитрить. – Ты же знаешь, что брошу.

На мгновение мне снова почудилось в воде что-то черное, жесткое и блестящее, безмолвное, как мина, сплошной металл и зубы. Нет, это был всего лишь плод моего воображения.

– Я бы отпустила тебя, – снова тихо промолвила я. – Непременно бросила бы тебя в реку.

Но если даже щука и проплывала мимо меня, то уже явно скрылась. Зато совсем рядом вдруг ни с того ни с сего громко, точно в насмешку, заквакала лягушка. Воздух быстро остывал. Я решительно повернулась и пошла назад тем же путем, через поля, сорвав по дороге несколько початков кукурузы, чтобы хоть как-то оправдать свою задержку.

И через несколько минут ускорила шаг, почувствовав аромат готовящегося паве.

«Я потеряла ее. И всех их теряю».

Эти слова мать написала черными чернилами рядом с рецептом пирога с ежевикой. Крохотные, вызывающие головную боль буковки, строчки налезает одна на другую – матери словно мало было дурацкого шифра, с помощью которого она делала тайные записи; наверно, шрифт был не в силах скрыть тот страх, который она старательно прятала не только от нас, но и от себя самой.

«Она смотрела на меня сегодня как на пустое место. А мне так хотелось ее обнять! Но она здорово выросла в последнее время, да и этого ее взгляда я боюсь. Только в Р.-К. сохранилось еще немного нежности, а в Б. я уже не чувствую своего ребенка. Это моя вина. Я ошибалась, считая, что дети – как деревья: подрежешь немного, и им только на пользу. Не так все оказалось. Совсем не так. Когда Я. погиб, я все ждала, когда же они наконец повзрослеют. Мне не хотелось, чтобы они оставались детьми. И вот теперь они выросли и стали даже более жестокими, чем я сама. Они как неприрученные зверьки. Вот в чем моя ошибка. Вот кто их такими сделал. Что ж, сама виновата. В доме снова пахнет апельсином, но никто, кроме меня, запаха не чувствует. И голова опять болит. Если б только Буаз положила руку мне на лоб... И таблеток не осталось. Тот немец говорил, что может достать еще, но отчего-то не приходит. А Буаз сегодня вечером вернулась домой совсем поздно. Сотканная из противоречий, как и я».

Звучит не особенно внятно, но я на редкость отчетливо слышу голос матери, он раздается у меня в ушах – пронзительный, жалобный голос женщины, изо всех сил пытающейся сохранить рассудок.

«Тот немец говорил, что может достать еще, но отчего-то не приходит».

Ах, мама. Если б я тогда знала!

Долгими вечерами и даже ночами мы вместе с Полем старательно разбирали ее записи в альбоме. Я расшифровывала их, а он аккуратно записывал на карточки, пытаясь внести в эти разрозненные мысли порядок и расположить описываемые события в определенной последовательности. Он никогда не позволял себе ничего комментировать, даже если я вдруг, не объясняя причины, пропускала какое-то место. За вечер мы обрабатывали не больше двух-трех альбомных страниц – не так уж много, и тем не менее к октябрю почти половина записей оказалась расшифрованной. Вдвоем работать было гораздо легче, чем одной, и мы частенько засиживались далеко за полночь, вспоминая старые времена, наш Наблюдательный пост и детские ритуалы, которые отправляли на Стоячих камнях, – все те славные деньки, что были в нашей жизни до появления Томаса. Раза два я чуть не открыла Полю всю правду, но вовремя успела остановиться.

Нет, этого Поль знать не должен!

Ведь материн альбом – только часть той истории, которая и ему самому до некоторой степени известна. А вот что скрывается за альбомом... Нет, этого я рассказать не могла! Я посмотрела на него, сидевшего за столом напротив меня. Между нами стояла бутылка «Куантро», на плите исходил паром кофейник, в камине горел огонь; красноватые отблески играли у Поля на лице, отчетливо высвечивая его седые вислые усы, пожелтевшие от времени и никотина. Он заметил, что я смотрю на него – в последнее время смотрю все чаще и чаще, и он всегда это замечает, – и улыбнулся.

Дело было даже не в самой улыбке, а в том, что за ней таилось, – в каком-то особом, ищущем, осторожном его взгляде, от которого мое сердце начинало биться сильнее, а лицо вспыхивало ярким румянцем не только от печного жара. «Этот его взгляд может навсегда исчезнуть, если я все расскажу ему», – вдруг подумала я. Нет, не могла я рассказать! Пока не могла.

Когда я вошла в дом, все уже сидели за столом. Мать приветствовала меня с какой-то странной, вымученной веселостью, но я уже понимала: она на пределе. Мои чуткие ноздри сразу уловили запах апельсина, и теперь я внимательно за ней следила. Ели мы молча.

Этот «праздничный» обед просто не лез мне в глотку, я точно комки глины глотала, и желудок мой бурно протестовал против такого насилия. Я возила вилкой по тарелке до тех пор, пока не убедилась, что мать больше не обращает на меня внимания, и тут же все, что не съела, сунула в карман фартука, чтобы потом потихоньку выбросить. Впрочем, можно было не волноваться. В таком состоянии она вряд ли что-то увидела бы, даже если б я швырнула заботливо приготовленную еду о стену.

– Я же чувствую, пахнет апельсином! – Голос у нее стал ломким от отчаяния. – Признайтесь, кто-нибудь из вас приносил в дом апельсины?

Мы молчали, тупо на нее глядя и выжидая, что последует дальше.

– Ну? Приносили? Вы приносили в дом апельсины?

Теперь ее голос уже звенел, в нем слышались одновременно мольба и обвинение.

Рен вдруг с виноватым видом посмотрела на меня, и я поспешила ответить:

– Конечно же нет. – Я старалась говорить ровным тоном, даже немного сердито. – Интересно, где бы мы могли их взять?

– Да мало ли. – Мать прищурилась и с подозрением на меня посмотрела. – Может, у немцев. Откуда мне знать, чем вы целыми днями занимаетесь?

Это было так близко от истины, что на мгновение я растерялась, но сумела не показать виду. Я просто пожала плечами, помня о том, что Рен по-прежнему не сводит с меня глаз, и метнула на нее гневно-предостерегающий взгляд: хочешь все испортить?

Сестра поняла, снова нагнулась над тарелкой и занялась пирогом. А я продолжала следить за матерью. Мало того, я даже попыталась ее переглядеть, хотя у нее-то игра в гляделки получалась куда лучше, чем у Кассиса; глаза ее при этом казались начисто лишены всякого выражения, точно темные блестящие ягоды тёрна. И вдруг она резко вскочила из-за стола и сильно дернула на себя скатерть, чуть не грохнув об пол свою драгоценную тарелку.

– Ты что на меня уставилась? – закричала она, тыча в меня пальцем. – Что ты уставилась, черт побери? На что тут смотреть-то?

– Да я так просто, – отозвалась я.

– Неправда! – Голос ее звучал по-птичьи и бил резко и точно, как дятел клювом. – Вечно ты пялишься на меня. А на что тут пялиться-то? Что ты хочешь во мне увидеть? Что у тебя на уме, сучка маленькая?

Я прямо-таки носом чуяла ее страх, раздражение и отчаяние. И казалась себе победительницей. Сердце ликующе забилося, когда мать первая отвела глаза. Есть! Я выиграла!

Мать тоже это поняла. Еще несколько секунд она смотрела на меня, однако битва была ею проиграна. Я даже позволила себе слегка улыбнуться, но так, чтобы заметила только она. Ее рука тут же знакомым беспомощным жестом поползла к виску.

– Совсем у меня голова разболелась, – с трудом вымолвила она. – Пойду прилягу.

– Правильно, – равнодушно кивнула я.

– Не забудьте вымыть тарелки, – велела мать, но это были уже ничего не значащие слова. Она понимала, что проиграла. – И не убирайте их в буфет мокрыми. И ничего не оставляйте...

Она осеклась и примерно с полминуты молчала, устремив взор куда-то в пространство. Застыла как статуя, с поднятой рукой и полуоткрытым ртом. Вторая часть фразы повисла в воздухе.

– ...до утра на сушке, – все-таки закончила она и, пошатываясь, побрела по коридору; потом по привычке зашла в ванную, хотя таблеток там больше не было.

Мы – Кассис, Рен и я – переглянулись.

– Томас пригласил нас сегодня вечером в «La Mauvaise Réputation» на встречу с ним, – быстро сообщила я брату и сестре. – Он говорит, что там, возможно, будет весело.

Глядя на меня в упор, Кассис спросил:

– Как ты это сделала?

– Что? – притворно удивилась я.

– Сама знаешь, – произнес он тихо, настойчиво, даже с каким-то страхом.

В эти минуты он, казалось, утратил весь свой авторитет, всю свою власть над нами. Сейчас главной стала я, а они смотрели на меня и ждали дальнейших указаний. Ощущение было довольно непривычным, но я сразу поняла, что моя роль изменилась. Однако особой радости не испытывала. На уме у меня было совсем другое.

Отвечать на вопрос Кассиса я не стала, вместо этого предложила:

– Давайте подождем, пока она уснет. Час или два самое большее. А потом можно уйти через поля, где нас никто не заметит, спрятаться в переулке и подождать Томаса.

У Ренетт глаза сразу вспыхнули, но Кассис был настроен скептически.

– Зачем это? – засомневался он. – Что мы будем там делать? У нас для него ничего нет, а журналы он уже оставил...

– Тебе бы только журнальчики свои получить! – гневно рявкнула я. – Ты что, ни о чем больше думать не способен?

Брат тут же надулся, а я продолжала:

– Томас пообещал, что там может произойти кое-что интересное. Неужели тебе безразлично, что там будет?

– Да мне все равно. И потом, это небезопасно. Ты же знаешь, что мать...

– Ну ты и размазня! – разозлилась я.

– Ничего подобного!

Ведь и впрямь размазня. И трус. По глазам видно, что боится.

– Размазня!

– Просто не вижу смысла...

– А ты рискни, вдруг увидишь, – подначила я брата.

Тот промолчал и умоляюще посмотрел на Рен. Я успела перехватить его взгляд и заставила смотреть мне прямо в глаза. Но он выдержал всего секунды две.

– Детские забавы, – бросил он с показным равнодушием.

– Тем более, возьми и рискни.

Кассис яростно и одновременно беспомощно отмахнулся и, сдаваясь, пробормотал:

– Ладно, идем. Но учти: это совершенно бессмысленная трата времени.

Я лишь злорадно рассмеялась.

Кафе «La Mauvaise Réputation» – или «La Rép», как его обычно называли у нас в деревне, – ничего особенного из себя не представляет. Деревянные полы, полированная барная стойка и чуть поодаль старенькое фортепиано – теперь в нем, разумеется, не хватает половины клавиш, а на верхней крышке вместо стопки нот торчит горшок с геранью; за стойкой, где раньше было зеркало, ряд бутылок и пивные кружки на крючках, а на стойке и под ней – стаканы. Старой вывески нет, ее сменила неоновая, светящаяся ярко-синим; внутри имеются игровые автоматы и музыкальный центр; в прежние времена ничего такого, конечно, не было, только пианино и несколько столиков, которые отодвигали к стене, когда посетители желали потанцевать.

Играл на пианино Рафаэль, если, конечно, хотел, а иногда кто-нибудь мог и спеть, обычно тамошние женщины: Колетт Годен или Агнесс Пети. В те времена патефонов ни у кого не было, радиоприемники были запрещены, но по вечерам в кафе, если верить слухам, было весьма оживленно, и даже до нас доносилась порой через поля веселая музыка, особенно когда ветер дул в нашу сторону. В «La Rép» Жюльен Лекоз как раз и проиграл в карты южное пастбище; ходили слухи, что он и собственную жену на кон поставил, да только никто на нее не польстился. Это кафе служило прямо-таки вторым домом для местных выпивох; они целыми днями посиживали на террасе и покуривали или прямо у крыльца играли в петанк^[57]. Там, например, часто бывал отец Поля, к чему наша мать относилась весьма неодобрительно, и хотя я никогда не видела его по-настоящему пьяным, он, судя по всему, никогда и по-настоящему трезвым не бывал и вечно улыбался прохожим какой-то смутной улыбкой, показывая большие, почти квадратные, желтоватые зубы. Кафе было одним из тех мест, куда мы никогда не ходили. У нас была своя, четко очерченная территория, одни места мы считали почти нашей собственностью, зато другие как бы полностью принадлежали взрослым или всей деревне; это были места либо таинственные, либо ничего для нас не значившие: церковь, почта, где Мишель Уриа сортировала за стойкой корреспонденцию и сплетничала с посетителями, маленькая школа, где мы окончили первые несколько классов и где теперь все окна были заколочены досками.

Кафе «La Mauvaise Réputation» было местом таинственным.

И мы сторонились его, в немалой степени потому, что так велела мать.

Особую ненависть у нее вызывали пьянство, грязь и бессмысленное прожигание жизни, а «La Rér» являлось в ее глазах как бы воплощением всех этих пороков. В церковь она, правда, не ходила, но придерживалась почти пуританского мировоззрения, верила в то, что непременно нужно много и тяжело трудиться, содержать дом в чистоте, а детей воспитывать вежливыми и учтивыми. Каждый раз, когда матери доводилось пройти мимо кафе, она на всякий случай опускала голову и прихватывала рукой шаль на худой груди, а стоило ей услышать доносившиеся из зала музыку и смех, и она негодуя поджимала губы куриной гузкой. Странно все-таки, что именно она, женщина с таким самообладанием и такой любовью к порядку, пала жертвой пагубной привычки к наркотику.

«Я вся поделена на части, как циферблат этих часов, – пишет она в своем альбоме, или: – Стоит взойти луне, и я уже сама не своя». Она и к себе-то уходила, только б мы не видели, как сильно она меняется.

Я просто в шоке была, когда, сумев прочесть ее тайные записи, выяснила, что она регулярно бывала в «La Rér». Раз в неделю, а то и чаще она втайне от нас пробиралась туда после наступления темноты, ненавидя себя за это, ненавидя каждую секунду своего пребывания в этом ужасном месте. Нет, она не пила. Да и с чего бы ей пить, если у нас самих в подвале было полно вина и несколько дюжин бутылок сидра, *prunelle*^[58] и даже *calva*^[59] из ее родной Бретани? Пьянство, объяснила она нам в один из редких моментов откровения, это грех против фруктов и фруктовых деревьев, грех против самого вина. Пьянство оскорбляет их точно так же, как насилие оскорбляет любовь. При этих словах она вдруг покраснела, смущенно отвернулась и приказным тоном потребовала: «Рен-Клод, быстро принеси масла и немного базилика!» Но я те ее слова запомнила навсегда. Вино – продукт, который холят и лелеют, начиная с плодовой почки до сбора урожая, который подвергается стольким сложным и трудоемким процессам, прежде чем превратится в достойный напиток, – безусловно, заслуживает лучшей участи, чем быть выхлебанным каким-то пустоголовым пьяницей. Вино достойно уважения и нежной обходительности, ведь оно дарит людям радость.

О да, мать отлично разбиралась в вине! Она знала, когда нужно добавить сахар, когда начинается процесс ферментации или процесс брожения, знала, сколько времени вино уже зреет в бутылке, постепенно темнея и превращаясь в совершенно новый напиток, обладающий иным букетом ароматов, – так из ничего возникает в руках фокусника пышный букет бумажных цветов. Ах, если б у нее и на нас хватало времени и

терпения! Ребенок – совсем не фруктовое дерево. Она поняла это слишком поздно. И среди ее рецептов не нашлось такого, который помог бы ей благополучно довести своих детей до безопасного и чудесного совершеннолетия. Жаль, что она такого рецепта и не искала.

Конечно, в «La Mauvaise Réputation» и теперь продаются наркотики. Даже мне об этом известно; я еще не настолько стара, чтобы не отличить сладковатый запах марихуаны от тяжелой пивной вони и ароматов жареной пищи. Господь свидетель, я и через дорогу достаточно часто этот запах чувствовала – он доносился от той закуской на колесах. У меня-то с обонянием все в порядке, пусть у этого идиота Рамондена нос ничего не чувствует; да в его кафе сам воздух порой, чаще по вечерам, кажется желтым от дыма марихуаны, особенно когда приезжают байкеры. «Освежающий эффект» – вот как теперь называют воздействие этой дряни, выдумывают и другие названия. Но тогда в Ле-Лавёз ничего подобного не было. До первых джазовых клубов в Сен-Жермен-де-Пре оставалось еще лет десять, а до нас эта напасть по-настоящему не добралась даже в шестидесятые годы. Нет, моя мать ходила в «La Mauvaise Réputation» только потому, что была вынуждена, ведь именно там совершалась большая часть всевозможных спекулятивных сделок и обменов. Там можно было обзавестись и товарами с черного рынка – например, одеждой и обувью, – и не столь безобидными вещами, как то: боевыми ножами, огнестрельным оружием и патронами. В «La Rép» можно было найти все: сигареты, коньяк, открытки с голыми женщинами, нейлоновые чулки и кружевное белье для местных красоток Колетт и Аньес; они обе носили волосы распущенными, а скулы подкрашивали старомодными румянами и в результате выглядели словно голландские куклы – на каждой щеке по алтому пятну и губки бантиком, как у Лиллиан Гиш ^[4].

В глубине кафе у задней стенки собирались «тайные общества»: коммунисты и просто недовольные, будущие функционеры и герои; там совещались и строили планы заговорщики. А в баре вечно торчали всякие развязные типы; они незаметно передавали друг другу какие-то маленькие свертки, перешептывались и пили «за успех предприятия». Некоторые и вовсе, презрев комендантский час, решались по ночам, вымазав сажей лицо, ездить на велосипеде по лесным тропам в Анже на тайные собрания или встречи. Порой, хотя и довольно редко, с той стороны реки даже слышались выстрелы.

Как же моя мать, должно быть, ненавидела это кафе и все, что с ним связано!

Но таблетки она могла достать только там. У нее все в альбоме

записано: таблетки с повышенным содержанием морфина, выписаны ей в госпитале от мигрени, которые она сперва принимала по три штуки, потом – по шесть, по десять, по двенадцать, по двадцать. Впрочем, поставщики у нее были разные. Первым стал Филипп Уриа. Затем у Жюльена Лекоза нашелся какой-то товарищ из вольнонаемных. И у Аньес Пети обнаружился родственник, приятель которого имел нужное знакомство в Париже. И Гильерма Рамондена – того самого, с деревянной ногой, – ей иногда удавалось уговорить, и он соглашался обменять кое-какие свои лекарства на вино или на деньги. Из рук в руки переходили маленькие свертки – когда всего пара таблеток, а когда целая упаковка или ампула со шприцем; годилось все, лишь бы в состав лекарства входил морфий. Разумеется, и речи не шло о том, чтобы подобное средство выписал врач. Да и врача-то, так или иначе, ближе, чем в Анже, не было; а все запасы медикаментов направлялись на фронт или в госпитали. Так что когда у матери иссякли припасенные ею таблетки, она стала выпрашивать их, выторговывать, выменивать у других. В альбоме имелся даже список подобных сделок:

«2 марта, 1942. Гильерм Рамонден, 4 таблетки морфина за 12 яиц.

16 марта, 1942. Франсуаза Пети, 3 таблетки морфина за бутылку кальвадоса...»

Она продавала в Анже свои украшения – продала ту нитку жемчуга, в которой запечатлена на свадебной фотографии, продала колечки и сережки с маленькими бриллиантиками, доставшиеся ей от матери. Она была изобретательна. Даже изворотлива, почти как Томас, хотя, конечно, по-своему; но с нами всегда вела себя честно. Благодаря своей изобретательности мать ухитрялась как-то выкручиваться.

Потом в кафе стали заглядывать немцы.

Сначала по одному или по двое. Кто в форме, кто в штатском. При их появлении все сразу смолкали. Впрочем, они и сами распрекрасно умели веселиться; хохотали во все горло, без конца заказывали выпивку и уходили только перед самым закрытием, с трудом держась на ногах, улыбнувшись Колетт или Аньес и небрежно бросив на стойку горсть монет. Иногда немцы привозили с собой женщин, но мы никогда не видели среди них ни одной знакомой. Это были явно городские девицы – в наброшенных на плечи меховых горжетках, в нейлоновых чулочках, в легких, полупрозрачных, платьях; волосы у них всегда были завиты и красиво подколоты наверх, как у кинозвезд, и в них поблескивали дорогие заколки

и гребни. Брови они выщипывали в ниточку, а губы красили темно-красной блестящей помадой, так что зубы выглядели белоснежными; их тонкие нежные ручки с длинными пальцами привычно сжимали бокал с вином. Появлялись они только поздно вечером вместе с немцами, устроившись на заднем сиденье мотоцикла. Повизгивая от страха и восторга, они мчались сквозь ночную тьму, и их распущенные волосы развевались на ветру. Четверо немцев привозили четверых девиц. Немцы всегда были одни и те же, а девицы – разные.

Мать описывает свое первое впечатление от них:

«Явились эти грязные боши со своими шлюхами. Презрительно на меня смотрели – я прямо в фартуке пришла – и усмехались, прикрываясь ладошкой. Так бы и убила их всех! Заметив их взгляды, я сразу почувствовала себя старой. Старой и уродливой. Только у одного из бошей глаза были добрые. И ему, кажется, здорово наскучила та девица, что составляла ему компанию. Еще бы, дешевка, ума ни на грош! Да еще нарисовала на голых ногах карандашом жирный "шов", как на чулках. Пожалуй, я почти пожалела ее. И вдруг заметила, что этот немец мне улыбается. Пришлось даже язык прикусить, иначе улыбнулась бы ему в ответ».

У меня, конечно, нет никаких доказательств, что здесь говорится о Томасе. За этим кратким воспоминанием вполне может скрываться и кто-то другой. Там ведь нет слов ни о внешности, ни о чем-либо еще, дающем возможность предположить, что это именно он, но я почему-то уверена: речь идет о Томасе. Только он мог вызвать у матери такие чувства. Как и у меня.

В ее альбоме можно найти все. И обо всем прочитать, если захотеть, конечно; если сумеешь разобраться, где что искать. Она ведь описывала события как попало, не соблюдая никакой последовательности. И дат почти нигде нет, хотя есть, например, весьма подробные истории ее тайных махинаций. С другой стороны, записи она вела довольно тщательно, правда, на свой лад, и в них полно всяких мелких деталей. И «La Rép» она воссоздала так точно, что у меня, когда я спустя столько лет читала ее дневник, стоял комок в горле. Я прямо-таки слышала тот шум, музыку, громкие голоса, хохот, непристойные выкрики пьяных, зал, окутанный сигаретным дымом и пивным смрадом. Ничего удивительного, что нам туда ходить запрещалось. Мать слишком стыдилась своего невольного участия в тамошних грязных делишках и слишком боялась, что кто-нибудь из

завсегдаев проболтается о ее визитах нам, ее детям.

Но в тот вечер мы все-таки туда пробрались. И надо заметить, были весьма разочарованы. Мы-то думали, что попадем в тайное гнездо греха, всевозможных взрослых пороков; я, во всяком случае, надеялась увидеть голых танцовщиц с рубинами в пупке и с длинными распущенными волосами. А Кассис, упрямо изображавший полное равнодушие, втайне мечтал о встрече с борцами Сопротивления, настоящими партизанами, с ног до головы одетыми в черное, прячущими под черной маской ледяной взгляд. Ренетт же представляла себя похожей на тех городских женщин – такой же напояженной, накумаренной, в наброшенной на плечи меховой горжетке и небрежно потягивающей martini. Однако, заглянув в грязноватое окно, мы ничего особенно интересного не увидели. За столиками сидело всего несколько пожилых мужчин; чуть поодаль стоял стол для игры в трик-трак с колодой карт; Аньес в блузочке из парашютного шелка, расстегнутой сверху на три пуговицы, что-то пела, облокотившись о старое пианино. Видимо, было еще рановато и Томас пока не приехал.

«9 мая, немецкий солдат (баварец), 12 таблеток с повышенным содержанием морфина; отдала курицу, мешок сахара и кусок свиной грудинки. 25 мая, немецкий солдат (с толстой шеей), 16 таблеток с повышенным содержанием морфина; отдала бутылку кальвадоса, мешок муки, пачку кофе и 6 банок домашних консервов...»

Затем последняя запись; дата, скорее всего, не проставлена специально:

«Сентябрь. Т. Л.; бутылочка с 30 очень сильными таблетками».

Впервые она не указала, что отдала в уплату за наркотик. Возможно, просто по небрежности. Запись явно сделана второпях и читается с большим трудом. Наверно, в этот раз цена была столь высока, что она не решилась ее озвучить. Какую же цену ей пришлось уплатить? Целых тридцать таблеток – наверняка стоило невообразимо дорого. Зато можно было некоторое время не ходить в «La Rép». И не вести торг с пьяными бездельниками вроде Жюльена Лекоза. Я думаю, она немало отдала за тот душевный покой, который подарили ей тридцать таблеток. И все-таки какова была цена этого душевного покоя? Важные сведения? Или что-то иное?

Мы ждали на пустыре – впоследствии там оборудовали автостоянку, а раньше была настоящая свалка, стояли мусорные баки, привозили бочонки с пивом, иногда и кое-какие совсем запрещенные товары. Пустырь был отгорожен от кафе каменной стеной, почти скрывавшейся в зарослях бузины и ежевики. Из распахнутой настежь двери кафе – даже в октябре по-прежнему стояла удушающая жара – широкой полосой падал на землю яркий желтый свет. Мы сидели на стене, готовые в любой момент соскочить на ту сторону и затаиться, если кто-то вздумает подойти слишком близко. Мы ждали Томаса.

Я уже говорила, что «La Rére» и теперь выглядит примерно так же, как и в те годы. Несколько новых фонарей у входа, несколько автомобилей на стоянке. Людей, правда, побольше, но в целом все как прежде; да и у посетителей, пожалуй, изменились лишь прически, а лица те же. Только я туда попадаю – и сразу вспоминаю себя прежнюю, и тогдашних старых забулдыг, и молодых мужчин, приехавших развлечься с городскими девицами, и запах дешевых духов и пива, и сизые клубы сигаретного дыма, в котором тонуло все остальное...

В общем, из-за появления автофургона пришлось мне туда отправиться. Мы с Полем спрятались на автостоянке – как и мы, Кассис, Рен и я, прятались на пустыре в тот вечер, когда были танцы. Только сейчас здесь стояли машины, а не бачки с мусором и было холодно, да еще и дождь шел. Заросли бузины и ежевики давно выкорчевали, залили площадку асфальтом и поставили новую стену, за которой теперь скрывались любовники или пьянчуги, если им приспичило помочиться. Мы с Полем караулили Люка Дессанжа, нашего хищного красавчика. Притихнув в темноте и наблюдая, как свет новой неоновой вывески отражается от мокрого асфальта, я вновь чувствовала себя девятилетней; мне казалось, что там, в задней комнате, сидит Томас, обнимая сразу двух прильнувших к нему женщин. Нет, до чего же все-таки странные вещи порой творит с нами время! На парковке влажно поблескивали под дождем два ряда мотоциклов.

Пробило одиннадцать. И я вдруг ощутила себя полной дурой: ну с какой стати мне прятаться за бетонной стеной и за кем-то шпионить, точно глупой девятилетней девчонке? Да еще и Поль со мной рядом, и его старый пес на неизменном поводке из бечевки! Господи, двое стариков оказались не в силах справиться с обстоятельствами и вздумали под покровом ночи следить за баром! И ради чего? Музыкальный автомат изрыгал какие-то невероятно громкие звуки, я даже мелодию толком не разобрала. Теперь и инструменты все будто чужие – всякие электронные штуковины; для игры на них не требуются ни человеческие руки, ни губы. Послышался пронзительный смех какой-то девицы, сопровождаемый противными повизгиваниями, и в распахнувшихся настежь дверях появился Люк. Мы оба видели его совершенно отчетливо; на каждой руке у него висело по девице, и одет он был в шикарную кожаную куртку, которая в Париже

стоит, наверно, тысячи две, а то и больше. Девицы тоже были шикарные – гладкие, ухоженные; губы покрашены ярко-красным, но сами еще совсем молоденькие, и платьица на тонюсеньких бретельках. Меня вдруг охватило холодное отчаяние.

– Ты только посмотри на нас! – сказала я Полю, вдруг осознав, что волосы у меня совсем мокрые, а пальцы на руках задеревенели от холода. – Джеймс Бонд и Мата Хари! Пойдем-ка лучше домой.

Поль, как всегда, задумчиво на меня взглянул. Кто-то другой, может, и не обнаружил бы в его глазах особого ума, но я-то его хорошо изучила. Он молча спрятал мои окоченевшие руки в своих теплых, уютных ладонях, и я почувствовала бугорки мозолей у основания его пальцев.

– Не сдавайся, – попросил он.

Я пожала плечами.

– Да ничего у нас не выйдет. Ведем себя как последние дураки. Ну согласись, Поль, нам ведь никогда не победить их, этих Дессанжей. Лучше уж сразу постараться вбить эту мысль в свои тупые упрямые черепушки. В общем...

– Нет! Даже не думай, – произнес он почти весело и ласково прибавил: – Ты никогда не сдаешься, Фрамбуаза. И никогда не сдавалась.

Терпение. Господи, сколько же в нем терпения, доброты и упорства – на целую жизнь хватит!

– Ну, это когда было... – пробормотала я, не глядя ему в глаза.

– С тех пор ты не так уж сильно изменилась.

Наверно, он прав. Во мне действительно еще есть твердый стержень, хотя, может, доброты и не хватает. Я порой по-прежнему отчетливо ощущаю его в себе, этот стержень, холодный и прочный, точно камень, зажатый в кулаке. Он всегда был во мне, даже в те давние дни детства; было во мне злое упрямство, соединенное с изрядной долей здравого смысла и дававшее возможность всегда держаться до победного конца. Словно в тот день Старая щука неким образом сумела-таки проникнуть в мою душу, пытаясь ее сожрать, но сама оказалась поглощена той странной, вечно голодной разверстой пастью, что там, во мне, таилась. Древняя ископаемая рыбина, угодившая в каменную ловушку и в неукротимой злобе пожирающая самое себя, – я видела такую окаменелость в одной из книжек Рико про динозавров.

– А ведь, пожалуй, пора и поменяться, – тихо промолвила я. – Пожалуй, стоило бы.

По-моему, какое-то время я и впрямь так думала. Понимаете, я устала, устала сверх всякой меры. За эти два месяца чего мы только не

перепробовали! Мы следили за Люком, пытались его урезонить, строили всякие хитроумные планы и готовы были даже подложить ему под фургон взрывное устройство или нанять человека из Парижа, чтобы тот «случайно» пальнул в него из снайперской винтовки с нашего Наблюдательного поста. О да, тогда я запросто могла бы его убить! Постоянное раздражение и гнев вымотали меня, но страх по-прежнему не давал спать по ночам, и в результате я весь день чувствовала себя разбитой, а голова теперь болела непрестанно. И боялась я не просто того, что моя тайна будет раскрыта; в конце концов, я ведь дочь Мирабель Дартижан, и у меня тот же неукротимый нрав. Больше всего я, пожалуй, опасалась за свое кафе, но даже если бы Дессанжам и удалось разрушить мой бизнес, даже если б все в Ле-Лавёз перестали со мной общаться, я знала, что смогу выдержать эту схватку. Нет, самый главный страх – который я держала в тайне от Поля и даже сама признавала с трудом – был куда сложнее и мрачнее. Он шевелился в глубинах души, точно та Старая щука в илистой яме, и я молилась, чтобы никакое искушение не вынудило его покинуть свою темную нору.

Я получила еще два письма – одно от Янника, а на втором адрес был написан почерком Лоры. Первое я прочитала со все возрастающим чувством тревоги и невольным раздражением. Янник всю жаловался, одновременно пытаясь мне льстить. Он сообщал, что дела у него давно уже идут из рук вон плохо, Лора совершенно его не понимает и постоянно пользуется его финансовой зависимостью как оружием против него. Они уже три года безуспешно пытаются зачать ребенка, и она считает, что это тоже исключительно его вина. И постоянно твердит о разводе.

По словам Янника, все моментально изменится, стоит мне одолжить им альбом моей матери. Лоре просто нужно чем-то себя занять, ей необходим новый проект, а ее карьере – очередной толчок. И он, Янник, уверен: я не настолько бессердечна и не смогу ему отказать.

Второе письмо я сожгла не читая. Возможно, оно чем-то напомнило мне равнодушные, «обязательные» открытки, присланные Нуазетт из Канады. А вот письмо моего племянника вызвало у меня определенные сожаления и даже немного смутило. Но больше мне ничего о нем знать не хотелось. И мы с Полем без тени сомнений стали готовиться к заключительной осаде.

На нее была наша последняя надежда. Хотя я и теперь не могу толком сказать, чего, собственно, мы от этой осады ожидали; по-моему, мы продолжали сопротивляться уже из чистого упрямства. Но может, во мне еще жила неуничтожимая потребность побеждать; я должна была одержать

верх – как в то свое последнее лето в Ле-Лавёз. Или, возможно, во мне проявился дух матери, ее жесткий, неразумный дух, не позволявший мне сдаваться. Если я сейчас сдамся, повторяла я себе, ее жертва окажется напрасной. И я сражалась за нас обеих; порой мне казалось, что мать, пожалуй, гордилась бы мной.

Я и представить себе не могла, каким поистине бесценным помощником окажется Поль. Собственно, следить за кафе предложил именно он, и именно он обнаружил адрес Дессанжей на задней стенке автофургона.

В итоге за эти месяцы я привыкла во всем на него опираться и полностью доверяла его суждениям. Мы часто сторожили вместе у окна, поставив на стол кофейник с горячим кофе и бутылочку «Куантро» и укрыв ноги теплым пледом, поскольку ночи становились все холоднее. Кое в чем Поль стал для меня совершенно незаменимым. Он чистил овощи для вечерней готовки, приносил дрова, потрошил рыбу. И хотя посетителей в блинной стало совсем мало – посреди недели я порой и вовсе кафе не открывала, да и по выходным присутствие этой чертовой закуской действовало всем на нервы, так что ходили ко мне лишь самые упорные, – Поль все равно продолжал следить за порядком, мыл посуду и протирал полы. И почти всегда молчал, храня ту простую уютную тишину, что свойственна отношениям давних и близких друзей.

– Не меняйся, не надо, – произнес наконец Поль.

Я уже собиралась уйти, но он задержал мою руку в ладонях. Я попыталась вырвать ее и не смогла. Повернувшись к нему, я увидела, как у него на берете и на усах блестят капли дождя.

– Знаешь, по-моему, я кое-что выяснил, – вдруг заявил он.

– Что ты выяснил? – От усталости голос мой звучал хрипло, мне хотелось одного: лечь в постель и уснуть. – Ради бога, не томи, что ты там еще выяснил?

– Может, и ничего особенного. – Теперь он опять заговорил осторожно, со свойственной ему медлительностью, которая порой вызывала у меня желание завопить от отчаяния. – Ты подожди здесь немного. Понимаешь, я бы хотел кое-что проверить.

– Еще ждать? Здесь? – чуть не взвизгнула я. – Поль, постой, ты просто...

Но он исчез с ловкостью и бесшумностью бывалого браконьера и был уже далеко – на крыльце у задней двери кафе. Еще секунда – и он скрылся за дверью.

– Поль, – сердито прошипела я. – Ну, Поль! Даже не надейся, что я

буду торчать тут и ждать твоего возвращения. Поль, вернись, черт бы тебя побрал!

Но я все равно продолжала торчать под дождем и ждать. Мое – кстати, весьма неплохое – осеннее пальто промокло насквозь, особенно воротник; волосы тоже были мокрые; холодные капли, просачиваясь за воротник, леденили шею и стекали между грудями. В общем, у меня вполне хватило времени сделать однозначный вывод: нет, пожалуй, с тех пор я и впрямь мало изменилась.

А тогда мы прождали больше часа, пока наконец не появились Томас и его приятели. Мы сразу подобрались поближе к «La Réр», и даже Кассис перестал притворяться, что ему «все это надоело». Отталкивая нас, он жадно прильнул к приоткрытой двери и следил за происходящим в зале. Мы тоже пытались туда заглянуть, но он не давал. Мое любопытство, правда, имело вполне определенную направленность. Пока не приехал Томас, я там вообще ничего такого уж интересного не видела. А вот Рен проявляла куда большую настойчивость.

– Я тоже хочу посмотреть, – ныла она. – Кассис, не будь врединой. Я тоже хочу посмотреть!

– Да на что там смотреть-то? – нетерпеливо оборвала я. – Ничего особенного. Какие-то старики за столиками, да эти две шлюхи с накрашенными губами слоняются туда-сюда.

Хотя я успела лишь мельком туда заглянуть, но до сих пор отчетливо помню, кто где находился. Аньес играла на пианино, Колетт стояла рядом в туго обтягивающей тело зеленой кофточке, и ее вызывающе торчащие груди напоминали артиллерийские снаряды. Мартен и Жан-Мари Дюпре играли в карты с Филиппом Уриа и, что было делом привычным, готовились ободрать его как липку; Анри Леметр устроился у барной стойки со своим вечным *demi* и глазел на женщин; Франсуа Рамонден и Артюр Лекоз, двоюродный брат Жюльена, что-то живо обсуждали в уголке с Жюльеном Ланисаном и Огюстом Трюрианом, а старый Гюстав Бошан, как всегда, был сам по себе и молча сидел у окна с короткой трубочкой в зубах, натянув берет на свои волосатые уши. Я очень хорошо их всех помню. Помню даже, что полотняная кепка Филиппа лежала с ним рядом на стойке, помню аромат кофе из цикория и противный запах табака – к тому времени табак был уже на вес золота, и его щедро разбавляли сушеными листьями одуванчика, а потому вонь стояла такая, словно в костер бросили свежей зеленой травы. Эта сцена четко запечатлена в моей памяти со статичностью картины, однако в окутывающей ее светлой, золотистой ностальгической дымке то и дело вспыхивают темно-красные сполохи пожара. О да, я хорошо все помню! И мне так хотелось бы все это забыть.

В общем, когда они наконец явились, настроение у нас уже совсем испортилось, а руки-ноги затекли из-за того, что мы слишком долго

прятались за стеной, скрючившись в три погребели. Ренетт и вовсе была на грани слез. Оторвать от дверной щели Кассиса оказалось невозможно, и мы с Рен отыскивали себе местечко под одним из грязноватых окошек, сквозь которое мы лишь с трудом различали движущиеся в дымном воздухе фигуры людей. Первой приближение немцев услышала я: сперва далекий рев мотоциклов со стороны Анже, затем грохот и негромкие выхлопы на разбитой подъездной дорожке. Мотоциклов было четыре. Я понимаю теперь, что нам бы следовало ожидать и девиц из города. Если б мы тогда прочли материн альбом, то, конечно, знали бы, что девицы тоже непременно приедут, но мы, несмотря ни на что, были поразительно невинны, и грубая действительность повергла нас в шок. По-моему, когда все они вошли в бар, нас больше всего потрясло то, что с ними были самые настоящие взрослые женщины, не очень-то хорошенькие и даже не особенно молодые, в тесно облегающих тело «двойках», с искусственным жемчугом на шее. Одна из них, держа в руке остроносые туфельки на высоченном каблуке, другой рукой шарила в сумочке в поисках пудреницы. Я-то ожидала увидеть неописуемых красоток, а эти оказались самыми обыкновенными, вроде моей матери, такие же остролицые, с гладко зачесанными назад волосами, в которых поблескивали металлические заколки; и все они сильно сутулились, видимо, ношение таких чудовищных каблуков было для них сущей пыткой. В общем, повторюсь, три самые обыкновенные женщины.

Но Ренетт уставилась на них как заворуженная.

– Взгляни, какие у нее туфли!

Она прижалась лицом к грязному стеклу и даже порозовела от радости и восхищения. Я поняла, что и на это мы с ней смотрим совершенно по-разному: сестре в заурядной внешности этих городских женщин виделись блеск и красота кинодив – дорогие нейлоновые чулки и меха, крокодиловые сумочки и пышные страусовые перья на шляпах, поблескивающие россыпью бриллиантов серьги, изысканные прически. А Ренетт все продолжала восторженно шептать себе под нос:

– Какая шляпка! Нет, ты только взгляни! О-о-о! А платье! Боже мой...

Мы с Кассисом не обращали на нее внимания. Брат изучал коробки, которые немцы привезли на багажнике четвертого мотоцикла, я не сводила глаз с Томаса.

Он стоял чуть в стороне от остальных, облокотившись о стойку бара. Я видела, как он что-то сказал Рафаэлю и тот сразу стал снимать с крючков кружки и наполнять их пивом. Хайнеман, Шварц и Хауэр заняли свободный столик у окна, городские женщины уселись с ними вместе, а

старый Гюстав тут же встал, прихватил с собой кружку и перешел на противоположный конец зала; на лице у него читалось неприкрытое отвращение. Другие пьянчуги, впрочем, вели себя так, словно давно привыкли к подобным визитам, многие приветственно кивали немцам, когда те шествовали через зал к окну, а Анри Леметр и вовсе продолжал откровенно пялиться на тех трех женщин, даже когда они уселись за стол. Меня вдруг охватила странная острая радость, почти торжество, потому что Томас был без девицы. Он некоторое время потоптался у стойки, о чем-то беседуя с Рафаэлем, и я получила полную возможность следить за меняющимся выражением его лица, за его беспечными жестами, любоваться его лихо сдвинутой на затылок фуражкой и небрежно наброшенным на плечи поверх рубашки кителем. Рафаэль говорил мало, и лицо у него сразу стало каким-то деревянным и услужливо-вежливым. Томас, кажется, чувствовал его неприязнь, но, по-моему, это его скорей забавляло, чем сердило. Подняв кружку, он нарочито демонстративно выпил за здоровье Рафаэля. Аньес наигрывала на фортепиано мотивчик в ритме вальса, при этом клавиши в верхней октаве безбожно дребезжали, а одна и вовсе западала.

Кассису все это явно начинало надоедать.

– Ничего тут интересного нет, – сердито буркнул он. – Пошли домой.

Но нас с Рен словно заколдовали; ее манили неяркие огни, блеск украшений и хрусталя, дымящиеся сигареты в изящных лакированных мундштуках, которые дамы держали в наманикюренных пальчиках, а я... я просто глаз не могла оторвать от Томаса. И мне было все равно, происходит в кафе что-нибудь интересное или нет. Я бы получила точно такое же удовольствие, если б он находился там в полном одиночестве и просто спал. Мне казалось волшебством уже одно то, что я могу смотреть на него вот так, украдкой. Прижав ладони к грязному стеклу, я воображала, что прижимаю их к его лицу, а прижавшись к стеклу губами, я вспоминала, как коснулась его теплой кожи. Остальные трое немцев пили вовсю. Толстый Шварц посадил одну из женщин себе на колени и одной рукой залез ей под юбку, задирая подол все выше и выше, так что мне стал виден край коричневого чулка и пристегнутая к нему розовая резинка. Анри Леметр подобрался к немцам совсем близко и прямо-таки пожирал глазами этих женщин, которые пронзительно, как павлины, вскрикивали в ответ на каждую фривольную шутку. Те мужчины, что играли в карты, оставили колоду и тоже повернулись в их сторону, а Жан-Мари, выигравший, судя по всему, больше всех, с небрежным видом направился через весь зал к стойке, остановился рядом с Томасом и швырнул на обшарпанную

поверхность горсть монет. Рафаэль принес новые кружки с пивом, а Томас, быстро оглянувшись через плечо на своих приятелей-выпивох, улыбнулся и что-то быстро сказал Жану-Мари. Разговор между ними был совсем коротким и должен был бы пройти незамеченным для тех, кто специально за Томасом не следил. Я-то была уверена, что лишь одна я заметила, как они что-то передали друг другу. Улыбочка, несколько невнятных слов – и свернутый клочок бумаги, передвинутый по стойке, мгновенно исчез у Томаса в кармане. Меня это ничуть не удивило. Томас со всеми имел какие-то взаимовыгодные делишки. Был у него этот дар. Мы продолжали наблюдать еще, наверно, целый час, и Кассис, по-моему, даже слегка задремал. Томас немного поиграл на пианино, аккомпанируя Аньес, но я с удовольствием отметила, что он почти не проявляет интереса к тем женщинам, хотя они-то все время пытаются с ним флиртовать. Меня прямо-таки распирало от гордости: вкус у Томаса оказался куда лучше, чем у его приятелей.

К тому времени все уже были изрядно навеселе. Рафаэль выставил бутылку лучшего коньяка, и они распили ее прямо из кофейных чашечек, но без всякого кофе. Потом Хауэр и братья Дюпре уселись за карты, а Филипп и Колетт следили за игрой. На кону была выпивка. Мне даже за окном было слышно, как громко они смеялись, когда Хауэр снова проиграл, но смеялись по-доброму, ведь за выпивку было уже заплачено. Одна из тех городских женщин, не устояв на ногах, с глупым смехом ухнула прямо на пол; волосы свешивались ей на лицо. Один Гюстав Бошан продолжал оставаться в сторонке и даже отказался от стаканчика отборного коньяка, предложенного Филиппом; он явно старался держаться как можно дальше от немцев. Один раз, встретившись глазами с Хауэром, он что-то пробормотал себе под нос, но Хауэр не расслышал, задержал на нем холодный взгляд и вернулся к игре. Однако через несколько минут это повторилось, и тут уж Хауэр не стерпел – он единственный из немцев, не считая Томаса, неплохо понимал по-французски, – поднялся и потянулся к висевшей на поясе кобуре с пистолетом. А старик продолжал гневно на него смотреть; его короткая трубка, зажатая в зубах, торчала, как пушка старого танка.

На мгновение все вокруг замерли – таким сильным было возникшее между ними напряжение. Рафаэль сделал какое-то движение в сторону Томаса, который по-прежнему насмешливо наблюдал за этой внезапной стычкой. И мне показалось, что между Рафаэлем и Томасом происходит какой-то безмолвный обмен мнениями. Сперва я решила, что Томас вмешиваться не станет, что ему просто любопытно, чем все кончится.

Старик и немец стояли уже лицом к лицу; Хауэр был, пожалуй, на добрых две головы выше Гюстава; его голубые глаза налились кровью, вены на лбу под смуглой кожей вздулись и напоминали жирных земляных червей. Томас взглянул на Рафаэля и вопросительно улыбнулся. «Ну что? – читалось в этой улыбке. – Жаль встревать, когда дело приобретает такой захватывающий оборот. Так мне вмешаться?» Потом он просто шагнул вперед и небрежным жестом обнял своего дружка за плечи, а Рафаэль тут же увел старого Гюстава подальше от опасности. Не знаю, как уж там Томас успокаивал Хауэра, одной рукой по-прежнему обнимая его за плечи, а другой то и дело указывая в сторону тех коробок, которые они привезли на багажнике четвертого мотоцикла, но мне кажется, что в тот раз Томас спас Гюставу Бошану жизнь. Затем черные коробки, которые так заинтересовали Кассиса, притащили, поставили возле пианино и вот-вот должны были раскрыть.

Некоторое время Хауэр довольно-таки сердито посматривал на Томаса. Мне было прекрасно видно, как он злобно прищурился, отчего глаза его совсем утонули в толстых щеках и стали похожи на надрезы в шкурке окорока. Потом Томас что-то ему сказал, и он, наконец расслабившись, громко захохотал, взревывая, точно тролль, и перекрывая шум, возобновившийся в зале. Гюстав незаметно прошаркал в свой угол к недопитому пиву, а все остальные собрались возле пианино у нераспечатанных коробок.

Некоторое время мне ничего, кроме людских тел, видно не было. Потом я услышала какой-то звук, музыкальную ноту, прозвучавшую гораздо чище и нежнее, чем на разбитом фортепиано, и когда Хауэр повернулся к окну, то в руках у него оказалась труба, у Шварца – барабан, у Хайнемана – какой-то инструмент, названия которого я не знала. Впоследствии я выяснила, что это кларнет, но раньше я никогда таких инструментов не видела. Женщины расступились, пропуская Аньес к фортепиано, и тут в поле моего зрения опять оказался Томас; на плече у него, точно какое-то экзотическое оружие, висел саксофон. Ренетт рядом со мной глубоко и как-то судорожно вздохнула – от восхищения. И даже Кассис, забыв о том, что ему «все это надоело», наклонился к окну и прямо-таки влип в него, пытаясь оттолкнуть меня. Кстати, именно он и сообщил нам названия инструментов. Дома у нас не было даже патефона, но Кассис был уже достаточно большим и помнил ту музыку, которую мы раньше слушали по радио, пока на радио не наложили запрет; а в своих любимых журналах он, оказывается, не раз видел фотографии джаз-оркестра Глена Миллера [\[5\]](#).

– Это же кларнет! – совсем по-детски воскликнул он, в точности как Рен, когда восхищалась туфельками тех городских женщин. – А у Томаса саксофон! Господи, и где только они раздобыли их? Должно быть, реквизировали у кого-нибудь. Наверняка это Томас нашел... Ой, надеюсь, они сыграют! Так хочется что-нибудь такое послушать!..

Не знаю, хорошо ли они играли. Во-первых, мне не с чем было сравнивать, во-вторых, нас прямо-таки накрыло волной возбуждения и восторга. Это было настоящее чудо! Вам, возможно, покажется странным, но нам тогда редко доводилось послушать музыку – пианино в «La Mauvaise Réputation», церковный орган в церкви для тех, кто ходил к мессе, скрипку Дени Годена 14 июля^[60] или в Mardi Gras^[61], когда все танцуют прямо на улицах. А уж когда началась война, не стало и этого, но танцевать нам все же изредка доводилось, по крайней мере пока у Дени окончательно не реквизировали не только скрипку, но и все остальное. И теперь из пивного зала доносились поистине волшебные звуки, необычные, незнакомые, до такой же степени не похожие на бречание старого пианино из «La Rép», как опера не похожа на собачий лай. Мы прямо-таки прилипли к окну, стараясь не пропустить ни одной ноты. Сначала, правда, стройной мелодии не было, лишь странные жалобные звуки – наверно, немцы просто настраивали инструменты, но мы тогда не догадывались об этом. Потом вдруг громко зазвучал какой-то веселый мотив, которого мы не знали, по-моему, что-то джазовое. Негромкий аккомпанемент барабана, отбивавшего ритм, хрипловатое бульканье кларнета и череда ярких чистых нот, точно рождественские огни вылетающих из саксофона Томаса; саксофон о чем-то сладко плакал, что-то интимно нашептывал, звучал то тише, то громче, заглушая все прочие звуки нестройного оркестра, напоминал человеческий голос, который под воздействием магических чар оказался вдруг способен выразить любые чувства: нежность, дерзость, печаль и даже желание польстить.

Память – вещь субъективная. Возможно, именно поэтому у меня и теперь слезы на глаза наворачиваются, стоит мне вспомнить ту музыку, ведь она звучит для меня как музыка конца света. Хотя, конечно, дело тут в моих личных воспоминаниях. Ничего особенного не было в том, что группа подвыпивших немецких солдат исполнила несколько тактов джазового блюза на украденных у кого-то музыкальных инструментах, но мне это казалось настоящим волшебством. Должно быть, на других эта музыка подействовала почти так же, потому что буквально через минуту все уже танцевали, кто в одиночку, кто парами; теми городскими женщинами завладели братья Дюпре; Филипп танцевал с Колетт, прильнув щекой к ее

щеке. Затем начался такой танец, каких мы никогда прежде не видели: все встали в круг и пустились в пляс, стучаясь вихляющими задками и подгибая колени. Столы, естественно, были отодвинуты к стене; звуки музыкальных инструментов заглушал громкий смех. Даже Рафаэль перестал притворяться деревянным истуканом и притопывал ногой в такт мелодии. Не могу сказать, долго ли продолжались танцы – может, около часа, а может, всего несколько минут. Но и мы, помнится, пустились в пляс за окном, скакали и кружились в полном восторге, как чертенята. Музыка была жаркой; ее жар обжигал нам нутро, точно алкоголь, добавленный в фламбе, и в ней чувствовался острый, чуть кисловатый аромат нового. Мы улюлюкали, как индейцы, понимая, что сейчас можно орать сколько душе угодно, ведь при том шуме, который царит внутри, нас все равно никто не услышит. К счастью, я постоянно посматривала в окно и первой заметила, как старый Гюстав стал пробираться к выходу. Я тут же подала сигнал тревоги, и мы успели нырнуть за стену, когда Гюстав, пошатываясь, выбрался на крыльцо. В дверном проеме отчетливо виднелись его сгорбленная фигура и огонек трубки, отбрасывавший ему на лицо розоватый отблеск.

Он был пьян, но не слишком и, по-моему, услышал нас, потому что, сделав пару шагов, остановился и стал пристально вглядываться в ночную тьму, одной рукой держась за перила крыльца, чтобы не упасть.

– Кто тут? – грозно вопрошал он. – Ну? Есть тут кто-нибудь?

Мы затаились, с трудом сдерживая смех.

– Эй, есть тут кто-нибудь? – в последний раз повторил старик.

Явно удовлетворенный отсутствием ответа, он пробормотал себе под нос что-то неразборчивое. Потом подошел к стене и выбил трубку о камень, так что искры дождем посыпались на нашу сторону; я едва успела зажать сестре рот ладонью, потому что она чуть не вскрикнула с испуга. На некоторое время воцарилась полная тишина; мы напряженно ждали, едва осмеливаясь дышать. Но вскоре раздался звук обильно льющейся мочи – казалось, Гюстав будет без конца мочиться у стены, по-стариковски покряхтывая от удовольствия. Я усмехнулась. Ничего удивительного, что он так стремился выяснить, нет ли кого-нибудь за стеной. Кассис сердито толкнул меня в бок, но и сам прикрыл рот ладошкой, чтоб не рассмеяться. Рен брезгливо поморщилась. Звякнула пряжка ремня – старик застегивал штаны, – и снова слышались его шаркающие шаги, удалявшиеся в сторону кафе. Опять стало тихо, но мы еще несколько минут выжидали, прежде чем Кассис решился прошептать:

– Куда он делся-то? Он ведь не ушел. Иначе бы стукнула дверь.

В серебристом лунном свете поблескивало потное от волнения лицо Кассиса. Я показала ему на стену и одними губами произнесла:

– Выгляни – и увидишь. Может, он сознание потерял или заснул.

Брат покачал головой и мрачно заметил:

– А может, он услышал нас? И теперь ждет, пока когда кто-нибудь из нас высунется, а потом раз – и за шкуру!

Я пожала плечами и остороженько выглянула из-за верхнего края стены. Старый Гюстав пребывал в добром здравии. Он сидел совершенно неподвижно спиной к нам, опершись о палку, и наблюдал за входом в кафе.

– Ну? – поторопил Кассис, когда я снова опустилась на землю.

Когда я сообщила, что Гюстав просто сидит и смотрит на дверь, Кассис, побледнев от огорчения, уточнил:

– А делает-то он что?

Я только головой покачала.

– Черт бы его побрал, старого идиота, – прошипел Кассис. – Он нас тут всю ночь продержит!

– Ш-ш-ш, – приложила я палец к губам, – слышишь? Сюда кто-то идет.

Мы отползли подальше и спрятались в зарослях ежевики. Старый Гюстав, должно быть, тоже уловил звуки, потому что стал отступать в нашу сторону, хотя не так бесшумно, как мы. Сделай он еще несколько шагов влево, и точно бы на нас наткнулся, но, к счастью, он запутался в колючих побегах ежевики и, ругаясь, принялся сражаться с ними с помощью палки. Мы укрылись еще глубже в зарослях, оказавшись в подобии туннеля, образованного изогнутыми, склонившимися почти до земли стеблями ежевики, некогда посаженной здесь в качестве зеленой изгороди; под ногами были сплошные листья подорожника; для таких огольцов, как мы, которые способны были пролезть куда угодно, ничего, наверно, не стоило бы добраться до конца этого зеленого туннеля и выйти прямо на дорогу. Тем самым мы избежали бы необходимости лезть через стену и остались бы никем не замеченными.

Я уже почти решила воплотить в жизнь этот гениальный план, когда по ту сторону стены раздались чьи-то голоса. Один женский, второй мужской. Мужчина говорил только по-немецки, и я узнала Шварца. Было слышно, как в баре по-прежнему играет музыка, и я догадалась, что Шварц с подружкой оттуда потихоньку смылись. Спрятавшись за ежевичным кустом, я смутно видела их силуэты над стеной и знаками велела Кассису и Рен оставаться на месте. Гюстава я тоже видела; он был совсем недалеко от нас, но не подозревал о нашем присутствии; опираясь о кирпичную кладку, он внимательно наблюдал за происходящим сквозь щель меж камнями.

Женщина засмеялась, нервно повизгивая, потом Шварц что-то хрипло сказал ей по-немецки. Он был ниже ее ростом и рядом с ней, высокой и стройной, напоминал приземистого тролля; а то, как он впивался ей в шею, выглядело до странности кровожадно, как и те людоедские звуки, которые издавал при этом: хлюпал носом, что-то бормотал, точно человек, торопливо доедающий обед. Когда они вышли из-под навеса над задним крыльцом, их ярко осветила луна; Шварц запустил ручищи женщине под блузку и пытался ее сорвать. «Liebchen, Liebling»^[62], – бубнил он, и она, засмеявшись еще пронзительней и противней – хихихихи! – прямо-таки вывалила свои груди ему в руки. Тут в дверях показался еще один мужчина, но Шварца, кажется, его появление ничуть не смутило; он коротко кивнул этому третьему, а женщина сделала вид, что вроде бы и вовсе его не замечает. В общем, немец вернулся к прежнему занятию, а тот, третий, молча на них уставился, его глаза алчно, как у зверя, поблескивали в луче света, падавшем из задней двери кафе. Это был Жан-Мари Дюпре.

Тогда мне и в голову не пришло, что все это вполне мог подстроить Томас. Предложил посмотреть спектакль, где женщина играла роль товара, в обмен на услугу или просто на банку кофе с черного рынка. Я тогда никак не связала это с тем, что успела подсмотреть в грязное окошко; на самом деле я даже не очень-то понимала, что именно происходит у меня на глазах, настолько была тогда наивна, настолько далеко это было от моих жалких познаний о подобных вещах. Кассис-то, конечно, сразу бы догадался, но он ничего не видел – прятался под стеной вместе с Рен. Я стала яростно жестикулировать, полагая, что нужный момент как раз наступил: пока эти трое поглощены своими занятиями, вполне можно благополучно улигнуть. Кассис понял, кивнул и начал потихоньку продвигаться ко мне сквозь заросли, оставив Ренетт в тени под стеной. В ночи белела ее блузочка из парашютного шелка; однако с места сестра так и не двинулась.

– Черт бы ее побрал! – сердито воскликнул Кассис. – Чего она ждет?

Тем временем немец и та женщина из города подошли вплотную к стене и почти скрылись из нашего поля зрения. Жан-Мари тоже явно находился где-то поблизости; во всяком случае, достаточно близко, чтобы наблюдать. Я испытывала одновременно и чувство вины, и чувство омерзения; мне было хорошо слышно, как они дышат: немец сопел по-свинячьи, а Жан-Мари дышал хрипло, возбужденно; сквозь эти отвратительные звуки с трудом пробивались приглушенные попискивания женщины. И я вдруг обрадовалась, что не могу это увидеть, что я еще слишком мала, чтобы это понять; происходящее казалось мне невероятно отвратительным, отталкивающим, грязным. Однако они явно

наслаждались, явно получали удовольствие; их выпученные глаза сверкали в лунном свете, а раскрытые рты хватали воздух, точно пасти выброшенных на берег рыб. Немец в экстазе короткими ритмичными толчками словно припечатывал женщину к стене, и было слышно, как она глухо ударяется о камень головой и задницей, повизгивая «Ах! Ах! Ах!», а он вторит ей хриплым рычанием: «Liebchen, ja Liebchen, ach ja!» Господи, больше всего мне хотелось вскочить и немедленно сбежать оттуда! Мужество начинало мне изменять, оно тонуло в волнах дикого колючего ужаса, и я уже собралась подчиниться этому инстинктивному желанию, привстала и, повернувшись к дороге, прикинула расстояние между стеной и спасительной свободой, когда вдруг те омерзительные звуки смолкли и мужской голос очень громко рывкнул во внезапно наступившей тишине: «Wer ist das?»^[63]

Вот тут-то, видно, Ренетт, которая понемногу и совершенно неслышно пробиралась к нам, запаниковала. Вместо того чтобы замереть, застыть на месте, как замерли мы трое, когда старый Гюстав задавал в темноте вопросы, она вдруг выпрямилась во весь рост – наверно, решила, что ее заметили, – и пустилась наутек. Ее белая шелковая блузка сверкала в лунном свете. Подвернув ногу, она с криком рухнула в кусты ежевики да так и осталась там, беспомощно плача, обхватив коленку руками и подняв нам навстречу белое как мел лицо; губы ее что-то шептали в отчаянии, но двигались совершенно безмолвно.

Кассис не медлил ни секунды. Выругавшись себе под нос, он бросился сквозь заросли в противоположном направлении; ветки бузины хлестали его по лицу, а колючие побеги ежевики безжалостно царапали ему ноги. Ни разу не оглянувшись на нас с Рен, он в некотором отдалении перемахнул через стену и исчез в той стороне, где была дорога.

– Verdammt!^[64] – раздался голос Шварца.

Над стеной показалась его бледная лунообразная физиономия, и я прямо-таки вжалась в землю, стараясь стать совершенно незаметной.

– Wer war das?^[65]

– Weiß nicht. Etwas da drüben!^[66] – с сомнением ответил Хауэр, уже успевший к нему подбежать.

После этих слов над стеной возникли сразу три физиономии. Я пряталась в густой листве, надеясь, что у Ренетт хватило ума тоже прыгнуть в колючие заросли. Я с глубоким презрением думала, что я, во всяком случае, не струсил и не убежала, как Кассис. И вдруг поняла, что музыка в «La Rép» смолкла.

– Погодите, там кто-то есть, – забеспокоился Жан-Мари, вглядываясь в темноту.

Рядом с ним появилась та женщина из города, ее лицо в лунном свете казалось белым, как мука, а накрашенный рот на этом неестественно белом фоне выглядел черным и страшным.

– Да вот же она, сучка малолетняя! – взвизгнула женщина. – Эй, ты! А ну-ка, вставай! Да, ты, нечего за стеной прятаться! Небось шпионила за нами? – орала она громко и негодуя, и все-таки голос ее звучал немного виновато.

Рен поднялась – медленно, покорно. Она всегда была хорошей, послушной девочкой, моя сестренка, всегда подчинялась любому повелению взрослых. Много же это ей добра в жизни принесло! Я слышала, как она дышит: дыхание с трудом вырывалось у нее из горла и походило скорей на прерывистое паническое шипение. Когда она предстала перед ними, вид у нее был совершенно растерзанный: блузка выбилась из юбки, волосы растрепаны и неряшливыми прядями падают на лицо.

Хауэр что-то тихо сказал Шварцу по-немецки, и тот, перегнувшись через стену, перетащил Ренетт на их сторону.

Несколько мгновений она позволяла им делать с собой все. Она и прежде-то не слишком быстро соображала, а из нас троих была, безусловно, самой покладистой. Если кто из взрослых ей приказывал, она инстинктивно повиновалась, не задавая лишних вопросов.

Потом она, кажется, начала что-то понимать. Возможно, почувствовала хватку Шварца или догадалась, что именно шепнул ему Хауэр. Она попыталась вырваться, но, увы, было уже слишком поздно. Хауэр крепко держал ее, а Шварц срывал с нее блузку. Блузка перелетела через стену, сверкнув в лунном свете, точно белое знамя. Затем послышался еще чей-то голос – Хайнемана, по-моему, который что-то гаркнул по-немецки, – и моя сестра вдруг громко, пронзительно закричала, задыхаясь от ужаса и отвращения: «А-а-а-а!» На мгновение над стеной мелькнуло ее лицо, я видела ее разлетающиеся волосы, ее руки, тщетно пытавшиеся уцепиться за воздух, за ночную темноту. Потом рядом с ней появилась раскрасневшаяся от пива, ухмыляющаяся рожа Шварца, и они исчезли. Зато возобновилось отвратительное, плотоядное сопение мужчин, а та городская женщина завопила визгливо, с каким-то победным восторгом:

– Трахните ее хорошенько, сучку малолетнюю! Трахните, не жалейте!

И снова гнусный смех, омерзительное свинячье сопенье – эти звуки порой и сейчас мерещатся мне в жутких снах – и где-то вдали пение саксофона, такое похожее на человеческий голос, на его голос.

Колебалась я, наверно, максимум секунд тридцать, хоть мне и показалось, что прошло гораздо больше времени, пока я в нерешительности кусала костяшки пальцев, прячась в колючих кустах. Кассис сбежал, а мне было всего девять лет. Что я могла поделать? Я весьма смутно понимала, что происходит, но не могла бросить Рен им на растерзание. Я вскочила и уже открыла рот, собираясь заорать во все горло – мне почему-то казалось, что Томас где-то поблизости и непременно все это прекратит, – но тут кто-то неуклюже вскарабкался на стену, перевалился через нее и принялся палкой дубасить мучителей Рен, не всегда, правда, попадая в цель, но хрипло и злобно повторяя: «Ах вы, грязные боши!»

Это был Гюстав Бошан.

Я снова нырнула в заросли. Оттуда мне уже почти ничего видно не было, но я все же успела заметить, что Рен, подобрав блузку, с жалобным плачем семенит вдоль стены к дороге. Надо было, наверно, и мне последовать за ней, но меня вдруг охватило страшное любопытство, сменившееся бурным восторгом: я услышала знакомый голос, голос Томаса, пытавшийся прорваться сквозь этот адский шум:

– Все в порядке! Спокойно!

Он пробивался через толпу – теперь у стены собралось уже довольно много людей, наблюдавших за схваткой старого Гюстава с немцами. Старик еще пару раз успел кого-то огреть палкой; звук был такой, словно кто-то с силой поддел ногой кочан капусты. Затем снова раздался голос Томаса, пытавшегося утихомирить дерущихся по-французски и по-немецки:

– Все нормально, хватит, успокойтесь. Verdammt. Да прекрати же, Францль! Довольно! Ты что, остановиться не можешь? Ты и так сегодня достаточно дел натворил!

Потом послышался сердитый голос Хауэра и смущенные возражения Шварца. Хауэр, голос которого прямо-таки срывался от ярости, ругал Гюстава:

– Ты уже дважды за вечер испытывал мое терпение, старая ты задница!

Томас громко произнес что-то неразборчивое, затем раздался странно пронзительный и короткий вопль Гюстава, за которым последовал необычный звук – словно тяжеленный мешок муки уронили на каменный пол амбара; что-то с силой ударилось о камень, и внезапно наступила полная тишина, обрушившаяся на всех, точно ледяной ливень.

Тишина царила, наверно, с полминуты, а может, и больше. Никто не проронил ни слова. Никто даже не пошевелился.

Эту пугающую тишину нарушил голос Томаса, звучавший, как всегда, весело и спокойно:

– Все в порядке. Возвращайтесь в бар, допивайте и доедайте. Ничего страшного. Перепил старик, только и всего.

Толпа негромко встревоженно загудела; люди перешептывались, кое-кто пытался возражать, одна из женщин, кажется Колетт, воскликнула:

– А глаза-то у него смотрят как у...

– Да он просто пьян! – со смехом перебил ее Томас. – Что с него возьмешь, со старика. Никогда вовремя не может остановиться. – Он снова рассмеялся, но, хотя смех его звучал на редкость убедительно, я все-таки чувствовала: он лжет. – Францль, останься. Поможешь мне доставить его домой. А ты, Уди, ступай в зал и уведи остальных.

Все вернулись в бар, и вскоре там снова заиграли на пианино, кто-то из женщин нервно дрожащим голосом затянул популярную песенку. Сидя за стеной, я слышала, как Томас и Хауэр, оставшись одни, напряженно обсуждают сложившуюся ситуацию.

– Leibniz, was muß...^[67] – начал Хауэр.

– Halt's Maul!^[68] – резко оборвал его Томас.

Насколько я могла догадаться, он подошел к лежащему старику и опустил его возле него на колени. Я слышала, как он пытался растормошить Гюстава и пару раз окликнул его негромко по-французски:

– Эй, старина! Очнись!

Хауэр что-то быстро и сердито сказал ему по-немецки, но я ничего не поняла. Затем заговорил Томас – медленно, отчетливо, и тут уж я, скорее по интонации, чем по значению слов, поняла все. В устах Томаса фраза прозвучала почти насмешливо, с каким-то холодным презрением:

– Sehr gut, Fränzl. Er ist tot^[69].

«Нет таблеток». Она, наверно, пребывала в полном отчаянии. Та ужасная ночь, и повсюду запах апельсинов, и не за что уцепиться.

«Детей бы, кажется, продала за одну лишь ночь нормального сна».

А чуть ниже, под вырезанным из газеты и вклеенным в альбом рецептом, написано таким мелким почерком, что я с моими старыми глазами только в лупу смогла прочесть эту запись:

«Т. Л. снова приходил. Сообщил, что были некоторые проблемы в "La Rép". Вроде какие-то солдаты напились и стали совершенно неуправляемыми. И скорее всего, Р.-К. что-то видела. Принес таблетки».

Может, это как раз и были те самые тридцать таблеток с повышенным содержанием морфина? Плата за молчание? Или таблетками он расплачивался с ней за что-то совсем другое?

Примерно через полчаса Поль вернулся, от него пахло пивом. Робко на меня поглядывая и словно ожидая, что его будут бранить, он извиняющимся тоном произнес:

– Вот, пришлось и мне купить выпивку. Выглядело бы довольно странно, если б я просто сидел и наблюдал за ними.

К тому времени я уже окончательно промокла и была страшно зла, так что с нескрываемым раздражением спросила:

– Ну? И что такого особенного ты там раскопал?

Поль пожал плечами и задумчиво промолвил:

– Особенного-то, может, и ничего. Знаешь, я... э-э-э... погоди, я, пожалуй, лучше еще кое-что проверю. Чего зря тебя обнадеживать.

Не сводя с него глаз, я сурово заявила:

– Поль Дезире Уриа, я тут сто лет торчу под дождем возле этого вонючего кафе, все Дессанжа высматриваю, ведь это твоя идея, что только так мы сможем что-то выяснить. И кстати, я ни разу не пожаловалась...

Тут он насмешливо на меня посмотрел, но я, сделав вид, что не заметила, тем же суровым тоном продолжала:

– Да я по большому счету почти святая! Только посмей еще хоть немного продержать меня в темноте и на холоде, только посмей вообразить себе, будто я...

Ленивым движением Поль поднял вверх руки, как бы сдаваясь, и поинтересовался:

– Откуда ты знаешь, что мое второе имя Дезире?

– Я знаю все, – без улыбки отрезала я.

Мне неизвестно, что они сделали после того, как мы убежали. Но через пару дней какой-то рыбак выудил из Луары, неподалеку от Курле, тело старого Гюстава; его лицо уже успели объесть рыбы. И ведь в деревне никто и словом не обмолвился о том, что случилось в «La Mauvaise Réputation», братья Дюпре вели себя тише воды ниже травы, да и в самом кафе царила странная тишина. И Ренетт о том вечере ни разу не вспоминала, а я сделала вид, будто убежала почти сразу, следом за Кассисом, чтобы сестра не заподозрила, что я была свидетелем тех событий. Но сама она с тех пор сильно переменилась, стала какой-то холодной, почти агрессивной. То и дело, думая, что я этого не вижу, начинала нервно ощупывать лицо и волосы – словно проверяла, все ли в порядке. В школу она несколько дней не ходила, пожаловавшись на боль в животе.

Удивительно, но мать отнеслась к ее прогулам весьма снисходительно. Мало того, она подолгу сидела возле Рен, поила ее горячим чаем, о чем-то тихо с ней беседовала, что-то настойчиво втолковывала. Она и кровать Рен переставила в свою комнату, чего никогда не делала ни для меня, ни для Кассиса, даже если мы сильно болели. Один раз я подсмотрела, как мать протянула Рен две таблетки, та взяла их не сразу и явно не желала принимать. Притаившись за дверью, я уловила обрывок их разговора, в котором, по-моему, мелькнуло слово «менструация». А после того как Ренетт выпила эти таблетки, она совсем расхворалась и несколько дней не вставала с постели; зато потом быстро пошла на поправку, и вскоре о ее болезни забыли.

В альбоме мать тоже почти не пишет об этом. На одной странице, правда, под засушенным бархатцем и рецептом отвара из ромашки с полынью, встречается фраза: «Р.-К. совсем оправилась». А я тогда еще долго пыталась понять, не были ли те таблетки сильнодействующим средством вроде слабительного, которое помогло избавить Рен от нежелательной беременности? Или мать дала ей свои таблетки, те самые, о которых так часто упоминает в дневнике? И не означают ли инициалы Т. Л., что ей доставал их Томас Лейбниц?

Думаю, Кассис кое о чем догадывался, но его слишком заботили собственные дела, так что ему было не до Рен. Он старательно делал вид, что ничего особенного не стряслось, – учил уроки, читал свои любимые

журналы, играл в лесу с Полем. Возможно, впрочем, он действительно считал, что ничего страшного не произошло.

Правда, один раз я попыталась вызвать его на откровенность.

– Что-то произошло? Ну что такого могло там случиться? Да объясни ты толком! – возмущался Кассис, но в глаза мне старался не смотреть.

Устроившись на Наблюдательном посту, мы с ним ели хлеб с горчицей и читали «Машину времени» Уэллса. Тем летом я без конца перечитывала эту книгу, и она никогда мне не надоедала. Кассис вовсю уплетал хлеб и, болтая со мной, пытался сохранить самый что ни на есть безмятежный вид.

– Ну-у, не знаю... – Я тоже вела себя осторожно, стараясь не брякнуть лишнего, и внимательно следила за его лицом, которое он прятал за раскрытой книгой. – Я там, в общем-то, всего на минуту и задержалась, однако... – Невероятно трудно оказалось облечь увиденное в слова, да и не было еще в моем лексиконе слов для описания подобных вещей. – Они все навалились на Рен, – жалким голосом вымолвила я, – Жан-Мари и другие... они... толкнули ее, прижали к стене... потом сорвали блузку...

Но для того, что произошло потом, так и не удалось подобрать нужных фраз. Я пыталась вспомнить то ощущение ужаса и вины, которое меня тогда охватило, ощущение, что я вот-вот стану свидетельницей какой-то отвратительной, но непреодолимо влекущей к себе тайны; однако все воспоминания об этом вдруг утратили четкость, стали зернистыми, как старая фотография, и туманными, как промелькнувший и полузабытый сон.

– Гюстав тоже там был, – прибавила я с отчаянием, видя, что Кассис начинает сердиться.

– Ну и что? – раздраженно бросил он. – Я знаю, что этот старый пьяница там торчал. Что тут такого особенного?

Меня брат по-прежнему избегал; его глаза то утыкались в книгу, то металась из стороны в сторону, точно сухие листья в порывах ветра.

– Но ведь там была драка! Ну да, можно и так назвать.

Я не сдавалась, хоть и чувствовала, что Кассис не хочет поднимать эту тему; он увиливал от моего взгляда и делал вид, что увлечен чтением; наверно, ему больше всего на свете хотелось, чтобы я немедленно заткнулась.

Мы оба некоторое время молчали, и за молчанием отчетливо ощущалось противостояние наших характеров – Кассис был старше и опытнее, но увиденное придавало мне сил.

– А тебе не кажется, что Гюстава, возможно...

И тут он не выдержал. Он повернулся ко мне, яростно, даже свирепо сверкая глазами, однако я сразу почувствовала, что в глубине его души

плещется холодный ужас.

– Почему мне должно что-то казаться, черт тебя побери? Почему? – злобно выкрикнул он. – Мало тебе твоих сделок с ними? Твоих гениальных планов и идей? – У него даже дыхание перехватило, на щеках горел лихорадочный румянец. Он вдруг совсем близко придвинулся ко мне и прошипел: – А ты не боишься, что и так уже достаточно всяких дел натворила?

– Я не понимаю, что ты... – чуть не плакала я.

– Тогда подумай хорошенько! – заорал Кассис. – Ну, допустим, ты что-то там подозреваешь. Допустим, ты в курсе, как умер старый Гюстав. – Он помолчал и, глядя на меня в упор, шепотом прибавил: – Допустим, ты даже что-то там видела. Кому ты собираешься об этом сообщить? В полицию пойдешь? Или матери пожалуешься? Или, может, в треклятый Иностраннный легион обратишься?

Я чувствовала себя раздавленной, но старалась этого не показывать и продолжала смотреть на него, как и раньше, – нагло, в упор.

– Пойми, мы никому не можем это рассказать. – Теперь тон Кассиса стал совершенно иным. – Никому. Они же сразу спросят: откуда нам известно? С кем еще мы говорили? И если мы признаемся... – Тут его взгляд снова уполз куда-то в сторону. – Если мы хоть когда-нибудь что-нибудь кому-нибудь скажем о том, как мы...

Он вдруг умолк и снова уткнулся в книгу. Даже страх его полностью улетучился, уступив место какому-то усталому равнодушию.

– Это хорошо, что мы всего лишь дети, верно? – вдруг продолжил он каким-то новым, чересчур ровным голосом. – Дети вечно балуются всякими глупыми играми. Что-то разведывают, разыскивают, кого-то отслеживают – в общем, маются ерундой. И всем очевидно, что это понарошку. Что мы все это просто выдумали.

Некоторое время я молча смотрела на него, потом не выдержала:

– Но Гюстав...

– А Гюстав – просто старик, что с него возьмешь, – отрезал Кассис, невольно почти повторив слова Томаса. – Упал да в реку свалился, разве не так? Слишком много выпил, вот и упал. Такое на Луаре то и дело случается.

Меня передернуло.

– А мы вообще ничего не видели, – отчеканил Кассис. – Ни ты, ни я, ни Ренетт. И ничего там особенного не случилось, ясно?

– Но я видела! – возразила я. – Видела!

Однако Кассис даже смотреть на меня больше не желал; спрятался за

книжкой, за спасительным вымыслом, за описанием яростных сражений морлоков с элоями. И сколько раз после этого я ни пыталась обсудить с ним события той ночи, он делал вид, что не понимает, о чем речь, или же отмахивался: мол, хватит выдумывать. По-моему, он со временем и впрямь поверил, что ничего особенного не случилось.

Дни тянулись бесконечной чередой. Я вытащила из материной подушки мешочек с апельсиновыми корками, извлекла из бочки с анчоусами драгоценную жестянку и все это зарыла в саду, понимая, что мне больше никогда не захочется прибегнуть к этому средству.

«Проснулась в шесть утра, – пишет мать, – впервые за много месяцев. Странно, до чего все выглядит иначе. Когда не выспишься, такое ощущение, словно мир понемногу от тебя ускользает, даже земли толком под ногами не чувствуешь. И кажется, будто вокруг в воздухе полно каких-то острых сверкающих частичек, жалящих, как осы. По-моему, я все-таки часть самой себя оставила в прошлом, только не помню, какую именно. А они смотрят на меня так мрачно, так сурово. Должно быть, боятся меня. Все, кроме Буаз. Эта ничего не боится. Надо бы предупредить ее, что так будет не всегда».

Вот тут она оказалась полностью права. Я действительно стала бояться. И поняла это после рождения Нуазетт – моей Нуазетт, такой похожей на меня, такой же скрытной, такой же упрямой. Теперь у Нуазетт тоже есть дочка, но я видела ее только на фотографии. Она назвала девочку Пеш^[70]. Я часто думаю, как они там справляются одни так далеко от дома? Нуазетт, помнится, любила уставиться на меня в упор своими черными глазницами и молчать. Теперь мне, пожалуй, кажется, что она больше похожа на мою мать, чем на меня.

Через несколько дней после того вечера с танцами в «La Rép» к нам заглянул Рафаэль. Предлог для этого он явно придумал заранее – по его словам, он то ли вина купить хотел, то ли еще чего-то, – но мы трое сразу догадались, какова истинная цель его визита. Кассис, правда, даже потом не пожелал в этом признаться, зато по глазам Рен я сразу все поняла. Рафаэль надеялся выяснить, что нам известно. Его, судя по всему, случившееся сильно тревожило, куда сильнее, чем прочих; ведь, в конце концов, все произошло у него в кафе, и он до некоторой степени чувствовал себя ответственным. А может, просто кое о чем догадывался. Или кто-то что-то ему сказал. Все возможно. Так или иначе, а нервничал он, как нашкодивший кот. И только мать открыла ему дверь, он мигом обежал глазами весь дом и лишь потом снова посмотрел на мать. С того

злополучного вечера с танцами дела в «La Réр» пошли совсем плохо. Однажды я слышала на почте, как кто-то – по-моему, Лизбет Жене – говорил, что Рафаэль практически разорен, что немцы водят туда своих шлюх, что в «La Réр» теперь ни одного приличного человека не найдешь. Пока никто напрямик не связывал смерть Гюстава Бошана со случившимся тем вечером в кафе, но я не сомневалась: подобные сплетни непременно вскоре начнутся. В конце концов, Ле-Лавёз – обыкновенная деревня, а разве можно в деревне надолго сохранить что-то в тайне?

Ну, вообще наша мать встретила Рафаэля не слишком тепло. Возможно, заметила, что мы наблюдаем за ними, и испугалась, что он выдаст ее – ведь ему кое-что было о ней известно. А может, просто тяжкий недуг сделал ее такой неприветливой или проявился ее угрюмый нрав. Как бы то ни было, а Рафаэль у нас больше ни разу не показывался, хотя, возможно, он просто не успел это сделать: неделю спустя и он, и все прочие, кто в тот вечер с танцами оказался в «La Réр», были мертвы.

Мать по поводу визита Рафаэля написала лишь несколько фраз:

«Заходил этот дурень Рафаэль. Как всегда, слишком поздно. Сообщил, что знает, где можно достать таблетки. Но я сказала: нет, уже не нужно».

Уже не нужно. Вот просто не нужно, и все. Если бы это была любая другая женщина, я бы, наверно, этим словам не поверила; но Мирабель Дартижан была женщиной необычной. «Уже не нужно», – сказала она. И это было ее последнее слово. И насколько мне известно, она больше никогда к морфию не прибегала, хотя, вполне возможно, не только благодаря собственной силе воли, но и из-за того, что с нами случилось позже. Впрочем, и я больше никогда не прибегала к фокусам с апельсиновой кожурой. По-моему, с тех пор я и апельсины напрочь разлюбила.

Часть пятая

Урожай

Повторюсь, что многое из написанного матерью не соответствует действительности. В ее воспоминаниях правда так же тесно переплетена с вымыслом, как плющ – с ветками живой изгороди; а этот безумный шифр только еще больше все запутывает. И потом, строчки то сливаются, то пересекают друг друга; слова то сложены вместе, то вставлены одно внутри другого, так что не сразу и разберешь – в общем, это чистый поединок наших с ней характеров, ведь мне приходится собирать всю волю в кулак, чтобы извлечь тот тайный смысл, который она вложила в свои скупые заметки, сознательно его затемнив с помощью дурацкого шифра.

«Шла сегодня по берегу реки и увидела, как одна женщина запускает воздушного змея, сделанного из фанеры и жестянок из-под масла. Вот уж никогда бы не подумала, что такая штуковина может взлететь! Огромная, как танк, пестро раскрашенная, на хвосте развеваются яркие ленты. Я решила... – в этом месте несколько слов растворились в нечаянно оброненной капле оливкового масла, насквозь пропитавшего бумагу, так что от чернил остался лишь сиреневый след, – но она залезла на перекладину изгороди и хорошенько размахнулась. Змей так и взмыл в воздух. Я сперва не признала ее, хоть мне и показалось, что это вроде бы Минетт, однако...» Еще одно масляное пятно, куда большего размера, скрывает остальную часть фразы, хотя несколько слов еще можно с трудом разобрать, например слово «красивый». Чуть выше, поперек истории о воздушном змее, самым обычным, довольно крупным почерком написано: «качели». А ниже кое-как нацарапан весьма невнятный рисунок или чертеж, который мог бы обозначать практически что угодно, но, скорее всего, изображает человечка – типа «палка, палка, огуречик...», – который стоит на чем-то вроде свастики.

Впрочем, это не имеет значения. Никакой женщины с воздушным змеем не было. Даже упоминание о Минетт не имеет смысла; единственная Минетт, которую мы когда-либо знали, – это дальняя родственница нашего отца, старуха, которую люди по доброте душевной называли немного эксцентричной. И это еще очень мягко; бабулька, например, своих многочисленных кошек называла «малютки мои» и порой в общественном месте кормила грудью котят, ничуть при этом не смущаясь и преспокойно выставляя напоказ свою безобразную, обвисшую плоть, похожую на пустой мешок.

Это я просто для того, чтобы вы поняли: в дневнике матери полно самых разнообразных фантастических историй. Она, например, описывает свои встречи с давно умершими людьми, или мешает сон с явью, или же выдает за реальные факты собственные мечты. А иногда зачем-то меняет самые простые, обыденные вещи, до невозможности искажая события; у нее дождливые дни превращаются в ясные; или вдруг в доме появляется сторожевая собака; или до занудливости подробно описываются такие разговоры с нами, которых мы с ней на самом деле не вели; или приходит в гости подруга, которой давным-давно нет на свете, и целует ее. Иногда мать так искусно смешивает правду и вымысел, что даже мне не всегда удается отличить одно от другого, но явно не преследует при этом никакой конкретной цели. Может, это в ней говорила ее болезнь? Может быть, это следствие ее приверженности к морфию? По-моему, ее альбом вообще не предназначался для чужих глаз, только для ее собственных. Во всяком случае, ее записи нельзя воспринимать как мемуары. Да, порой это почти дневник, однако не совсем, ведь нарушение временной последовательности лишает повествование не только логики, но, в общем, и смысла. Возможно, именно поэтому я долго не могла увидеть то, что прямо-таки бросается в глаза, понять мотивы ее поведения и услышать в них ужасное эхо моих собственных поступков. Порой смысл той или иной фразы оказывается скрыт как бы дважды, поскольку мать не только втиснула эту запись между строчками очередного кулинарного рецепта, но и сделала ее чрезвычайно мелким и неровным почерком. По-моему, она нарочно так поступала. Надеюсь, что впоследствии разобраться во всем смогу только я одна. И это останется между нами. Так может, это труд во имя любви?

«Конфитюр из зеленых помидоров. Порезать зеленые помидоры кусочками, как яблоки, взвесить и сложить в тазик для варки варенья, 1 кг сахара на 1 кг помидоров. Сегодня опять проснулась в три утра и пошла искать таблетки. Совсем забыла, что их у меня больше нет. Когда сахар растает, можно, чтоб не подгорало, добавить 2 стакана воды, все хорошенько перемешать деревянной ложкой. Я все думаю, что, если снова сходить к Рафаэлю? Он, наверно, мог бы подыскать мне другого поставщика. К немцам я больше обращаться не решаюсь, нет, после случившегося ни за что; лучше умереть. Потом можно добавить еще помидоров и дать немного покипеть, постоянно помешивая и время от времени снимая пену шумовкой. Иногда мне кажется, что лучше уж действительно умереть, чем так жить. По крайней мере, тогда не нужно будет беспокоиться о том, как снова проснуться, ха-ха-ха. Но я постоянно

размышляю о детях. Боюсь, Прекрасная Иоланда подхватила грибок. Придется выкопать и обрубить зараженные корни, иначе заболит все дерево. Варить конфитюр на слабом огне часа два, может, чуть меньше. Когда жидкость перестанет растекаться по блюдечку, конфитюр готов. Я так зла на себя, на него, на них. Больше всего на себя. Когда этот идиот Рафаэль стал мне рассказывать, пришлось до крови закусить губу, чтоб себя не выдать. Не думаю, впрочем, что он заметил. Я заявила ему, что мне и так все известно, что любой девчонке попасть в беду ничего не стоит, что никаких неприятных последствий не было. Он, кажется, вздохнул с облегчением; зато я, стоило ему уйти, взяла большой топор и до полного изнеможения рубила дрова; и все думала: жаль, что по его физиономии не могу съездить топором».

Видите, какая каша? Лишь хорошенько вспомнив, что к чему, начинаешь улавливать в подобных записях какой-то смысл. И разумеется, нигде ни слова о том, что за разговор был у нее с Рафаэлем. Я могу лишь вообразить, как это происходило: он был испуган и встревожен, а она слушала его с каменным, бесстрастным выражением лица и молчала. Он чувствовал себя виноватым, ведь, в конце концов, это случилось в его кафе, но правды мать ему ни за что бы не открыла. И то, что она притворилась, будто все знает, было просто защитной мерой, она как бы ограждала себя от ненужных забот с его стороны. Рен и сама вполне может о себе позаботиться – так, должно быть, она ответила. И потом, ничего особенного не случилось, правда? Хорошо, Рен постарается вести себя более осторожно и осмотрительно. В общем, слава богу, мы еще легко отделались.

«Т. уверяет, что он ни при чем, но, по словам Рафаэля, он стоял рядом и ничего не предпринимал, потому что эти немцы – его приятели. Возможно даже, они ему и за Рен заплатили, как за тех женщин, которых он привез с собой из города».

Нашу подозрительность усыпило то, что мать никогда при нас не упоминала о случившемся. Возможно, она просто не могла себя заставить затронуть с нами, своими детьми, эту тему; ее острое отвращение ко всему связанному с отправлениями человеческого тела было нам хорошо известно; а может, она решила, что лучше просто постараться поскорее обо всем забыть. Но в дневнике она обнажает те эмоции, что бушевали в ее душе: бешеный гнев, неукротимую ярость, мечты о кровавой мести. «Как

бы мне хотелось изрубить его на мелкие кусочки, чтоб от него одно мокрое место осталось!» – пишет она. Когда я впервые это прочла, то не сомневалась, что она имеет в виду Рафаэля, но теперь я уже далеко не так в этом убеждена, ведь сила ее ненависти свидетельствует об иных чувствах, более глубоких и мрачных. Возможно, она свидетельствует о предательстве. Или о растоптанной любви.

«Руки у него оказались нежней, чем я думала, – пишет она под рецептом яблочного торта. – Он и выглядит-то совсем мальчишкой, а глаза в точности такого цвета, как море в ненастный день. Мне казалось, я все это возненавижу и его возненавижу, но его нежность препятствует этому. Нежность в немце? С ума я, что ли, сошла? И ведь верю всему, что он обещает. Я, конечно, намного старше, однако не так уж и стара! Так может, время еще есть?»

И больше ничего, словно она вдруг устыдилась собственной откровенности. Но теперь я всюду нахожу множество мелких свидетельств тех же чувств, поскольку знаю, где искать. Они разбросаны по всему альбому – отдельные слова, фразы, перемежающиеся рецептами и напоминаниями о том, что нужно сделать в саду и огороде, мысли, зашифрованные даже от нее самой. И те ее стихи:

Ах, эта сладость,
Во мне скопившаяся!
Она подобна соку яркого плода...

Долгие годы я считала, что эти строки – лишь плод ее воображения, как и многое другое, о чем она говорит в альбоме. У моей матери попросту не могло быть никакого любовника! Ей не хватало этой способности, этого умения любить, быть ласковой. Созданные ею оборонительные сооружения были слишком прочны; а ее чувственные импульсы сублимировались в кулинарные рецепты, в создание какого-нибудь идеального блюда вроде *lentilles cuisinées* или *crème brûlée*^[71]. Мне и в голову никогда не приходило, что в этих столь не свойственных ей фантазиях есть доля правды. Когда я вспоминаю кислое выражение ее лица, вечно опущенные уголки губ, резкие линии скул, туго стянутые на затылке волосы, мне даже та история о женщине с воздушным змеем представляется более правдоподобной.

И все же я наконец поняла, что это не просто фантазии. Возможно,

благодаря Полю. Возможно, в тот самый день, когда обнаружила, что с удовольствием смотрюсь в зеркало, повязав голову красным шарфом и надев кокетливо позванивающие сережки, которые Писташ подарила мне на день рождения, – я никогда их прежде не носила. Господи, мне ведь уже шестьдесят пять! Пора и честь знать. Но иной раз Поль так на меня смотрит, что мое старое сердце начинает тарахтеть, как тракторный мотор. Нет, это не та отчаянная, лихорадочная страсть, которая влекла меня к Томасу. И не то ощущение временной отсрочки смертного приговора, которое я получила в дар от Эрве. Нет, это нечто совсем иное: это ощущение покоя и глубокого удовлетворения – такое бывает, когда приготовленное по рецепту кушанье получается идеально: идеально легкое суфле, безупречный голландский соус. А еще уверенность в том, что любая женщина прекрасна в глазах любящего ее мужчины.

Я опять стала перед сном смазывать кремом руки и лицо, а недавно отыскала старую помаду, потрескавшуюся и комковатую от длительного бездействия, и слегка подкрасила губы; мне хотелось добавить им цвета. Потом, правда, виновато все стерла. Что это я делаю? Зачем? В шестьдесят пять просто неприлично думать о подобных вещах. Но даже строгому внутреннему голосу не удастся убедить меня. Я теперь более тщательно причесываюсь и закалываю волосы черепаховым гребнем. «Дурака только могила исправит», – сердито твержу я себе.

А ведь мать была почти на тридцать лет меня моложе.

Теперь, глядя на ее фотографию, я уже могу испытывать некое странное теплое чувство. Та смесь горечи и вины, что столько лет жила в моем сердце, незаметно улеглась, утихла, и я наконец могу по-настоящему изучить ее лицо. Мирабель Дартижан. Взгляд замкнутый, губы поджаты, волосы так зверски стянуты на затылке, что больно смотреть. Чего она боялась, эта одинокая женщина с фотографии? Та Мирабель Дартижан, что в альбоме, совсем другая; там она тоскует, изливая свои чувства в стихах, от души смеется и яростно негодует, но всегда прячет истинное лицо под маской; там, в своих фантазиях, она то кокетливая, то склонная к холодному убийству. Теперь я вижу ее очень отчетливо: ей еще нет сорока; волосы лишь слегка тронуты сединой, темные глаза сияют. Проведенная в бесконечных трудах жизнь еще не успела согнуть ей спину, и ее сильные руки по-прежнему красивы и округлы; и груди ее тоже округлы и упруги, хоть она прячет их под сменяющимися друг друга строгими серыми фартуками. И порой, рассматривая свое обнаженное тело в зеркале, вделанном в дверцу гардероба, она размышляет о том, что впереди долгое одинокое вдовство и старость, а молодость вскоре начнет отваливаться от

ее тела буквально кусками: живот провиснет, на бедрах возникнут некрасивые складки, ляжки, наоборот, отощат, и под ними будут некрасиво торчать опухшие от ревматизма колени. «Мне так мало осталось», – говорит себе эта женщина, и я почти слышу ее голос, перелистывая страницы дневника. Так мало осталось.

Да и кто может прийти к ней, жди она хоть сто лет? Старый Лекоз со слезящимися похотливыми глазками? Или Альфонс Фенуй, или Жан-Пьер Трюриан? Нет, она втайне мечтает о незнакомце с нежным тихим голосом. Это он предстает перед ее мысленным взором, только он способен увидеть ее такой, какой она могла бы быть, а не такой, какой она стала.

Конечно, я никак не могу узнать, что она чувствовала на самом деле, но мне кажется, что сейчас я намного ближе к ней. Так близки мы не были никогда; именно поэтому я и слышу теперь ее голос, звучащий с растрепанных страниц альбома, хотя она и там пытается скрыть свое женское естество, спрятать за холодным фасадом свою страстную душу, свое отчаяние.

Вы же понимаете, что это всего лишь мои предположения. Она ведь ни разу не называет его по имени. И я никак не могу утверждать, что у нее действительно был любовник, а если и был, это совсем необязательно Томас Лейбниц. И все-таки внутренний голос подсказывает мне, что если в деталях я и ошибаюсь, то по сути права. Да нет, уверяю я себя, это мог быть кто угодно, мужчин вокруг хватало. Но в глубине души знаю: этим мужчиной мог быть только Томас. Наверно, я гораздо больше похожа на нее, чем мне хотелось бы. И она, возможно, прекрасно это понимала, потому и оставила свой альбом мне – чтобы и я попыталась ее понять.

Может, этим она даже хотела положить конец нашей бесконечной войне.

Мы не виделись с Томасом почти две недели – с того самого вечера, когда в «La Mauvaise Réputation» были танцы. Отчасти из-за матери, по-прежнему полубезумной от бессонницы и головных болей, отчасти из-за того, что сами почувствовали: что-то в наших отношениях изменилось. Мы трое переживали это по-разному: Кассис прятался за своими комиксами, Рен замкнулась и стала непривычно молчаливой. Я тоже страдала. Как же нам всем троим не терпелось его увидеть! Мы мечтали об этом! Любовь ведь нельзя просто взять и выключить, как воду в кране. И мы уже начинали – каждый по-своему – оправдывать его поступок, точнее, его подстрекательство.

Но призрак старого Гюстава Бошана всплывал со дна наших душ, точно грозная тень морского чудища, и тень эта накрыла всю нашу дальнейшую жизнь. Мы снова приняли Поля в игры, и все вроде бы стало почти так же, как до знакомства с Томасом, только игра у нас не клеилась, мы были какими-то вялыми, тщетно пытаюсь возродить прошлый энтузиазм и скрывая от самих себя тот факт, что интерес к былым затеям давно угас. Мы по-прежнему купались в реке, носились по лесу, лазили по деревьям, но сколь бы энергично мы это ни делали, за всеми нашими развлечениями стояло одно: ожидание. Мы ждали, страдая, ждали с мучительным нетерпением, когда же снова приедет Томас. И по-моему, все трое свято верили – даже после случившегося! – что он приедет и все снова наладится.

Уж я точно считала именно так. Он всегда был таким самостоятельным, таким нахально самоуверенным. Я неизменно представляла его себе с сигаретой в уголке губ, в лихо сдвинутой на затылок фуражке, с пляшущими в глазах солнечными зайчиками, с улыбкой, освещающей и его лицо, и весь мир вокруг.

Но наступил и миновал четверг, а Томас так и не появился. В дни школьных занятий Кассис всюду искал его – и в школе, и в других обычных местах. Но его не было нигде. Хауэр, Шварц и Хайнеман тоже странным образом пропали; нам даже стало казаться, что они избегают общения с нами. Наступил и миновал еще один четверг. Мы сделали вид, что не заметили этого. Болтая друг с другом, мы Томаса даже не упоминали, но про себя – во сне, в фантазиях – шептали его имя. Мы продолжали жить без него, продолжали делать вид, будто нам все равно, будто не имеет значения,

увидим мы его или нет. Я прямо-таки помешалась на рыбной ловле, задавшись целью непременно поймать Старую щуку. Я проверяла сети и верши раз по десять, а то и по двадцать на день и постоянно придумывала для нее новые ловушки. А чтобы приготовить более привлекательную, как мне казалось, приманку для этой твари, я краля продукты из кладовой и из подвала. Доплыв до Скалы сокровищ, я устраивалась там и часами сидела с удочкой, не сводя глаз с изящно изогнутого удилица и опущенной в воду лески и прислушиваясь к звукам реки, плещущейся у моих ног.

Рафаэль снова навестил мою мать. Дела в его кафе шли крайне плохо. На задней стене красной краской написали «Коллаборационист!», а однажды ночью кто-то кидался в окна кафе камнями, и теперь приходилось закрывать ставни. Я подслушивала под дверь, когда он жаловался на это матери.

– Это не моя вина, Мирабель, – внушал он ей тихим голосом. – Ты должна мне поверить. Я тут ни при чем.

В ответ мать буркнула что-то невразумительное.

– Не мог же я спорить с немцами, – снова раздался голос Рафаэля. – Мне приходится быть с ними обходительнее, чем с прочими клиентами. Кстати, не только один я с ними любезен.

Видимо, мать пожала плечами и равнодушно обронила:

– Да нет, у нас в деревне, пожалуй, один ты.

– Как ты можешь так говорить? Ведь было время, когда и ты была очень даже довольна...

Мать явно двинулась на него, и Рафаэль мгновенно умолк и отступил, задев угол посудного шкафчика, так что тарелки зазвенели.

– Заткнись, идиот, – яростно прошипела мать. – С этим покончено, ясно тебе? Покончено. И если я выясню, что ты хоть словом обмолвился...

Но Рафаэль, от страха став изжелта-бледным, все еще не сдавался.

– Я не позволю называть себя идиотом... – начал он дрожащим голосом, но мать тут же заткнула ему рот:

– Как захочу, так и буду тебя называть. Ты идиот, Рафаэль Креспен, а мать твоя – шлюха! – пронзительно выкрикнула она. – И нам обоим это прекрасно известно. К тому же ты не только дурак, но и трус. – Она подошла так близко к нему, что я почти не видела его лица, зато видела, как он протягивает к ней руки – словно в немой мольбе. – И учти: если ты или кто другой станет об этом болтать, вам и сам Господь Бог не поможет. А если мои дети из-за тебя хоть что-нибудь узнают... – В нашей крохотной кухне явственно слышалось ее дыхание, сухое и шелестящее, точно падающие осенние листья. – Тогда я просто убью тебя, – свистящим

шепотом закончила она.

Должно быть, Рафаэль ей поверил. Во всяком случае, когда он выходил от нас, лицо у него было иссиня-белое, цвета простокваши, а руки тряслись, и ему пришлось засунуть их поглубже в карманы.

– Любого мерзавца, который вздумает впутывать в эти грязные дела моих детей, я убью не раздумывая! – пригрозила ему мать напоследок.

Он вздрогнул, словно в него попали ядовитой стрелой.

– Убью любого из вас, мерзавцев! – повторила она, хотя Рафаэль был уже у ворот и вряд ли слышал ее; он почти бежал, низко опустив голову, словно в лицо ему дул сильный ветер.

Таковы были те слова, которые после против нас же и обернулись, породив настоящую охоту на нашу семью.

Мать потом весь день была на редкость злой. Даже Полю досталось от ее языка, когда он всего лишь спросил, выйдет ли Кассис гулять. Мать, которая после визита Рафаэля отмалчивалась, явно закипая все сильнее и сильнее, что грозило немалыми бедами, вдруг совершенно без причины с такой яростью обрушилась на Поля, что тот просто дар речи потерял; он лишь смотрел на нее во все глаза и беззвучно шевелил губами, мучительно пытаясь хоть что-то произнести:

– П-п-про... п-п-прос-тит-т-т-е, я п-п-просто...

– Да говори ты как следует, кретин чертов! – заорала мать срывающимся от злости голосом.

Мне показалось, что на мгновение в глазах Поля, всегда таких кротких, мелькнуло нечто дикое, даже свирепое. Он резко повернулся и, не издав больше ни звука, прыжками понесся к Луаре, на бегу выкрикивая что-то странное, протяжное, больше похожее на отчаянное улюлюканье.

– Скатертью дорога! – бросила мать ему вслед и захлопнула дверь.

– Зачем ты так? – упрекнула я мать, сердито глядя ей в спину. – Поль же не виноват, что заикается.

Она повернулась и посмотрела на меня; глаза у нее были совершенно непроницаемые, как черные агаты.

– Ну, ты-то, конечно, на его стороне, – каким-то тусклым голосом промолвила она. – Небось случись тебе выбирать между мной и фашистом, так ты предпочтешь фашиста.

Вот после этого нам и начали подбрасывать письма. Сперва под дверь подсунули сразу три. Все они были написаны кое-как на одинаковой почтовой бумаге в синюю линейку. Я случайно увидела, как мать подняла одно из посланий, но, заметив меня, тут же смяла его, сунула в карман фартука и грозно велела, чтоб я немедленно шла на кухню, чтоб духу моего тут не было, чтоб я взяла мыло и вымылась как следует, чтоб я всю себя хорошенько оттерла. И в голосе у нее звучали такие нотки, что я сразу вспомнила о запахе апельсина и о мешочке с заветными шкурками; в общем, я поспешила ретироваться, но про письмо не забыла, а значительно позже обнаружила его в материнном альбоме. Оно было вклеено между рецептом boudin noir^[72] и вырезкой из журнала, в которой давался совет, как выводить следы ваксы, и, конечно, я сразу его узнала.

«Нам все на ваш щёт извесна, – было написано вкривь и вкось мелкими дрожащими буквами. – Мы за вами следили и знаем как следует поступать со всякими колабрацинистами». Под этими строками мать размашисто написала красным карандашом: «Писать бы сперва выучились, ха-ха!», но эти слова, как ни странно, выглядели какими-то слишком яркими, слишком красными, словно она изо всех сил стремилась показать, что эти послания ничуть ее не трогают. Разумеется, она никогда с нами не обсуждала их, но теперь-то я понимаю, что зачастую ее резкие смены настроения как раз и были связаны с получением подобных писем. Во второй записке, тоже вклеенной матерью в альбом, был явный намек на то, что автору кое-что известно о наших встречах с Томасом.

«Видали мы тваих щенков с этим фрицем так что ни пытайся даже атрицать. Знаим какую игру ты зативаишь. Нибось думаишь больно умная стала умней всех ну так ни думай падстилка вонючих бошей а щенки тваи немцам прадукты прадают! Что, съела?»

Написать такое мог кто угодно. Ошибок, конечно, тьма и почерк корявый, но чей? Вполне возможно, кого-то из наших деревенских. Мать стала вести себя совсем уж странно: большую часть дня сидела дома, взаперти, и на каждого прохожего посматривала с подозрением, граничившим с паранойей.

Третье из сохранившихся посланий, по-моему, самое отвратительное.

И оно вроде было последним, больше нам писем не подбрасывали, хотя мать вполне могла их просто выкидывать не читая. И все же мне кажется, что это мерзкое письмишко было последним.

«Ты не заслуживаешь жизни падстилка фашиская! И тваи самадавольные щенки тоже. Нибось ты ни в курсе что они наших немцам выдают? Спросила бы откуда у них столько всякого добра. Они его в своем гнизде прячут в лису. А палучают от фрица по имени Либниц, вроде бы так его звать. Ты-то его нибось харашо знаишь. Ну а мы знаим тибя».

В ту же ночь кто-то нацарапал на нашей двери алую букву «С»^[73], а на стене курятника — «фашиская падстилка»; мы, конечно, сразу все покрасили, пока никто не увидел. И потянулся тот невероятно долгий октябрь.

Тем вечером мы с Полем возвращались из «La Mauvaise Réputation» поздно. Дождь прекратился, но было все еще зябко – то ли ночи стали прохладнее, то ли я с возрастом начала острее чувствовать холод. Я пребывала в дурном настроении, меня все раздражало, но чем больше я раздражалась, тем спокойнее становился Поль. Дело кончилось тем, что мы молча уставились друг на друга, сверкая глазами и пыхтя на ходу, как паровозы. Дыхание вылетало изо рта облачками белого пара.

– А ведь та девушка, – помолчав, заговорил Поль, как всегда неторопливо и задумчиво, словно беседуя сам с собой, – еще совсем молоденькая, да?

Я моментально вышла из себя. Какая еще, к черту, девушка? Вопрос Поля показался мне совершенно неуместным.

– Ты о чем? – рывкнула я. – Черт побери, Поль, я думала, ты нашел способ избавиться от этого Дессанжа с его вонючим фургоном, а ты, оказывается, просто на девчонок решил поглазеть!

Поль, однако, и бровью не повел; не реагируя на мои гневные вопли, он продолжал рассуждать:

– Она сидела с ним рядом, не могла ты не заметить ее. Такая – в красном платье, на высоких каблуках. И к его фургону она тоже часто приходит.

На самом деле я отлично запомнила эту девицу. Особенно ее пухлые, ярко накрашенные губы под спадающей на лицо прядью черных волос. Одна из постоянных клиенток Люка. И явно из города.

– Ну, помню. И что?

– А то, что она дочка Луи Рамондена. Они с матерью – ну, с Симоной, женой Луи – после развода переехали в Анже. Года два назад. Если б ты увидела их вместе, сразу бы вспомнила. – И, как бы подтверждая правильность моих догадок, Поль кивнул, словно я ответила ему нормально, а не буркнула что-то нечленораздельное. – Симона снова носит девичью фамилию: Трюриан, – спокойно сообщил он. – А дочке их лет четырнадцать-пятнадцать, не больше.

– Ну и что?

Я по-прежнему не понимала, почему его так интересует дочка Луи. Вытащив из кармана ключ, я вставила его в замок, а Поль все не умолкал.

– Да, точно, ей никак не больше пятнадцати!

– Очень за нее рада! – снова рассердилась я. – И за тебя тоже. Просто замечательно, что ты нашел как скоротать скучный вечерок. Жаль только, спросить не успел, какой у нее размер обуви, тогда тебе действительно было бы о чем помечтать.

Поль посмотрел на меня, лениво усмехнулся и заявил:

– А ведь ты, пожалуй, ревнуешь.

– Вот еще! – Я с достоинством от него отвернулась. – Но если уж ты решил слюни распустить, так распускай их где-нибудь в другом месте, а не у меня на ковре, старый ты грязный развратник!

– Я вот подумал... – неторопливо начал Поль.

– Слава богу! Ты, оказывается, еще и думать умеешь!

– Я подумал, что Рамондену – он ведь все-таки полицейский – интересно будет узнать, что его дочка – в свои-то пятнадцать, а может, и четырнадцать – путается с мужиком. Между прочим, с женатым мужиком. И зовут его Люк Дессанж. – Поль искоса на меня взглянул, победоносно и чуть насмешливо. – Понимаю, времена здорово переменились по сравнению с нашей молодостью. Но отец, если его дочка... тем более полицейский...

– Поль! – охнула я.

– А девчонка к тому же балуется этими сигаретами со сладеньким запахом, – прибавил он по-прежнему задумчиво. – Ну, помнишь, которые когда-то все больше в джаз-клубах покуривали.

Я с восхищением уставилась на него.

– Гениально! Поль, ты настоящий детектив!

Он скромно пожал плечами.

– Так, кое-кого порасспросил. Уверен был, что рано или поздно что-нибудь да всплывет. – Он сделал паузу и пояснил: – Вот почему я немного задержался в кафе. Сомневался, смогу ли уговорить Луи пойти и собственными глазами все увидеть.

У меня прямо-таки рот от изумления открылся.

– Так ты и Луи сумел туда притащить? Это пока я ждала снаружи?

Поль кивнул.

– Притворился, будто у меня бумажник в баре стянули. Чтоб он уж точно пошел. – Поль снова помолчал. – Когда мы появились, его дочка как раз целовалась с Дессанжем. Очень даже кстати.

– Поль, – торжественно провозгласила я, – в этом доме ты можешь пускать слюни на любой ковер, на какой пожелаешь. Даю тебе на это полное право.

– Я бы лучше, глядя на тебя, слюни распустил, – пошутил Поль с

совершенно нелепой ухмылкой.
– Ах ты, старый развратник!

Когда на следующий день Люк подошел к своему фургону, там его уже поджидал Луи Рамонден в полицейской форме; на лице его, довольно добродушном, хотя и не слишком умном, застыло выражение полнейшего равнодушия, точно он «находился при исполнении». Рядом с фургоном на траве стоял какой-то странный предмет, напоминавший детскую коляску.

– Смотри, что сейчас будет, – позвал меня Поль, устраиваясь у окна.

На минутку я отошла от плиты, где уже закипал кофе.

– Представление начинается, – предупредил Поль.

Окно было чуть приоткрыто, и в щель проникал дымный запах тумана с Луары, плывущего по окрестным полям. Этот запах всегда вызывал у меня такое же щемящее чувство, как и запах осенних костров из сухой листвы.

– Привет, – совершенно отчетливо раздался голос Люка.

Он подошел к фургону с небрежной уверенностью человека, абсолютно не сомневающегося в собственной неотразимости. Впрочем, на Луи Рамондена неотразимость Люка, кажется, не действовала; его взгляд остался по-прежнему бесстрастным.

– Что это он такое притащил? – тихо спросила я у Поля, указав на странное устройство на колесах, прятавшееся в траве.

– Ты не отвлекайся, – посоветовал Поль с усмешкой.

– Эй, как дела? – Люк сунул руку в карман в поисках ключей. – Спешешь? Хочешь поскорее позавтракать? Давно ждешь?

Луи продолжал смотреть на него, не издавая ни звука.

– Тогда слушай. – Люк широким жестом обвел витрину. – Блинчики, крестьянская колбаса, яичница с беконом по-английски. В общем, «завтрак у Дессанжа». Плюс большая чашка самого черного, самого крепкого кофе. Можно сказать, *café noirissime*^[74]. Я же вижу, тебе этой ночью явно пришлось потрудиться. – Он рассмеялся. – Что случилось-то? Свалка на церковном благотворительном базаре? Или, может, кто-то соблазнил местную овечку? Или она сама кого совратила?

Однако Луи по-прежнему молчал. И стоял как вкопанный, точно игрушечный полицейский, одной рукой опершись о ручку своей странной тележки, похожей на детскую коляску.

Пожав плечами, Люк открыл дверь вагончика.

– Ладно, надеюсь, ты все-таки обретишь дар речи, когда отведаешь

«завтрак Дессанжа».

Мы еще несколько минут наблюдали, как Люк натягивает тент, как выносит и развешивает ценники и всякие рекламные листовки, как прикрепляет к стенке сегодняшнее меню. Луи по-прежнему словно застыл и, казалось, ничего вокруг не замечает. Время от времени Люк напевал что-то веселое, поглядывая на молчавшего полицейского, потом включил радио, и оттуда полилась бодрая музыка.

– Чего он ждет? – нетерпеливо спросила я. – Стоит как воды в рот набрал, даже не скажет ничего.

– Ты погоди, – усмехнулся Поль. – Рамондены всегда медленно запрягают, но уж как поедут...

Еще по крайней мере минут десять Луи выжидал. К тому времени уже чувствовалось, что Люк хоть и не утратил прежней веселости, но все же немного растерялся; во всяком случае, оставив все попытки завести с полицейским беседу, он лихо сдвинул на затылок бумажную шапчонку и принялся побыстрее разогревать сковородки для блинов. Луи тоже наконец сдвинулся с места; впрочем, он всего лишь обогнул фургон и исчез за ним вместе с тележкой.

– Что он такое за собой возит? – недоумевала я.

– Гидравлический домкрат, – с улыбкой ответил Поль. – Такие используют в гаражах, чтобы переворачивать вверх дном машины. Ты смотри, смотри.

И мы стали смотреть. Вскоре фургон медленно-медленно начал клониться вперед. Сначала почти незаметно, но потом вдруг так качнулся, что Дессанж мигом выскочил из кухоньки, прямо-таки проворней хорька; он и с виду напоминал разъяренного и перепуганного хорька. Впервые за все это время кто-то осмелился по-настоящему его потревожить, впервые он почувствовал угрозу, и я наблюдала за происходящим с нескрываемым удовлетворением.

– Какого черта? Ты что это делаешь? – заорал Люк, с изумлением уставившись на Луи Рамондена. – Что это за шутки?

Ответом было молчание. Фургон снова качнулся, но несильно. Мы с Полем, вытянув шеи, во все глаза следили за действиями Люка и Луи.

Люк быстро осмотрел свой фургон, чтобы понять, насколько тот пострадал. Полотняный навес висел криво, сам фургон наклонился вперед, как пьяный, – точно шалаш, который дети по незнанию построили на песке. Лицо Люка переменилось, на нем возникло уже знакомое мне выражение: жесткое, расчетливое, настороженное, как у человека, который не только спрятал в рукав козырной туз, но и уверен, что вся колода у него.

– Ну ты меня и напугал! – воскликнул он прежним, беззаботным тоном. – Нет, ей-богу, напугал. Я прямо обалдел!

Луи так и не проронил ни слова, но нам показалось, что фургон еще немного наклонился вперед. Потом Поль позвал меня в спальню – оттуда, как оказалось, была лучше видна задняя часть фургона, и мы переместились туда. Голос Люка в холодном утреннем воздухе звучал негромко, но и в спальне мы довольно хорошо его слышали.

– Ну хватит, старина, – продолжал Люк, уже с трудом скрывая нервозность. – Пошутил, и довольно. Поставь, пожалуйста, фургон обратно, а я приготовлю тебе свой фирменный завтрак. За счет заведения.

Луи посмотрел на него и учтиво произнес:

– Конечно, месье.

Фургон еще немного наклонился вперед. Люк дернулся, словно надеясь его удержать.

– Я бы на вашем месте, месье, отошел в сторонку, – почти ласково посоветовал ему Луи. – По мне, так закусочная ваша сейчас не больно устойчива.

– Что ты тут такое затеваешь? – Люк явно начал сердиться. – Что еще за игры?

Полицейский только улыбнулся и снова нажал ногой на педаль домкрата.

– Ночь вчера уж очень ветреная была, месье, – преспокойно промолвил он. – У реки, знаете ли, столько деревьев ветром повалило.

Я хорошо видела, как от этой фразы застыло лицо Люка. Да и сам он прямо-таки окаменел, только голова от сдерживаемой ярости непроизвольно дергалась, как у петуха, готового к драке. Выглядел он так себе. Ростом, может, и повыше Луи, но по сравнению с ним куда более худосочный. Луи-то коренастый, крепкий, очень похожий на своего двоюродного деда Гильерма. Он всю жизнь, по сути, только и делал, что участвовал в драках, потому и в полицию пошел служить. Люк шагнул к нему и тихим угрожающим голосом потребовал:

– Сейчас же прекрати все это! И домкрат убери!

– Конечно, месье, – улыбнулся Луи. – Как угодно.

Дальше все происходило как в кино при замедленной съемке. Автофургон, опасно накренившийся вперед, резко качнулся назад, стоило Луи убрать из-под него опору, и тут же раздался оглушительный грохот – это с полок посыпались тарелки, стаканы, кухонная посуда, сковородки и припасы. Под звон бьющейся посуды все это откатилось к задней стенке, а сам фургон продолжал плавно заваливаться назад под воздействием

собственной силы тяжести и сместившегося кухонного оборудования. В течение нескольких минут нам еще казалось, что он может вернуться в прежнее, нормальное положение, затем он тяжело накренился на один бок и рухнул на обочину с таким грохотом, что у нас внизу в буфете зазвенели чайные чашки, да и весь наш дом вздрогнул.

Несколько секунд Луи и Люк молча смотрели друг на друга, первый с выражением искреннего сожаления, даже жалости, второй – не веря собственным глазам и постепенно наливаясь бешенством. Автофургон лежал на боку в высокой траве, и в брюхе у него еще продолжало звякать и потрескивать.

– Оп-ля! – подытожил Луи.

Люк яростно рванулся к нему. Несколько мгновений лишь мелькали руки и сжатые кулаки; все это двигалось слишком быстро, невозможно было что-то разобрать. Затем я увидела, что Люк сидит на траве, закрыв руками лицо, а Луи с доброжелательным и участливым выражением лица помогает ему подняться.

– Боже мой, месье, как же это могло случиться? Вы вроде как на минуточку отключились, верно? Ничего страшного, просто шок, это вполне нормально, успокойтесь.

– Да... ты... хоть представляешь себе... черт тебя подери... что ты натворил, козел вонючий? – шипел от злости Люк.

Это я уже с трудом расслышала, потому что рук от лица он так и не отнял. Поль потом говорил, что Луи заехал ему прямо локтем в переносицу, но я-то этого заметить не успела, уж больно молниеносно все произошло. А жаль. Я бы с удовольствием понаблюдала!

– Да мой адвокат тебя как липку обдерет, подонок! Посмотрим, что ты тогда запоешь! Вот дерьмо! Так ведь я и до смерти кровью истеку.

Странно, но именно теперь я различила в его голосе знакомые фамильные нотки, причем куда более явственно, чем прежде. Было что-то особенное в том, как он растягивает гласные; и интонации у него были такие противные, капризные, как у испорченного городского мальчишки, которому никогда ни в чем не отказывали. В эти минуты я могла бы поклясться, что голос Люка звучит в точности как у его сестрицы.

Мы с Полем спустились вниз – вряд ли у нас хватило бы терпения еще выжидать, оставаясь в доме, – и вышли на дорогу, чтобы досмотреть представление до конца. Люк стоял рядом с фургоном, вид у него был весьма плачевный: из носа капала кровь, из глаз текли слезы. Обнаружив, что он выпачкал дорогие парижские туфли, угодив ногой в свежее собачье дерьмо, я протянула ему носовой платок. Он с подозрением на меня

взглянул, но платок взял и тут же принялся промокать нос. Клянусь, он так ничего и не понял; на его бледном лице застыло упрямое и весьма воинственное выражение. В целом у него был вид человека, имеющего за спиной и юристов, и советчиков, и высокопоставленных друзей, к помощи которых в любой момент можно прибегнуть.

– Вы это видели? – пожаловался он нам. – Видели, что этот козел со мной сотворил? – Люк посмотрел на окровавленный платок, словно не веря собственным глазам. Нос у него уже прилично распух, да и глаза тоже. – Вы ведь были свидетелями, как он ударил меня, верно? Ударил ни за что, среди бела дня! Да я засужу тебя, мерзавец! Как липку тебя обдеру!

– Сам-то я почти ничего не видел, – отозвался Поль, как всегда неторопливо. – Мы люди старые, зрение у нас уже слабовато. Да и слух не больно хорош.

– Но вы же смотрели! – настаивал Люк. – Вы должны были все видеть! – Заметив мою усмешку, он злобно прищурился. – О, теперь до меня дошло, в чем тут дело! Решили подговорить вашего полицейского-взяточника, чтобы он припугнул меня, так, да? – Он гневно взглянул на Луи. – Ну, если вы ничего умней не придумали...

Он зажал себе нос, пытаясь остановить кровь.

– Не думаю, месье, что у вас есть основания для подобных обвинений. Это клевета, – твердо заявил Луи.

– Ах, ты не думаешь? – взвился Люк. – Значит, клевета? Когда мой адвокат...

Но Луи перебил его:

– Вы, конечно, расстроены, месье. Надо же, какой ветер! Практически сдул ваше кафе. Понимаю вас. В подобном состоянии и не такое ляпнешь. Вы просто не отдаете себе отчета, что несете, месье.

Люк ошалело уставился на него, не веря собственным ушам.

– Ужасная вчера ночь выдалась, – ласково проворковал Поль. – Первая октябрьская буря. Не сомневаюсь, у вас есть все основания требовать возмещения страховки.

– Конечно, этого и следовало ожидать, – вмешалась я. – Такой высоченный фургон да на открытой всем ветрам обочине! Остается только удивляться, как он раньше-то не упал.

– Все ясно, – негромко произнес Люк. – Неплохо, Фрамбуаза. Очень неплохо. Поздравляю, вы как следует потрудились. – Теперь его голос звучал почти миролюбиво. – Не хочу вас пугать, но даже и без этого фургона я на многое способен. Мы на многое способны. – Он попытался улыбнуться, однако сморщился от боли и снова промокнул кровоточивший

нос. – Вам бы лучше сразу отдать то, что им нужно от вас, тетушка. Ну, что вы на это скажете, тетушка Фрамбуаза?

Даже не знаю, могла ли я в ту минуту что-то сказать. Я смотрела на него и чувствовала себя старой, очень старой. Я ведь ожидала застать его побежденным, но он не сдавался и выглядел еще более наглым, чем обычно; на его смазливой физиономии было написано насмешливое ожидание. Это был мой лучший выстрел – наш с Полем лучший выстрел, – однако мы, судя по всему, так в цель и не попали: Люк казался неуязвимым, а мы вели себя как дети, которые пытаются запрудить реку. Да, мы, конечно, пережили свой момент славы – засвидетельствовали страх у него на лице, – и уже одно это стоило всех наших усилий; однако сколько бы мы ни старались, река-то все равно окажется сильнее нас. И я подумала: ведь Луи тоже провел детство на берегах Луары, так что должен понимать это. А теперь единственное, чего он добился, – это кучи неприятностей себе на голову. Я прямо-таки видела, как на нас ринется целая армия юристов, консультантов, полицейских... как наши имена появятся в газетах... и там будут описаны все наши происки... На меня разом навалилась жуткая усталость.

И тут я обнаружила, что Поль улыбается. Ну да, улыбается этой своей ленивой улыбкой, которая придает ему вид чуть ли не придурка, если не обращать внимания, как хитро поблескивают его прищуренные глаза. Берет он совсем на лоб натянул – смешным таким жестом, но одновременно и бравым, точно старый рыцарь в финале комедии, когда он решительно опускает забрало перед последней схваткой с врагом. И мне вдруг нестерпимо захотелось расхохотаться.

– Думаю, мы могли бы... как бы это выразиться?.. в общем, по-хорошему во всем разобраться, – заявил Поль. – Может, Луи слегка и перестарался. Все они, Рамондены, немного, ну, на руку скоры. Горячи больно, это у них в крови. – Он с извиняющимся видом повернулся к полицейскому. – Вот и с Гильермом тоже был случай... он ведь вроде как брат твоей бабки?

Дессанж слушал все это презрительно, с явно растущим раздражением.

– Брат деда, – уточнил Луи.

– Ага, – кивнул Поль. – Ну вот я и говорю: у всех Рамонденов кровь горячая. Все они такие. – Он снова стал глотать согласные, как все здешние крестьяне; именно этого моя мать в нем терпеть не могла: и эту «кашу во рту», и его заикание. Но сейчас местный акцент в его устах звучал как-то особенно явно, нарочито, такого я даже в детстве за ним не замечала. –

Помню, как он, старый Гильерм то бишь, собрал толпу молодчиков да к этой вот ферме пожаловал, а сам впереди всех со своей деревянной ногой. И все из-за той истории в «La Mauvaise Réputation». Кажется, это заведение и поныне пользуется дурной репутацией.

Люк пожал плечами.

– Валяйте, я с удовольствием послушаю ваши «Избранные сельские истории былых времен». Только лучше бы не сейчас. А сейчас мне бы хотелось...

– А ведь там тоже все один молодой человек начал, – невозмутимо продолжал Поль. – Очень даже на вас похожий. Тоже из города, ага. И вид у него был такой... нездешний. Иностранец, наверно. Так вот, он тоже не сомневался, что может нас, бедных глупых луарцев, обвести вокруг пальца. – Поль быстро на меня взглянул, словно проверяя по моему лицу уровень эмоционального накала, и обратился ко мне: – А ведь он плохо кончил, верно? Ты помнишь?

– Хуже некуда, – подтвердила я вдруг охрипшим голосом. – Просто хуже некуда.

Люк насторожился; теперь он смотрел то на Поля, то на меня, не понимая, к чему мы клоним.

– И что дальше? – поторопил он.

– А то, что он, как и вы, уж больно любил молоденьких девчонок, – пояснила я и не узнала собственного голоса, таким он показался мне глухим и невнятным. А может, у меня просто уши от волнения заложило? – Все забавлялся с ними. Использовал их, чтобы побольше выведать. Теперь это называется «совращение малолетних».

– Правда, у тех девочек по большей части и отцов-то не было, – негромко добавил Поль. – На войне поубивали.

В глазах Люка блеснула искра понимания. Он слегка кивнул, словно ставя точку, и спросил:

– Это имеет какое-то отношение ко вчерашнему вечеру?

Однако я ответила вопросом на вопрос:

– Вы ведь женаты, верно?

Он снова кивнул.

– Очень жаль, если вашей жене придется участвовать в подобном разбирательстве, – посетовала я. – Совращение малолетних – дело грязное. Но вряд ли ей удастся избежать участия в расследовании.

– И не надейтесь пришить мне это дело! – возмутился Люк. – Та девица не станет...

– Та девица – моя дочь, – просто сообщил Луи. – И станет делать то,

что... ну, скажем... сочтет правильным.

На это Люк снова кивнул, весьма холодно и сдержанно, надо признаться.

– Прекрасно. – Он ухитрился слегка улыбнуться. – Просто прекрасно. Вот теперь я все понял.

Несмотря ни на что, он, казалось, даже испытал некое облегчение; а бледен был скорее от сдерживаемого гнева, чем от страха. Глядя мне прямо в глаза, он насмешливо изогнул губы в улыбке и произнес с нажимом:

– Полагаю, тетушка Фрамбуаза, вы не жалеете об одержанной победе? Хотя не далее как завтра вам придется искать защиты и утешения везде, где только возможно, ведь не далее как завтра вашу маленькую, но весьма печальную тайну выплеснут на страницы всех газет и журналов страны. Мне как раз хватит времени для пары телефонных звонков, прежде чем я отсюда уеду. В конце концов, мне, по правде, тоже все это здорово наскучило. А если наш общий друг Луи полагает, что та маленькая сучонка, его драгоценная дочечка, хоть в какой-то степени сумела сделать мое пребывание здесь сносным...

Он замолчал, злобно усмехнулся, глядя на Луи, и вдруг охнул: полицейский в один миг защелкнул на нем наручники – сначала на одной руке, потом на другой.

– Это еще что такое? – проговорил Люк почти со смехом в голосе; судя по всему, у него начиналась истерика, он еще не верил собственным глазам. – Какого черта? Что это вы творите? Хотите к списку преступлений еще и похищение добавить? Вы что, на Диком Западе?

Луи с каменным выражением лица посмотрел на него и строго изрек:

– Обязан предупредить вас, месье: сопротивление и нанесение оскорблений полицейскому при исполнении карается законом; обязан также предупредить, что...

– Что? – Теперь Люк почти кричал. – Какое еще сопротивление? Это ты ударил меня! Ты не можешь...

Полицейский взглянул на него с ласковым упреком.

– У меня есть все основания полагать, месье, что, судя по вашему буйному поведению, вы либо пребываете в состоянии алкогольного опьянения, либо находитесь под воздействием какого-то иного возбуждающего препарата, возможно наркотика, и в целях вашей же собственной безопасности я обязан доставить вас под надзор полиции.

– Ты арестуешь меня? – недоверчиво поинтересовался Люк. – Ты смеешь предъявлять мне обвинения?

– Пока нет, но, возможно, месье, мне придется это сделать, – по-

прежнему с ласковым упреком сказал Луи. – И я уверен: эти двое свидетелей подтвердят, что вы вели себя оскорбительно, угрожали мне, употребляли нецензурные выражения и нарушали общественный порядок. – Он мотнул головой в мою сторону. – Так что мне придется приказать вам, месье, проследовать со мной в полицейский участок.

– Да нет тут у вас никакого сраного участка! – завопил Люк.

– Луи использует подвал своего дома для арестованных пьяниц и дебоширов, – тихо пояснил Поль. – У нас и впрямь давно нет своего участка, с тех самых пор, как Гюгюст Тинон ударился в загул, уж лет пять, наверно...

– Зато у меня есть подпол, где я зимой храню овощи, – нахально вмешалась я. – И мой подпол, Луи, в полном твоём распоряжении, если ты опасаешься, что этот парень может отключиться и не добраться до деревни. Замок у меня там хороший, крепкий, а увечье себе причинить он в пустом погребе ничем не сможет.

Луи сделал вид, что обдумывает мое предложение.

– Благодарю вас, вдова Симон, – ответил он вежливо. – Пожалуй, так и впрямь будет лучше. По крайней мере, пока я не выясню, куда мне потом его везти.

Он критически осмотрел Дессанжа. Тот был бледен уже не только от гнева и тихо промолвил:

– Вы все просто спятили.

– Но сперва мне, конечно, – спокойно продолжал Луи, – придется вас обыскать. А то вдруг вы тут дом подожжете или еще что. Не могли бы вы вынуть все из карманов, месье? Прошу вас.

– Нет, просто не верится, – пробормотал Люк.

– Извините, месье, – настаивал Луи, – но я вынужден попросить вас предъявить содержимое ваших карманов.

– «Вынужден попросить», надо же, – с кислым видом передразнил его Люк. – Не понимаю, чего вы добиваетесь, устраивая этот цирк. Как только мой адвокат об этом узнает...

– Давай я ему карманы-то выверну, – предложил Поль. – Вряд ли он сам сможет до них добраться, у него ведь руки в наручниках.

И Поль весьма проворно, несмотря на свою кажущуюся неуклюжесть, охлопал одежду Люка и извлек у него из карманов зажигалку, несколько скомканных и свернутых бумажек, ключи от машины, бумажник, пачку сигарет... Люк тщетно пытался сопротивляться и постоянно ругался. И все оглядывался, словно надеялся кого-то увидеть и позвать на помощь, но на улице не было ни души.

– Один бумажник. – Луи проверил его содержимое. – Одна зажигалка, серебряная; один мобильный телефон...

Он открыл пачку сигарет и стал по одной высыпать их на руку. И вдруг у него на ладони я увидела нечто такое, чего не видела никогда в жизни: маленькую, неправильной формы пачечку и в ней что-то темно-коричневое, напоминающее старую патоку или конфетку «постный сахар».

– Интересно, что это? – вежливо осведомился Луи.

– Да это, черт возьми, вообще не мое, – огрызнулся Люк и заорал, глядя на Поля: – Это ты подсунул, старый козел!

Но Поль только молча смотрел на него с тупым изумлением, точно слабоумный.

– Вы никогда не докажете! – возмущался Люк.

– Может, и нет, – равнодушно обронил Луи. – Но можно попытаться.

Луи действительно оставил Дессанжа у меня в погребе. Однако, как он объяснил нам, он имеет право предварительно задержать его только на двадцать четыре часа, а потом обязан предъявить конкретные обвинения. С любопытством на нас обоих поглядывая и очень стараясь говорить по-прежнему спокойно и официальным тоном, Луи посоветовал нам постараться все успеть за эти двадцать четыре часа. Хороший он парень, этот Луи Рамонден, хоть и впрямь ужасно медленно запрягает. И чересчур похож на своего двоюродного деда Гильерма; именно это сходство меня поначалу и ослепило, так что я ничего хорошего в Луи даже замечать не хотела. Надеюсь, у него не будет серьезных причин вскоре пожалеть о том, что он сотворил с этим Дессанжем.

А тот сперва все буйствовал у меня в погребе, все что-то вопил, все чего-то требовал – то своего адвоката, то мобильник, то сестру Лору, то сигареты. Утверждал, что у него невыносимо болит нос, что нос ему сломали и, насколько он понял, теперь обломки кости движутся прямоком к головному мозгу. Он то принимался барабанить в дверь, то умолял, то угрожал и ругался. Но мы не обращали внимания, и вскоре все это прекратилось. В половине первого я отнесла ему кофе и тарелку с хлебом и charcuterie^[75]. Он был по-прежнему зол, но вел себя спокойно; судя по его физиономии, у него явно зрел какой-то план.

– Так вы только немного отсрочите собственное наказание, тетушка Фрамбуаза, – припугнул он, наблюдая, как я нарезаю хлеб. – У вас в распоряжении всего двадцать четыре часа, а потом, как вы сами понимаете, стоит мне позвонить...

– Ты есть-то хочешь или нет? – грубо оборвала я. – Потому как тебе явно не повредило бы некоторое время посидеть голодным. А то мне что-то надоели твои гнусные угрозы. Ну так что?

Он посмотрел на меня с самым наигнуснейшим выражением лица, однако больше не проронил ни слова.

– Значит, предпочитаешь поесть, – заключила я и ушла.

Весь день мы с Полем делали вид, что страшно заняты, хотя кафе было закрыто по случаю воскресенья. Работа, конечно, всегда найдется, в саду, например, или в огороде. Я с бешеным рвением рыхлила землю, выпалывала сорняки и подрезала ветки, пока почки у меня не разболелись так, словно в них насыпали раскаленного стекла, а под мышками не выступили круги пота. Поль следил за мной из дома и, кажется, не замечал, что я тоже исподтишка на него поглядываю.

Ох уж эти двадцать четыре часа! Мысль о том, что они скоро кончатся, вызывала у меня чесотку, словно сенная лихорадка. Я отдавала себе отчет: надо что-то предпринять, но не в силах была решить, что именно можно успеть за двадцать четыре часа в воскресенье. Ну, удалось нам скрутить одного из Дессанжей – по крайней мере, на время, – но остальные-то находились на свободе, а уж злобы и хитрости у них на десятерых хватит. И часы стремительно таяли. Чувствуя это, я уже несколько раз крутилась возле телефонной будки у почты, придумывая всякие дела, чтобы там оказаться; однажды я даже набрала номер, но повесила трубку еще до того, как мне ответили, потому что поняла: я не знаю, что и как мне этим людям сказать. Казалось, отовсюду на меня смотрит одна и та же ужасающая истина и действительность предоставляет мне один и тот же чудовищный набор выходов из создавшегося положения. Я снова, как в детстве, оказалась один на один с проклятой Старой щукой, снова видела перед собой ее разинутую пасть, поблескивающие рыболовные крючки, намертво вросшие ей в рот, и остекленевшие от злобы глаза. Снова я тянула ее из последних сил, несмотря на чудовищное сопротивление, снова, пытаясь удержать удилище, билась, как гольян на крючке; эта щука будто стала частью меня самой, чем-то таким, от чего мне нужно во что бы то ни стало избавиться, черной частью моей души, извивающейся и мечущейся на конце леси, подобно секретному и страшному улову...

В конце концов все мои размышления свелись к двум вариантам. В уме, конечно, я рассматривала и другие возможности – например, что Лора Дессанж пообещает оставить меня в покое в обмен на освобождение братца, – но моя имевшая глубокие корни практичность подсказывала, что этого никогда не будет. Пока выходило, что нам удалось выиграть только одно: немного времени; и оно утекало сквозь пальцы, сколько бы я ни напрягала мозги, пытаясь сообразить, как бы этим выигрышем получше

воспользоваться. Иначе, как выразился Люк, моя «маленькая, но весьма печальная тайна будет выплеснута на страницы всех журналов и газет страны»; а как только люди это прочтут – я потеряю все: ферму, кафе, свое место в Ле-Лавёз... И я сделала вывод: единственная альтернатива – воспользоваться правдой как оружием. Но с другой стороны, если это и поможет мне отвоевать свой дом и бизнес, то кто знает, как мои откровения воспримут Писташ, Нуазетт и Поль?

Я в отчаянии скрежетала зубами. Нельзя ставить человека перед таким выбором! Нельзя!

Глуша этот вой в душе, я так свирепо мотыжила грядку с луком-шалотом, что ничего перед собой не видела, и опомнилась, только когда блестящие луковички созревшего лука стали разлетаться во все стороны вместе с корнями сорняков. Я остановилась, отерла пот с лица и вдруг поняла, что это вовсе не пот, а слезы, струившиеся у меня по щекам.

«Никто не должен выбирать между жизнью и ложью!» – думала я. И все же ей-то пришлось сделать такой выбор, ей, Мирабель Дартижан, той женщине с фотографии, где у нее на шее искусственный жемчуг, а на лице такая застенчивая улыбка; той женщине с острыми скулами и туго зачесанными назад волосами. Она отдала все: ферму, любимый сад, ту маленькую нишу, которую вырубил для себя в скале своего горя; отдала даже свою правду; похоронила все это и, не оглянувшись, двинулась дальше. И лишь об одном она ни разу не упомянула в своем альбоме, где столько тщательно вырезанных и вклеенных рецептов, где столько описаний, взаимно перекрещивающихся событий; только об одном она умолчала, потому что вряд ли могла об этом знать. Одного лишь факта не хватает для завершения нашей истории. Всего одного.

Если бы не мои дочери и не Поль, я бы сама обо всем рассказала. Да, я бы рассказала все. Хотя бы назло Лоре, хотя бы для того, чтобы лишить ее победы. Но вот он, Поль, рядом со мной, такой непритязательный, такой тихий, такой не приметный и немногословный, что ухитрился разрушить все мои оборонительные сооружения, да так быстро, что я и глазом не успела моргнуть. Поль – вечный предмет для шуток со своим заиканием и старыми синими штанами; Поль – со своими ловкими руками браконьера и легкой улыбкой. Кто бы мог представить, что это будет именно Поль – после стольких-то лет? Что после стольких-то лет я отыщу путь назад, домой?

Несколько раз я была уже почти готова позвонить по этому номеру – я нашла его в одном из старых журналов. Мирабель Дартижан, в конце концов, давно уже мертва. Мне вовсе не нужно выволакивать ее из темных

глубин души, точно ту Старую щуку, наконец-то угодившую ко мне на крючок. «Вторая ложь уже ничего в матери не изменит, – говорила я себе. – Как и обнародование правды даже теперь не позволит мне искупить свою вину». Но Мирабель Дартижан – женщина и в смерти на редкость упрямая. Я и сейчас постоянно ощущаю ее присутствие, слышу ее голос, похожий на стон проводов в ветреный день, – пронзительный, невнятный, дрожащий; это все, что осталось от нее в моей памяти. И неважно, что я так и не сумела понять, как сильно на самом деле ее любила. Ее любовь, эта порочная холодная тайна, тащит меня за собой на дно, во мрак.

«Однако это было бы неправильно», – звучит в моих ушах голос Поля, безжалостный, как Луара. Да, неправильно жить во лжи. Мне очень хотелось бы, чтобы не нужно было делать этого выбора.

Солнце уже почти село, когда он отыскал меня в саду. Я до такой степени уработалась, что у меня болело все тело, ныла каждая косточка, и я не знала, куда деться от этой непрекращающейся, противной, какой-то дребезжащей боли. В горле так пересохло, что, казалось, там застряло множество рыболовных крючков. Перед глазами все плыло от усталости. Однако мне хватило-таки сил отвернуться от Поля, и он безмолвно воздвигся у меня за спиной; впрочем, он не испытывал особой потребности что-либо говорить и просто выжидал.

– Чего тебе? – наконец не выдержала я. – Прекрати на меня пялиться, умоляю! Займись лучше чем-нибудь полезным.

Поль не ответил, но от его взгляда у меня даже шея сзади начала гореть. Резко обернувшись, я в гневе швырнула на грядку мотыгу и заорала – в точности как мать когда-то:

– Ну что тебе нужно от меня, старый болван? Неужели не можешь держаться от меня подальше, кретин ты этакий?

Наверно, мне хотелось его обидеть. Мне, ей-богу, было бы легче, если бы я причинила ему боль, заставила оттолкнуть меня в порыве ярости, обиды и отвращения. Но он лишь молча смотрел мне прямо в глаза – смешно, а я-то всегда считала, что при игре в гляделки мне нет равных! – и по-прежнему терпеливо, не делая лишних движений, просто ждал, когда я спою свою партию до конца и дам ему возможность произнести необходимую реплику. Я в бешенстве отвернулась; меня немного пугало его невероятное терпение, а также то, что могу теперь от него услышать.

– Я там приготовил для нашего гостя обед, – сообщил он. – Может, и ты хочешь перекусить?

– Ничего я не хочу! – рявкнула я. – Хочу, чтоб меня наконец оставили в покое!

– Вот и она была точно такая, – вздохнул Поль. – Мирабель Дартижан. Ни за что не принимала никакой помощи. Нет. Даже от самой себя. – Голос его звучал негромко, задумчиво. – Ты все-таки очень на нее похожа. Пожалуй, даже чересчур. Это и для тебя самой не очень-то хорошо, а уж для всех остальных и подавно.

Сдерживая резкую, рвущуюся с языка фразу, я прикусила губу. Глазами я старалась избегать Поля.

– Она ведь, упрямец, сама от всех отгораживалась, – продолжал он. –

Так и не поняла тогда: одно ее слово – и люди тотчас помогли бы. Но она никогда ничего не рассказывала. Ни одной живой душе не намекнула.

– Вряд ли она могла рассказать об этом, – тихо промолвила я странно онемевшими губами. – Есть такие вещи, о которых и рассказать-то нельзя. Просто... невозможно.

– Посмотри на меня, – попросил Поль.

В последних закатных лучах его лицо казалось розовым, розовым и молодым, несмотря на морщины и прокуренные усы. А небо у него за спиной напоминало красную разверстую рану; по краям колючей марлей белели облака.

– И все-таки у каждого наступает такой момент, когда рассказать кому-нибудь необходимо, – заметил он как-то очень спокойно и серьезно. – Я ведь не просто так все это время вместе с тобой читал ее каракули в альбоме. Что бы ты обо мне ни думала, я все-таки не такой дурак, как тебе кажется.

– Прости, – извинилась я. – Не хотела тебя обидеть.

Поль только головой мотнул.

– Знаю. Я, конечно, не такой сообразительный, как Кассис или ты, но, по-моему, умники-то в первую очередь в беду и попадают. – Он улыбнулся и постучал себя по виску костяшкой пальца. – Там у меня тоже немало всяких мыслей крутится, – добродушно пояснил он. – Даже чересчур много, пожалуй.

Я молча смотрела на него.

– Видишь ли, это ведь не от правды ей пришлось так тяжело, – заметил он. – И если б она повела себя верно, ничего такого могло бы не случиться. Если б она повернулась к людям, попросила о помощи, а не упрячилась, как всегда...

– Нет. – Это слово упало как окончательный приговор, но голос мой звучал ровно. – Не годятся твои рассуждения. Мать так и не поняла, где правда. А если и поняла, то пыталась скрыть это даже от себя самой. Ради нас. Ради меня. – Мне вдруг перестало хватать воздуха, и знакомый кислый вкус, поднявшись из желудка, обжег горло. – Это не ей нужно было рассказать людям всю правду. Это должны были сделать мы. Это я должна была сделать. – Я с огромным трудом заставила себя сглотнуть. – Правду могла раскрыть только я одна, – с усилием добавила я. – Только я знала все от начала и до конца. Только у меня должно было хватить смелости...

Я осеклась. И снова, взглянув на Поля, увидела его ласковую печальную улыбку, его сгорбленные плечи, точно у мула, который терпеливо и спокойно всю свою жизнь носит на спине тяжкий груз. Как я

завидовала ему! До чего же он стал необходим мне!

– Смелости-то у тебя и сейчас вполне хватит, – помедлив, ответил Поль. – Да и раньше хватало.

Мы молча смотрели друг на друга.

– Ладно, отпусти его, – решила я.

– Ты уверена? А как же наркотики, которые Луи нашел у него в кармане?

Я рассмеялась; мой хриплый смех прозвучал на удивление беспечно.

– Нам с тобой прекрасно известно, что никаких наркотиков у него не было! Это же ты подбросил ему какую-то безобидную дрянь, когда шарил у него по карманам. – И я снова рассмеялась, увидев его озадаченную физиономию. – Ловкие у тебя руки, Поль, прямо как у настоящего воришки. Только зря ты возомнил, будто ты один все подмечаешь.

Поль растерянно кивнул и задал вопрос:

– А потом-то что? Ну выпустишь ты его, и что потом? Он ведь сразу все выложит Яннику и Лоре...

– Да пусть выкладывает, – отмахнулась я.

На душе у меня вдруг стало легко. Такой легкости я еще никогда в себе не ощущала; я была точно пушок чертополоха, упавший на воду, и чувствовала, как где-то в глубине меня зарождается и поднимается к горлу смех, тот безумный смех, с которым человек способен швырнуть на ветер все, чем владеет. Сунув руку в карман передника, я вытащила клочок бумажки с номером телефона.

Затем, передумав, достала адресную книгу, покопавшись в ней, отыскала нужную страницу и заявила:

– По-моему, я знаю, что мне теперь делать.

«Пирог с яблоками и абрикосами. Взбить яйца и смешать их с мукой, сахаром и растопленным маслом до консистенции густой сметаны. Добавить молоко, вливая его понемногу и продолжая интенсивно размешивать тесто. В итоге тесто должно получиться довольно жидким и хорошо вымешанным. Тщательно смазать форму маслом, вылить туда тесто и прямо в тесто положить нарезанные кусочками фрукты. Посыпать корицей и душистым перцем и поставить в духовку на средний жар. Когда пирог начнет подниматься, присыпать его сверху коричневым сахаром и сбрызнуть маслом. Печь до хрустящей корочки. Непременно проследить, чтобы пирог полностью пропекся».

Урожай был жалкий. Сначала засуха, потом эти кошмарные дожди, которые сгубили все фрукты. Но все-таки праздника урожая, который всегда устраивали в конце октября, мы ждали с нетерпением. Даже Рен, даже мать. Она всегда к этому празднику пекла особые пироги, а на подоконник выставляла миски с фруктами и овощами; еще она любила печь чудесные булочки самой замысловатой формы: в виде снопа пшеницы, или рыбок, или корзинки с яблоками, – только по большей части она продавала их на рынке в Анже.

Начальная школа у нас в деревне закрылась еще год назад, когда учитель перебрался в Париж, но воскресная школа действовала. Обычно в день праздника все ученики воскресной школы собирались вокруг фонтана, украшенного, как у самых настоящих язычников, гирляндами цветов, фруктами, снопами пшеницы, тыквами и разноцветными кабачками, из которых вынули сердцевину и превратили в фонарики; все принаряжались, как могли, и пели, держа в руках свечи. В церкви еще продолжалась служба; там, у алтаря, задрапированного золотым и зеленым, распевали псалмы; пение долетало даже до площади, мы стояли и слушали, очарованные роскошью недозволенных нам прежде вещей: жатвой Господней, осуществляемой избранными, и сжиганием соломы. Мы ждали, когда закончится месса и можно будет праздновать вместе со всеми; люди уже постепенно выходили из церкви, но наш кюре еще оставался там – принимал исповеди. В воздухе висел сладковатый запах дыма от праздничных костров, горевших по углам опустевших полей.

На площади начиналась ярмарка, особая, праздничная – с борьбой, со

скачками, с разными состязаниями: кто кого перепляшет, кто сумеет укусить подвешенное на нитке яблоко, кто больше всех съест блинчиков, кто победит по бегу вприсядку. И победителей, и проигравших одаривали теплыми пряниками и сидром. У фонтана полными корзинами распродавали разнообразные домашние кушанья, а Королева урожая сидела, улыбаясь, на своем желтом троне и осыпала цветами всех, кто проходил мимо.

Но в том году мы едва заметили приближение светлого праздника урожая, хотя прежде всегда ждали его с нетерпением, даже больше, чем Рождество, ведь подарки в те времена мы получали нечасто, а декабрь – не самое лучшее время для праздников. Зато октябрь, чудесный, мимолетный, полный спелых соков и золотисто-красных тонов, сменяющих зелень листвы, октябрь с его ранними хрусткими заморозками – это поистине волшебная пора, последняя возможность храбро противостоять наступающим холодам. В былые годы мы начинали готовиться к празднику урожая за несколько недель: запасали целые груды дров и сухой листвы, мастерили ожерелья из диких яблочек, собирали в мешки лесные орехи, приводили в порядок и гладили праздничную одежду, чистили башмаки, предвкушая танцы. Помимо основного празднества на центральной площади мы вполне могли бы устроить и еще одно, дополнительное – у себя на Наблюдательном посту, украсив Скалу сокровищ венками и бросая алые головки цветов в неторопливые бурые воды Луары; мы могли бы лакомиться подсушенными в духовке ломтиками груш и яблок, вплетать в волосы пучки желтых пшеничных колосьев или делать из них куколок на счастье и развешивать вокруг дома; могли бы придумывать в преддверии праздника разные необходимые шутки, и животы у нас бурчали бы не только от голода, но и от предвкушения общего веселья.

Однако той осенью подобных приготовлений почти не было. Мрачное настроение, охватившее нас после вечера с танцами в «La Mauvaise Réputation», не только не исчезло, но еще и усугубилось, когда стали появляться те письма и надписи на стенах, а по Ле-Лавёз поползли разнообразные слухи. Теперь за нашими спинами постоянно шептались, но стоило обернуться, и нас встречало вежливое молчание. Видимо, в деревне считали, что дыма без огня не бывает. И подозрения на наш счет все усиливались; а надписи вроде той – «Фашиская падстилка!» – что была нанесена красной краской на стене курятника и неоднократно закрашена, неизменно возникали снова, несмотря на все наши попытки смыть их или закрасить. Мать упорно отказывалась как признавать правоту этих слухов, так и опровергать их, и сплетни о том, что она ходит в «La Rép», со

страшными преувеличениями жадно передавались из уст в уста. Разумеется, всего этого было более чем достаточно, чтобы постоянно подпитывать однажды возникшие подозрения наших односельчан. В общем, в тот год праздник урожая семье Дартижан особой радости не сулил.

А другие, как обычно, жгли костры и вязали пшеничные снопы. Дети аккуратно собирали колоски на полях, стараясь сберечь каждое зернышко. Мы снимали в саду последние яблоки – из тех, которые не успели попортить осы, – и водружали в кладовке на подносы, каждое по отдельности, чтобы гниль не распространялась; а выкопанные овощи хранили в подвале в дощатых ларях, присыпав сверху сухой землей. К празднику мать все-таки испекла замечательные караваи и булочки, но в Ле-Лавёз спроса на ее выпечку практически не было, и тогда она преспокойно продала все в Анже. Я помню, как однажды мы нагрузили полную повозку и поехали на рынок. Яркое светило солнце, весело сверкая на поджаристых корочках караваев и румяных булочек, сделанных в виде желудей, ежей и смешных рожиц. К тому времени кое-кто из деревенских детей даже перестал с нами общаться, а однажды Рен и Кассиса по дороге в школу забросали комьями грязи из-за кустов тамариска, росших на берегу реки. По мере приближения праздника все девицы стали соперничать друг с другом – с особой тщательностью причесывались, мыли лица овсяным отваром, – зная, что одну из них непременно выберут Королевой урожая и она будет восседать на троне в короне из ячменных колосьев и с кувшином вина в руках. Меня их приготовления совершенно не волновали. Мне было ясно: с моими короткими прямыми волосами и лягушачьей физиономией я Королевой урожая никогда не стану. И потом, в отсутствие Томаса мне все было немило. Я думала только о том, увижу ли его когда-нибудь снова. Целыми днями я просиживала на берегу Луары, приглядывая за вершами и удочкой, и лелеяла надежду, что вот как-нибудь исхитрюсь и поймаю Щуку и тогда Томас к нам вернется.

Праздничный день выдался холодным и ясным, полным тускло-золотистого сияния, столь свойственного октябрю. Мать всю ночь не спала, скорее из упрямства, чем из любви к традиции: пекла пряники и темные гречишные блинчики и варила варенье из ежевики; потом она все это сложила в корзины и велела нам отнести к фонтану, на деревенскую ярмарку. Я вообще-то и не собиралась туда идти. Подоив козу и закончив обычные воскресные дела по дому, я быстренько собралась и ушла на реку. У меня там как раз была поставлена одна особенно хитроумная ловушка. Я связала вместе несколько клетей и крупных пустых жестянок, все это прикрепила к верше из мелкаячеистой сетки – такой обычно огораживают загон для кур – и сунула туда наживку из нарезанной кусочками рыбы; все это я поместила под самым берегом, и мне, естественно, не терпелось посмотреть, что из моей затеи получилось. Над Луарой витал запах скошенной травы и первых осенних костров. Этот запах, такой острый, такой издавна знакомый, напоминал о былых счастливых днях, и я вдруг почувствовала себя старой, такой же, как этот извечный запах, мне показалось, что я живу на свете очень-очень давно, так что я еле брела к реке через кукурузные поля.

У Стоячих камней меня, как всегда, поджидал Поль и совсем не удивился моему появлению. Он лишь коротко на меня взглянул и снова уставился на качавшийся в воде пробковый поплавок.

– А т-ты что же, на ярмарку н-не п-пойдешь? – спросил он чуть погодя.

Я покачала головой. Я только сейчас поняла, что вообще-то мы не виделись с ним с тех пор, как мать выгнала его из нашего дома, и меня вдруг охватило острое чувство вины. Как это я могла совершенно забыть о нем, своем старом друге? Может, именно поэтому я и уселась с ним рядом, но, конечно, не из желания поболтать. Разговаривать мне совсем не хотелось. Мне мучительно хотелось побыть одной.

– И я н-не п-пойду. – Поль в то утро был каким-то угрюмым, почти сердитым; брови, сдвинутые в хмурой сосредоточенности, делали его совсем взрослым, и это меня несколько встревожило. – Все местные идиоты т-там нап-пьются и в п-пляс п-пустятся. К-кому это надо?

– Только не мне. – У самых моих ног завораживающе крутилась коричневатая речная вода. – Я вообще-то собиралась сперва ловушки

проверить, а потом попытать счастья у большой песчаной отмели, – сообщила я. – Кассис говорит, там иногда щуки попадаются.

– Никогда т-тебе не поймать ее! – бросил Поль, насмешливо на меня глядя.

– Почему это?

Он пожал плечами.

– П-просто не п-поймаешь, и все.

Некоторое время мы молча удили, сидя рядышком; солнце потихоньку пригревало нам спины; желто-красные и бурые листья один за другим слетали на шелковистую поверхность воды. Вдали за полями послышался мелодичный перезвон церковных колоколов, возвещавший окончание мессы. Минут через десять должна была начаться ярмарка.

– А остальные п-пойдут? – осведомился Поль, вытащив из-за левой щеки червяка, которого согревал во рту, и ловко насадив его на крючок.

– Мне все равно, – равнодушно обронила я.

Вновь наступила тишина; у Поля громко забурчало в животе, и я спросила:

– Есть хочешь?

– Нет.

И тут я услышала его – ясный и отчетливый звук на дороге, ведущей в Анже. Этот звук навсегда врезался в память, я просто не могла его не узнать. Сначала он был почти неразличим, но постепенно становился все громче, точно гудение разбуженной осы, точно шум крови в висках после бешеной пробежки через поля. Это был рев мотоцикла, того самого, единственного!

Меня вдруг охватила паника: Поль не должен его видеть! Если это действительно Томас, то я здесь должна быть одна. И по тому, как радостно и болезненно сжималось мое сердце, я с разрывающей душу ясностью поняла: да, это Томас.

Томас.

– А может, все-таки стоило бы взглянуть, что у них там творится? – с притворным безразличием произнесла я.

Поль как-то нечленораздельно хмыкнул.

– Там будут пряники, – продолжала хитро искушать я, – и печеный картофель, и жареная кукуруза, и пирожки, и колбасу будут на углях жарить.

В животе у Поля забурчало еще громче. И я предложила:

– Можно было бы потихоньку туда пробраться и наестся от пуза.

Он молчал, и я выложила еще один козырь:

– Вообще-то Кассис и Рен тоже туда собирались.

Во всяком случае, я очень на это рассчитывала. Мне нужно было, чтобы они туда пришли – а я могла бы быстренько оттуда смотаться и вернуться к Томасу. Мысль о том, что он скоро будет здесь, что я снова его увижу, наполняла душу невыносимой, обжигающей радостью; мне казалось, что под ногами у меня не берег реки, а раскаленные камни.

– Значит, и она т-там б-будет?

Голос Поля звучал глухо от сдерживаемой ненависти, и в иных обстоятельствах меня бы это, конечно, удивило: я и подумать не могла, что он способен держать камень за пазухой.

– Ну, твоя м-м-м... – Он поморщился и начал снова: – Твоя м-м-м... твоя м-м-м...

– Это вряд ли, – помотала я головой и более резко, чем хотела, прибавила: – Господи, Поль, ведь и впрямь с ума можно сойти, когда ты так начинаешь заикаться!

Он равнодушно пожал плечами. Теперь я совершенно отчетливо слышала звук приближавшегося мотоцикла, он был уже не больше чем в двух милях от нас; от волнения я стиснула кулаки, и ногти впились в ладони.

– Видишь ли, – промолвила я гораздо мягче, – мне все равно, заикаешься ты или нет, для меня это особого значения не имеет. Но мать-то не понимает! Не понимает – и все.

– Так она т-там б-будет? – требовал ответа Поль, и я солгала:

– Нет. Она сегодня с утра собиралась чистить козий загон.

– Ладно, тогда пойдем, – согласился Поль.

Я знала, что Томас сможет прождать у Наблюдательного поста не больше часа. Сейчас тепло, так что он, наверно, спрячет мотоцикл в кустах и закурит сигарету, а если рядом никого не будет, возможно, рискнет искупаться. Если никто из нас не появится, он напишет записку и оставит ее на Наблюдательном посту, в развилке, под основанием шалаша, прижав свертком с журналами и сладостями; он так не раз уже делал. Впрочем, я прикинула, что, пока он будет сидеть на берегу и курить, я запросто успею сбегать вместе с Полем в деревню и сразу вернусь назад, улучив момент, когда на меня никто не будет смотреть. А Кассису или Ренетт я ни за что не скажу о приезде Томаса. При этой мысли меня охватила какая-то жадная радость; я представила себе его лицо, освещенное приветливой улыбкой, которая на этот раз будет принадлежать мне одной. Я думала только об этом, когда чуть ли не силой тащила Поля к деревне, стиснув его холодные пальцы в своей горячей ладонке. Челка липла к вспотевшему лбу и мешала мне видеть, но темпа я не снижала.

Площадь у фонтана была уже наполовину заполнена народом. И все, кто выходил из церкви после исповеди, тоже направлялись туда; дети несли свечи, девушки надели венки из осенних листьев. Следом за девушками тащилась горстка молодых парней, среди которых был и Гильерм Рамонден, прямо-таки пожиравший глазами местных красоток и явно полный новых греховных помыслов. А что? Праздник урожая – самое время для любовных приключений; уж больно мало хорошего тогдашняя молодежь ждала от своего будущего. Чуть поодаль от остальной толпы я заметила брата и сестру. Рен была в платье из красной фланели, на шее – ожерелье из ягод. Кассис жевал сладкий пирожок. Судя по всему, никто с ними не разговаривал; вокруг них очертился небольшой, но заметный круг отчуждения. Ренетт то и дело смеялась каким-то пронзительным ломким смехом, напоминавшим крик чайки. На некотором расстоянии от них находилась моя мать, взгляд настороженный, в руках корзина с пирожками и фруктами. Смотрелась она на редкость уныло, особенно на фоне пестрой праздничной толпы, всех этих гирлянд и флажков; ее черное платье и платок сразу бросались в глаза. Поль, стоявший рядом со мной, тоже ее заприметил и сразу весь как-то подобрался.

Несколько человек у фонтана затянули веселую песню. Среди них были, по-моему, Рафаэль, Колетт Годен, Филипп Уриа, дядя Поля,

повязавший на шею дурацкий желтый платок, и Аньес Пети в нарядном платье и открытых туфлях-лодочках. На голове у Аньес красовалась корона из ягод. Я вспоминаю ее голосок, время от времени выбивавшийся из общего хора, не поставленный, конечно, но приятный и чистый. От этого голоса у меня по спине вдруг поползли мурашки: мне показалось, что Аньес до времени суждено стать призраком, витающим над моей ранней могилой. Я и теперь помню слова песенки, которую она пела:

К ручью ходила я гулять,
Он был так чист, что я в нем искупалась.
Я так давно тебя люблю,
Что никогда б с тобой не расставалась.

А между тем Томас – если это действительно был мотоцикл Томаса – уже должен был добраться до нашего Наблюдательного поста. Однако Поль по-прежнему от меня не отходил и не проявлял ни малейшего желания смешаться с праздничной толпой. Он не сводил глаз с моей матери, стоявшей по ту сторону фонтана, и нервно кусал губы.

– А т-ты г-говорила, что ее здесь н-не б-будет! – упрекнул он меня.

– Я же не знала!

Мы еще некоторое время потоптались на месте, наблюдая, как люди направляются из церкви на площадь, к фонтану, чтобы перекусить. На бортике фонтана выстроились кувшины с сидром и вином; многие женщины, как и моя мать, принесли свежее испеченный хлеб, бриоши и фрукты; все это они раздавали выходявшим из церкви. Я заметила, что мать по-прежнему держится поодаль; лишь очень немногие обращались к ней за угощением, которое она так старательно готовила. Лицо ее, впрочем, оставалось бесстрастным, почти равнодушным. Выдавали мать только руки – побелевшие от нервного напряжения пальцы вцепились в ручку корзины. И закушенные губы тоже побелели, точно от мороза, и выделялись даже на ее смертельно бледном лице.

Я психовала, а Поль и не думал от меня отставать. Какая-то женщина – Франсина Креспен, по-моему, сестра Рафаэля, – с улыбкой протянула Полю корзинку с яблоками, но тут увидела меня, и улыбка сразу сползла с ее лица. Почти все деревенские успели, конечно, прочесть ту надпись на стене нашего курятника.

Из церкви вышел наш священник, отец Фроман. Его добрые, несколько подслеповатые глазки сегодня так и светились: он был счастлив,

что его паства объединилась, и гордо нес позолоченное распятие на деревянном шесте, поднимая его высоко, точно военный трофей. Следом за ним двое мальчиков-служек тащили икону Богородицы на золотисто-желтой подставке, украшенную ягодами и осенними листьями. Ученики воскресной школы тут же выстроились в ряд, лицом к этой маленькой процессии, и со свечами в руках запели гимн урожаю. Девушки, старательно улыбаясь, поправляли наряды и прически. Среди них я заметила и Ренетт. Затем двое юношей вынесли из церкви трон Королевы урожая, сделанный всего лишь из желтой соломы, но очень красивый: спинка и подлокотники у него были из кукурузных початков, на сиденье – подушка из осенних листьев; в солнечных лучах трон так сиял, что его вполне можно было принять за золотой.

У фонтана дожидались претендентки, их было никак не меньше дюжины, и все примерно одного возраста. Я хорошо помню каждую и хоть сейчас могу перечислить их по именам: Жаннетт Креспен в платьице для первого причастия, ставшем ей, увы, слишком тесным; рыжеволосая Франсина Уриа – вся в веснушках, которые ничем, даже отрубями не смоешь; Мишель Пети в очках, с туго заплетенными косами... Только сразу становилось ясно: ни одна из них нашей Ренетт в подметки не годится. И они это понимали. И естественно, посматривали на нее с завистью, настороженно. А она стояла чуть поодаль в красном платьице, с длинными распущенными волосами, в ее чудесные локоны были вплетены красные ягоды. Остальные девушки могли быть довольны: в этом-то году уж точно никто за Ренетт Дартижан голосовать не станет и Королевой урожая ее, конечно, не выберут. Уж больно много всяких гнусных слухов кружилось вокруг нас, точно сухие листья на ветру.

Священник произносил речь. Я прислушалась, но нетерпение в душе все росло. Ведь наверняка Томас уже ждет! Надо спешить, если я не хочу с ним разминуться! Однако Поль по-прежнему торчал рядом и тупо смотрел на фонтан; выражение лица у него было очень напряженное, хотя и несколько глуповатое.

– Минувший год стал для нас годом испытаний, – вещал кюре, его голос звучал умиротворяюще и монотонно, точно доносящееся издалека блеяние овечьего стада, – но ваша вера и ваша энергия вновь помогли нам с честью все преодолеть.

Было очевидно, что не только я, но и многие другие изнывали от ожидания. Они недавно прослушали в церкви длинную проповедь, и теперь пора было возводить на трон Королеву и переходить к танцам и всяческому веселью. Какая-то маленькая девочка ловко вытащила у матери из корзинки

кусоч пирого, быстро сунула в рот, пока никто не видит, и с трудом, прикрываясь ладошкой, прожевала и проглотила.

– Ну а теперь давайте праздновать!

Вот это уже было похоже на дело. По толпе пролетел шепот одобрения и нетерпения. Оценив обстановку, отец Фроман проблеял:

– Я лишь прошу вас проявлять во всем умеренность и помнить, что без Господа не было бы у вас ни урожая, ни веселого праздника.

– Да ладно вам, преподобный отец, закругляйтесь! – раздался со стороны церкви чей-то грубоватый веселый голос.

Отец Фроман был явно оскорблен в своих лучших чувствах, однако ему пришлось смириться.

– Все в свое время, сын мой, – не преминул он напомнить наглецу. – Итак, именем Господа нашего я открываю праздник урожая и предлагаю для начала выбрать Королеву. Ею должна стать юная девушка от тринадцати до семнадцати лет. Она-то и будет править нашим празднеством, увенчанная короной из ячменных колосьев.

Его голос тут же заглушили десятки выкриков; люди называли самые разные имена, порой совершенно неподходящие. Рафаэль, например, заорал: «Аньес Пети!», и Аньес, которой вот-вот должно было стукнуть тридцать пять, вся вспыхнула от радостного удивления и на мгновение стала почти хорошенькой.

– Мюриель Дюпре!

– Колетт Годен!

Получив столь неожиданный комплимент, жены с визгом, притворно возмущаясь, кидались мужьям на шею.

– Мишель Пети! – крикнула мать Мишель исключительно из упрямства, хоть и понимала, что ее очкастую дочь никто не выберет.

– Жоржетт Леметр! – Это Анри предложил в королевы свою девяностолетнюю бабушку и сам же первым заржал, страшно довольный собственной шуткой.

Несколько молодых людей предложили Жаннетт Креспен, и та, страшно покраснев, стыдливо закрыла лицо руками. И вдруг Поль, который все это время молча стоял рядом со мной, шагнул вперед и громко, без малейшего заикания произнес:

– Рен-Клод Дартижан!

Голос у него был звучным и каким-то удивительно взрослым. Это был голос молодого мужчины, совершенно не похожий на его обычное, медленное и неуверенное бормотание.

– Рен-Клод Дартижан! – снова провозгласил он.

Люди стали оборачиваться, с любопытством на него поглядывая и перешептываясь.

– Рен-Клод Дартижан! – в третий раз крикнул Поль.

Решительно пройдя через всю площадь прямо к остолбеневшей от изумления Ренетт, он протянул ей ожерелье из диких яблочек. А потом уже гораздо тише, но по-прежнему ничуть не заикаясь, сказал:

– Вот, это тебе.

И он сам надел ожерелье ей на шею. Маленькие красно-желтые яблочки так и сверкали в красноватых лучах октябрьского солнца.

– Рен-Клод Дартижан! – напоследок громко повторил Поль.

Взяв Рен за руку, он помог ей подняться по ступенькам к соломенному трону. Отец Фроман молчал; на его лице блуждала смущенная улыбка; он позволил Полю возложить ячменную корону на головку Ренетт и только после этого тихо промолвил:

– Ну что ж, прекрасно. Просто прекрасно. – И чуть громче прибавил: – Итак, объявляю Королевой нынешнего урожая Рен-Клод Дартижан!

Возможно, дело было во всеобщем нетерпении, ведь люди только и мечтали поскорее опустошить те кувшины с сидром и вином, что стояли на бортиках фонтана. А может, всех просто потрясло, что бедняга Поль Уриа впервые в жизни заговорил совершенно ясно, ничуть не заикаясь. Или, может, уж больно хороша была наша Рен-Клод, восседавшая на соломенном троне: губки как вишни, в волосах золотистым нимбом играет солнечный свет. Во всяком случае, многие даже в ладоши захлопали. А кое-кто принялся выкрикивать ее имя – чаще всего, правда, мужчины, среди них были и Рафаэль, и Жюльен Ланисан, свидетели случившегося тем вечером в «La Mauvaise Réputation». Зато среди женщин были те, которые и не думали аплодировать. Но и не очень много. Например, мать Мишель или такие злобные сплетницы, как Марта Годен и Изабель Рамонден; в итоге они оказались в меньшинстве, и кое-кто, смутившись, поспешил присоединиться к большинству. В общем, почти все хлопали в ладоши, когда Рен бросала ученикам воскресной школы цветы и фрукты из корзинки. Воспользовавшись тем, что всеобщее внимание переключилось на Рен, я стала потихоньку выбираться из толпы, но мельком взглянула на нашу мать да так и замерла, до глубины души потрясенная той неожиданной переменой, которая произошла с ее лицом, с нею самой: щеки зарумянились, глаза сияли почти так же ярко, как на той старой свадебной фотографии, платок сполз на плечи, обнажив темноволосую голову. Она чуть ли не бегом устремилась к Ренетт. По-моему, я была единственной, кто заметил, как сильно она преобразилась. Все остальные смотрели только на

мою сестру. Даже Поль, по-прежнему стоя возле фонтана, смотрел только на нее; на его лицо опять вернулось прежнее глуповатое выражение, словно никуда и не исчезало. Сердце вдруг екнуло у меня в груди, и неожиданные слезы так резко обожгли глаза, что я решила, будто туда попало какое-то насекомое – может, даже оса.

Я бросила недоеденный пирожок и резко повернулась, мечтая об одном: поскорее уйти. Внимания на меня никто не обращал. Да и Томас наверняка уже ждал на берегу. И мне вдруг стало очень важно поверить в то, что ждет он именно меня. Что он любит меня. Томас, только Томас – навсегда! Я на мгновение оглянулась, желая запечатлеть в душе происходящее на площади. Моя сестра, Королева урожая, – самая прекрасная Королева урожая, какие когда-либо были здесь коронованы! – восседала на соломенном троне; в одной руке сноп, в другой – какой-то круглый блестящий плод, яблоко или гранат, который сунул ей в руку отец Фроман. Она смотрела на нашего кюре, и тот улыбался ей своей доброй овечьей улыбкой, а рядом застыла моя мать с улыбкой на посветлевшем лице. И вдруг сквозь шум веселой толпы я услышала голос матери, ломкий от ужаса и отвращения и словно разом ослабевший: «Что это? Ради бога, что это такое? Кто тебе это дал?»

И тут я бросилась наутек, пока внимание всех присутствующих было приковано к Ренетт и нашей матери. Я чуть не расхохоталась, хотя та невидимая оса все продолжала жалить меня сквозь веки. Я со всех ног неслась к реке; в мыслях царил полный сумбур, а глаза то и дело застилали слезы, так что приходилось останавливаться и пережидать, когда подсохнут слезы и утихнут спазмы, странным образом похожие и на смех, и на рыдания. Это же был апельсин! Видно, его с любовью приберегли как раз для такого случая, спрятали, завернув в мягкую бумажку, и сохранили специально для подарка Королеве урожая. Этот апельсин, круглившийся у Рен в руке, и увидела наша мать... наша мать... Внутри у меня бился едкий, как кислота, смех, он раздирал мои внутренности, точно дюжина вонзившихся в них рыболовных крючков; боль была такой невыносимо острой, что я в конвульсиях каталась по земле, но никак не могла перестать смеяться, стоило мне вспомнить, как гордость в глазах матери сменилась испугом – нет, ужасом! – при виде одного-единственного маленького апельсина. Когда спазмы утихали, я вскакивала и снова мчалась во весь дух. Я рассчитывала, что до Наблюдательного поста минут десять ходу, но если прибавить то бесконечное время, что мы провели у фонтана – минут двадцать – тридцать по крайней мере! – то получалось очень долго; у меня даже дыхание от страха начинало перехватывать: ведь Томас вполне мог

уже уйти!

По дороге я обещала себе, что на этот раз непременно попрошу его взять меня с собой, куда бы он ни собрался – назад в Германию или в лес, чтобы навсегда стать дезертиром и изгоем. Все, что угодно, лишь бы с ним вместе! Только он и я... он и я. На бегу я молилась Старой щуке; колючки впивались в босые ноги, но я не замечала. Пожалуйста, Томас! Пожалуйста. Только ты. Навсегда. Во время своего бешеного бега через поля я никого не встретила, все были на празднике. Подлетая к Стоячим камням, я уже изо всех сил выкрикивала его имя, мой голос звучал пронзительно, как крик чайки в шелковистой тиши над рекой.

Неужели ушел?

– Томас! Томас! – Я охрипла от смеха, охрипла от страха. – Томас! Томас!

Он возник передо мной так внезапно, что я не успела понять, откуда он вынырнул. Должно быть, из кустов. Одной рукой он схватил меня за запястье, другой зажал мне рот. С перепуга я не сразу его узнала – да и лицо его было в тени – и стала изо всех сил вырываться, даже попыталась укусить его за руку и все время пронзительно, по-птичьи пищала под его ладонью, плотно закрывавшей мне рот.

– Тише ты, Цыпленок! Какого черта ты пытаешься меня укусить?

Услышав дорогой голос, я сразу прекратила сопротивление.

– Томас. Томас...

Я никак не могла остановиться и все повторяла вслух его имя, вдыхая знакомый запах табака и пота, исходивший от его одежды, и прижавшись лицом к его кителю – месяца два назад я на такое ни за что бы не осмелилась. Всунув голову внутрь, в темноту, под полу кителя, я с какой-то отчаянной страстью целовала подкладку и твердила:

– Я знала, что ты вернешься. Знала!

Он извлек меня оттуда и некоторое время молча меня разглядывал.

– Ты одна? – наконец спросил он.

Глаза его были прищурены и смотрели более настороженно, чем всегда. Я кивнула.

– Это хорошо. Я хочу, чтобы ты выслушала меня.

Он говорил очень медленно, с нажимом, выделяя каждое слово. И во рту у него не было сигареты, а в глазах – знакомого блеска. Мне показалось, что за эти несколько недель, что мы не встречались, он здорово похудел, лицо заострилось, даже рот с сурово поджатыми губами выглядел сейчас не таким благодушным, как обычно.

– Я хочу, чтобы ты выслушала меня очень внимательно.

Все, что угодно, Томас. Я послушно кивнула. Глаза мои так и сияли от внутреннего жара. Только ты, Томас. Только ты. Мне хотелось рассказать ему о моей матери, о Рен и об апельсине, но я чувствовала: момент совершенно неподходящий. Сейчас мне нужно просто слушать, и я стала слушать.

– Возможно, в вашу деревню придут наши люди, – сообщил он. – В черных мундирах. Тебе известно, кто это, верно?

– Немецкая полиция, – подтвердила я. – СС.

– Точно. – Его речь была слишком отрывистой, жесткой; от его обычной беспечной и чуть ленивой манеры растягивать слова и следа не осталось. – И они, возможно, будут задавать вам кое-какие вопросы.

Прочитав в моих глазах полное непонимание, он пояснил:

– Вопросы обо мне.

– Почему?

– Совершенно неважно почему. – Его рука по-прежнему крепко, почти до боли, сжимала мое запястье. – Они могут интересоваться разными вещами. Например, чем мы с вами занимались.

– Про то, что ты приносил нам журналы и всякое такое?

– Вот именно. А еще могут спросить насчет того старика. Ну, в кафе. Гюстава, кажется. Который утонул.

Его лицо вдруг стало мрачным и каким-то ужасно усталым. Он взял меня за подбородок и заставил смотреть ему прямо в глаза, которые вдруг оказались очень близко. Я ощущала запах сигаретного дыма, исходивший от его воротника. Его дыхание тоже пахло дымом.

– Послушай, Цыпленок, это очень важно. Ты не должна ничего им говорить. Меня ты никогда в жизни не видела. И в «La Rép» в тот вечер, когда были танцы, ты не ходила. Ты даже имени моего не знаешь. Ясно?

Я кивнула.

– Хорошенько запомни: ты ничего не знаешь, – настойчиво повторил Томас. – Ты никогда со мной не общалась. И остальным это передай.

На это я снова кивнула, и он, судя по всему, несколько расслабился.

– Вот еще что...

Теперь его голос снова звучал почти ласково, и во мне теплым облаком расплылась такая нежность, будто туда влили растопленную карамель. Я с готовностью смотрела на него, ожидая дальнейших приказаний.

– Я больше не смогу приходить сюда, – сказал он. – Во всяком случае, в течение некоторого времени. Это становится слишком опасно. Мне, скорее всего, в последний раз удалось вырваться.

Помолчав, я смущенно предложила:

– Мы могли бы встречаться в кино. Как раньше. Или в лесу.

Томас нетерпеливо потрянул головой и с раздражением воскликнул:

– Ты что, не слышишь меня? Мы вообще больше не сможем встречаться! Нигде.

Мне словно за шиворот высыпали пригоршню снега – по всему телу побежали мурашки. В голове стоял черный туман. Я довольно долго молчала, потом прошептала:

– И это надолго?

– Да, очень надолго. – Я чувствовала его нетерпение. – Может быть, навсегда.

Я вздрогнула. Меня вдруг охватил жуткий озноб. Мурашки превратились в жгучие укусы, словно я катаюсь в зарослях крапивы. Томас взял мое лицо в ладони и медленно произнес:

– Ты пойми, Фрамбуаза, мне тоже очень жаль, я ведь знаю, что ты... – Он помедлил и просто добавил: – Я понимаю, как это тяжело. – Он улыбнулся какой-то свирепой и одновременно печальной улыбкой, точно дикий зверь, пытающийся изобразить оскаленной мордой искреннее дружелюбие. Потом, помолчав, сменил тему: – Я тут вам принес кое-что. Журналы, кофе. – И снова та же пугающе-веселая улыбка. – Жевательную резинку, шоколад, книги.

Я смотрела на него, не в силах издать ни звука. Сердце в груди было как комок ледяной глины.

– Только ты спрячь все это, ладно? – Глаза его блеснули, точно у ребенка, доверившего мне какой-то приятный «секрет». – И никому не проболтайся о нашей с тобой встрече. Вообще никому.

Он нырнул в те заросли, где прятался до моего прихода, и вытащил оттуда увесистый сверток, перевязанный шпагатом.

– Разверни, – велел он.

Однако я по-прежнему тупо на него смотрела.

– Ну, давай же! – Голос его звучал напряженно и неестественно весело. – Это тебе.

– Не надо мне ничего.

– Да ладно, Цыпленок, перестань!

Он попытался обнять меня за плечи, но я оттолкнула его.

– Я повторяю: мне ничего не надо! – Я снова почувствовала, что говорю голосом матери, визгливым, пронзительным, и вдруг возненавидела его за то, что он заставил меня говорить таким голосом. – Мне ничего не надо! Не надо! Не надо!

Томас беспомощно улыбнулся.

– Ладно, успокойся. Не нужно так кричать. Я ведь только...

– Мы могли бы убежать с тобой! – вдруг выпалила я. – В лесу есть столько хороших мест, где нас никто бы не нашел. И никто бы никогда даже не догадался, где нас искать. Мы могли бы исчезнуть, жить в лесу, питаться кроликами, ловить дичь, собирать грибы и ягоды... – Лицо мое пылало, в горле пересохло так, что было больно глотать, но я настойчиво продолжала: – Там мы были бы в полной безопасности. Никто бы ничего не узнал.

Но по его лицу я видела, что все мои предложения напрасны.

– Я не могу, – отрезал он.

На глазах у меня закипали слезы.

– Неужели т-ты хоть нен-н-надолго не можешь остаться? – Я понимала, что сейчас напоминаю Поля – такая же жалкая и глупая заика, – но ничего не могла с собой поделать. Какая-то часть души восставала против подобного унижения и готова была отпустить Томаса – пусть уходит, а я сохраню гордое, ледяное молчание! – но слова сами собой неудержимо лились изо рта. – Ну пожалуйста! Ты можешь хотя бы выкурить сигарету, или искупаться, или немного половить рыбу вместе со мной?

Томас покачал головой.

И внутри у меня вдруг все стало рушиться, обваливаться, падать с неторопливой неизбежностью в какую-то черную пропасть, откуда, как мне почудилось, уже доносился странный звон металла о металл...

– Ну останься! Еще хотя бы на несколько минут! Пожалуйста! – До чего мне был ненавистен этот дурацкий тон, такой жалкий, умоляющий, обиженный. – Я покажу тебе новые ловушки. И новую вершу.

Его молчание было убийственно безнадежным, как могила. Я прямо-таки физически ощущала, как неотвратимо утекает отведенное мне время. И снова откуда-то донесся звон металла о металл – такой звук бывает, когда собаке к хвосту привяжут жестянку. И я вдруг догадалась, что это за звук. И волна отчаянной радости затопила меня с головой.

– Пожалуйста! Это очень важно! – Теперь голос мой звучал по-детски пронзительно; в нем были и надежда на спасение, и слезы, подступившие к глазам и уже капавшие с ресниц, и колючий комок, застрявший в горле. – Если ты не останешься, я всем расскажу! Всем! Расскажу, расскажу, расскажу...

Он нетерпеливо поморщился и кивнул.

– Ладно, пять минут. Но ни минутой дольше. Договорились?

– Договорились.

Слезы мои тут же высохли.

Пять минут. Я знала, что должна сделать. Это был наш последний шанс – мой последний шанс. Сердце молотом стучало в груди от радости, в ушах играла какая-то дикая музыка, сбивая с толку мой отчаявшийся разум. Томас дал мне пять минут! Душа ликовала, когда я за руку волокла его к той песчаной отмели, где поставила последнюю ловушку. И та мольба, которую я все повторяла, пока бежала от деревни к реке, крутилась теперь в мозгу, точно оглушительный вой, точно властное требование: «Только ты только ты о Томас пожалуйста о пожалуйста пожалуйста пожалуйста»; сердце билось так сильно, что, казалось, от этого грохота лопнут барабанные перепонки.

– Куда мы идем? – спросил он спокойно, насмешливо, совсем не заинтересованно.

– Хочу тебе кое-что показать, – задыхаясь, пояснила я и еще сильнее потянула его за руку. – Кое-что важное. Идем же!

Теперь уже было отчетливо слышно звяканье консервных банок, которые я привязала к пустой канистре из-под масла. В ловушку явно кто-то попался, я не сомневалась в этом; от возбуждения меня даже пробрал озноб. Это был кто-то большой. Консервные банки яростно плясали на поверхности воды, колотя по канистре. А обе клетки на глубине, накрепко соединенные проволоочной сеткой, тяжело ворочались и раскачивались.

Там наверняка кто-то есть! Наверняка!

Из тайника под нависающим берегом я вытащила деревянный багор, с помощью которого вытягивала на берег тяжеленные верши и ловушки. Руки у меня тряслись от волнения, и я чуть не уронила багор в воду. С помощью крюка, укрепленного на конце багра, я отцепила от клеток поплавки и оттолкнула в сторону пустую канистру. При этом сами клетки стали еще сильнее качаться и плясать под водой.

– Она слишком тяжелая! – крикнула я.

Томас растерянно наблюдал за моими действиями.

– Да что там, черт побери, такое? – не выдержал он.

– Ой, пожалуйста! Ну пожалуйста!

Изо всех сил я пыталась вытянуть клетки на крутой берег. Вода ручьями вытекала из их щелястых боков. Что-то огромное и свирепое металось и билось внутри.

Рядом со мной Томас негромко охнул, рассмеялся и воскликнул:

– Ну ты даешь, Цыпленок! Кажется, ты все-таки поймала ее, свою щуку! Lieber Gott!^[76] До чего ж здоровенная!

Я почти не слушала его. Дыхание с хрипом вырывалось из груди, обжигая глотку, как наждак. Босые пятки тщетно упирались в жидкую грязь, беспомощно скользя и съезжая все ближе к воде. Пойманная тварь теперь сама тащила меня в реку, дуюм за дюймом.

– Ни за что! Я ни за что не упущу тебя! – задыхаясь, хрипло пообещала я. – Ни за что! Ни за что!

Собрав последние силы, я сделала еще шаг назад, вытягивая из воды тяжеленные, насквозь промокшие клетки, потом еще шаг и еще, чувствуя, как между пальцами ног проступает скользкий желтый ил. Я понимала, что вот-вот потеряю равновесие и грохнусь на спину. Подперев багор плечом, я пыталась еще немного приподнять клетки. Древко багра больно впилося мне в ключицу, но в глубине сознания теплилась радостная мысль: Томас все это видит! А если мне удастся выволочь Старую щуку на берег, тогда мое желание... мое желание...

Еще один шаг и еще. Вонзая большие пальцы ног в глинистый берег, я поднималась все выше и выше. Еще шаг – и моя тяжелая ноша стала чуть легче, поскольку почти вся вода вылилась сквозь щели. Но та тварь внутри по-прежнему бешено колотилась о стенки. Еще шаг.

И тут все застопорилось.

Я тянула изо всех сил, однако клетки застряли намертво. Плача от отчаяния, я снова дернула за багор – безрезультатно. Скорее всего, моя ловушка под водой зацепилась сеткой за большое бревно или корень, торчащий из осыпавшегося берега, точно осколок гнилого зуба.

– Она застряла! – в отчаянии крикнула я. – Чертова ловушка за что-то зацепилась!

Томас насмешливо на меня взглянул и произнес с легким нетерпением:

– Это же всего-навсего старая щука.

– Пожалуйста, Томас! – чуть не плакала я. – Если я брошу багор, она уйдет. Пожалуйста, посмотри, что там такое, и попробуй отцепить, хорошо? Пожалуйста!

Пожав плечами, Томас снял китель и рубашку, аккуратно повесил их на куст и негромко заметил:

– Ну, форму-то пачкать мне совсем ни к чему.

Руки мои дрожали от напряжения. Я с трудом удерживала клетки на плаву, пока Томас выяснял, в чем помеха.

– Тут целая борода корней, – сообщил он. – Видимо, в клетки отошла дощечка и зацепилась за корень. Намертво засела.

– А ты не можешь ее отцепить? – спросила я.

– Попытаюсь.

Он стянул с себя брюки и повесил рядом с остальной одеждой, сапоги поставил повыше, под нависавшим берегом. Я видела, как он поежился, входя в воду; там было довольно глубоко, а вода холодная.

– Нет, я, должно быть, и впрямь спятил! – насмешливо выругал он сам себя. – Тут же околеть можно от холода!

Томас стоял по плечи в бурой маслянистой воде, и я вспомнила, что в этом месте Луара как раз распадается на два рукава и поэтому течение там особенно сильное. На поверхности воды вокруг него уже стали образовываться бледные клочья пены.

– Ты можешь до нее дотянуться? – крикнула я.

Руки у меня от напряжения жгло так, словно их проткнули раскаленной проволокой; в висках молотом стучала кровь. Но я все еще чувствовала ее, эту проклятую щуку, – она по-прежнему с отчаянной силой билась о стенки клеток, наполовину скрытых водой.

– Это где-то в самом низу, – услышала я голос Томаса, – но, по-моему, не очень глубоко... – Раздался всплеск, он мигом нырнул и сразу вынырнул, быстрый и ловкий, как выдра. – Нет, не вышло. Попробую немного глубже...

Я навалилась на шест всем весом. От отчаяния и нестерпимой боли в висках мне хотелось завыть в голос.

Пять секунд, десять... Я понимала, что сейчас потеряю сознание; красно-черные цветы расцветали у меня перед глазами; в ушах звучала все та же молитва: «Пожалуйста о пожалуйста я тебя отпущу клянусь клянусь только пожалуйста Томас только ты Томас только ты навсегда только ты».

И вдруг, совершенно неожиданно, клеть высвободилась. Я заскользила, пытаюсь взобраться по осыпи наверх, и чуть не выпустила из рук багор. Отцепленная ловушка медленно потянулась следом за мной на берег. Перед глазами плыла пелена, во рту был металлический привкус, но я все-таки сумела оттащить клетки подальше от воды, ухватившись руками за край одной из них и чувствуя, как мелкие щепки от расколовшейся доски вонзаются мне под ногти и в покрытые волдырями ладони. Сдирая кожу с рук, я попыталась сорвать металлическую сетку, хотя была почти уверена, что щуке удалось высвободиться.

И вдруг что-то тяжело шлепнуло по стенке клетки – такой яростный влажный шлепок, словно моя мать хлопнула тяжелой мочалкой по краю эмалированной ванны: «Посмотри на свое лицо, Буаз, это же позор! Иди сюда, давай-ка я умою тебя!» Странно, но в этот момент я почему-то вдруг

вспомнила о том, как мать собственноручно драила нас, считая, что мы просто не желаем умываться как следует, и порой терла до крови.

Шлеп-шлеп-шлеп. Теперь звук был гораздо слабее и не такой настойчивый, но я знала, что рыба, даже выкинутая на берег, может прожить не одну минуту, а порой и через полчаса еще дергается. Сквозь щели в темноте клетки виднелось чудовище цвета темного масла; время от времени в полосе солнечного света мелькал жуткий блестящий глаз, напоминавший одинокий шарик подшипника; и когда этот выпуклый глаз уставился прямо на меня, меня пронзила такая свирепая радость, что, казалось, я вот-вот умру.

– Старая щука, – хрипло прошептала я, – Старая щука, я хочу, хочу... Заставь его остаться. Пусть Томас останется со мной... – Я сказала это скороговоркой, чтобы Томас не услышал меня, а затем, поскольку он еще не вылез из воды, на всякий случай повторила просьбу, для верности: – Заставь Томаса остаться. Заставь его остаться навсегда.

Внутри клетки щука шлепнула хвостом и заворочалась. Теперь мне уже хорошо была видна ее пасть, похожая на мрачно опущенный уголками вниз полумесяц, усеянный по краям стальными крючками, принадлежавшими тем, кто тщетно пытался ее поймать. Мне стало жутко, до того она была громадной, однако меня переполняла гордость: я победила! Я испытывала какое-то почти безумное, всеобъемлющее облегчение. Все кончено. Завершился тот кошмар, что начался со смерти Жаннетт, ловли водяных змей, запаха апельсина и постепенного погружения нашей матери в пучину безумия. Он завершился здесь, на берегу Луары, возле клетки с огромной пойманной рыбиной. И все это – я, босоногая девчонка в перепачканной глиной юбке, со склеившимися от речного ила короткими волосами и сияющей от счастья физиономией. И эти клетки, и эта рыба, и этот мужчина с мокрыми волосами, с которых еще капает вода, кажущийся мальчишкой без военной формы... Я нетерпеливо огляделась.

– Томас! Ну где же ты? Иди скорее сюда! Ты только взгляни!

Мне никто не ответил. Лишь негромко плескалась речная волна, набегающая на илистый подмытый берег. Я забралась наверх, осматривая реку с обрыва.

– Томас!

Но Томаса нигде не было. А там, где он нырнул, поверхность воды была ровной и гладкой, цвета кофе с молоком, и на ней виднелось лишь несколько пузырьков воздуха.

– Томас!

Наверно, мне сразу следовало запаниковать. Если бы я отреагировала

мгновенно, может, я еще успела бы перехватить его, вытащить, избежать трагедии. Именно это я теперь постоянно себе твержу. Но тогда под воздействием головокружения от вырванной с таким трудом победы, дрожа от чудовищной усталости и еле держась на ногах, я решила, что это всего лишь игра, та самая, в которую они с Кассисом сотни раз играли: ныряли как можно глубже и притворялись, будто утонули, а сами прятались на мелком месте возле отмели и потом, естественно, выныривали с покрасневшими глазами и смеялись над Ренетт, которая каждый раз визжала и плакала от испуга.

В клетки повелительно всплеснула хвостом Старая щука, и я подошла к самой воде.

– Томас, ты где?

Молчание. Я постояла немного, но эти несколько секунд показались мне вечностью; я снова тихонько его окликнула:

– Томас...

Однако слышала у своих ног лишь шелковистое шуршание Луары. Да в клетки по-прежнему раздавались шлепки Старой щуки, хотя и утратившие былую мощь. Вдоль подмытого берега в воду уходили длинные желтые корни, напоминавшие пальцы старой ведьмы. И я вдруг поняла.

Мое желание исполнилось.

Когда два часа спустя Кассис и Рен нашли меня, я лежала с сухими глазами на берегу реки, одной рукой обнимая сапоги Томаса, а второй – разломанную упаковочную клетку, внутри которой была чудовищных размеров щука, уже начинавшая пованивать.

Мы тогда были всего лишь детьми. И не знали, как поступить. И очень боялись. Больше всех, пожалуй, боялся Кассис, поскольку был старше и гораздо лучше понимал, что с нами сделают, если именно нас заподозрят в гибели Томаса. Это Кассис нырял под берегом, высвобождал лодыжку Томаса, запутавшуюся в корнях, и вытаскивал его тело. И это Кассис собрал всю его одежду, скатал в узел и стянул ремнем. Он тоже плакал, но именно в тот день в нем впервые появилась жесткость, которой мы раньше в нем не замечали. А спустя много лет я думала о том, что, кажется, именно в тот день он и израсходовал все свои запасы храбрости и мужества и от этого, видимо, стал искать спасения в обволакивающем забытии алкоголя. От Рен толку не было вообще. Она сидела на берегу и непрерывно лила слезы; лицо ее покрылось пятнами и стало почти безобразным. Кассису пришлось хорошенько ее встряхнуть и заставить пообещать – пообещать! – что она немедленно возьмет себя в руки и сделает вид, будто ничего не случилось. Она подняла на него полные слез глаза, слегка кивнула и тут же снова зарыдала: «О Томас, Томас!» Возможно, именно из-за того дня я так и не сумела по-настоящему возненавидеть Кассиса, даже когда он предал меня. Он ведь тогда весь день от меня не отходил, а это, в конце концов, было гораздо больше, чем все то, что сделали для меня другие. Я до сих пор так считаю, хотя теперь-то поддержка у меня есть.

– Вы поймите, – мальчишеский голос Кассиса, срывающийся от страха, по-прежнему звучал до странности похоже на голос Томаса, точно его эхо, – если они узнают про нас, то сразу решат, что это мы убили его. И тогда нас расстреляют.

Рен смотрела на брата огромными, расширившимися от ужаса глазами, зато я вовсе на него не смотрела. Я уставилась за реку, охваченная каким-то странным равнодушием, полным безразличием. Меня-то никто не расстреляет. Ведь я поймала Старую щуку. Кассис резко хлопнул меня по плечу. Он был очень бледен, но по-прежнему настойчиво требовал внимания.

– Буаз, ты слушаешь меня?

Я кивнула.

– Мы должны все преподнести так, будто его убил кто-то другой, – продолжал брат. – Допустим, бойцы Сопротивления. Или еще кто. Если они подумают, что он просто утонул... – Кассис умолк и с каким-то

суеверным страхом взглянул на реку. – Если выяснят, что он ходил с нами купаться, то станут допрашивать и других, Хауэра и прочих, и тогда...

Кассис судорожно сглотнул. Собственно, объяснять ничего больше не требовалось. Мы смотрели друг на друга, и взгляд Кассиса был почти умоляющим.

– Мы должны сделать так... – Он по-прежнему не сводил с меня глаз. – Ну, как если бы его кто-то застрелил... казнил, понимаешь?

– Хорошо, – согласилась я, – я это сделаю.

Нам потребовалось немало времени, чтобы научиться стрелять из пистолета. Там был предохранитель. Мы спустили его. Пистолет был тяжелый, и от него пахло смазкой. Затем возник вопрос, куда лучше стрелять. Я предложила в сердце, Кассис – в голову. «Хватит одного выстрела, – сказал он, – прямо сюда, в висок; пусть все думают, что это дело рук борцов Сопротивления». Для правдоподобности мы связали Томасу запястья веревкой, а звук выстрела заглушили его кителем. Однако это почти не помогло: звук, не особенно громкий, но все же обладавший странным гулким эхом, заполнил, казалось, все пространство вокруг.

Горе сковало мне душу до таких глубин, что я словно начисто лишилась способности чувствовать, словно оцепенела, мои мысли катились, как эта река, такая гладкая и блестящая на поверхности, но таящая в своих водах смертный холод. Мы затащили тело Томаса в реку и слегка подтолкнули. Нам казалось, что без одежды, без нашивок на мундире его вряд ли кто опознает. Тем более, уверяли мы себя, к завтрашнему дню его наверняка унесет течением до самого Анже.

– А что с его одеждой-то делать? – Кассис был смертельно бледен, даже губы посинели, но голос звучал по-прежнему твердо. – Рисковать мы не можем, значит, нельзя просто бросить ее в воду. Кто-нибудь может ее найти и догадаться.

– Ее можно сжечь, – ответила я.

Кассис покачал головой и кратко пояснил:

– Нет, будет слишком много дыма. И потом, пистолет ведь не сожжешь, и ремень с пряжкой, и все эти нашивки.

Я равнодушно пожала плечами. Я не возражала ему. Перед глазами стояло тело Томаса и то, как оно мягко поворачивается в воде – точно ребенок в колыбели. И тут я сообразила:

– Нора морлоков!

Кассис согласно кивнул.

– Правильно.

Наш старый колодец и теперь выглядит почти так же, как тогда, только кто-то накрыл его бетонной плитой, чтоб детишки туда ненароком не упали. Теперь у нас, разумеется, водопровод. Когда же мы с матерью жили на ферме, колодец был для нас единственным источником питьевой воды, а для полива мы использовали дождевую воду, собирающуюся в пруду. Стенки колодца были выложены кирпичом, и в целом он представлял собой огромную трубу, которая еще и над землей возвышалась футов на пять, с насосом для накачивания воды. Сверху колодец был накрыт деревянной крышкой, которую запирали на большой висячий замок – во избежание несчастных случаев, а также чтобы никто не подбросил в воду отраву. Порою летом, когда слишком долго тянулась засушливая жара, вода в колодце становилась желтой и солоноватой, но большую часть года была прозрачной и вкусной. Прочитав «Машину времени», мы с Кассисом довольно часто играли в морлоков и элов возле этого колодца, напоминавшего мне своей суровой основательностью те мрачные норы, в которых исчезали жуткие морлоки.

Мы вернулись домой только с наступлением темноты, прихватив с собой связанную в узел одежду Томаса и спрятав ее в густых зарослях лаванды на дальнем краю сада. Теперь надо было дожидаться ночи. Принесенный Томасом сверток с журналами и гостинцами мы, так и не распаковав, тоже взяли с собой – после случившегося даже у Кассиса не возникло ни малейшего желания посмотреть, что в этом свертке. Он придумал план: одному из нас придется под благовидным предлогом выйти ночью из дома – при этом он явно имел в виду меня – и быстренько все бросить в колодец. Ключ от крышки колодца висел на входной двери вместе с остальными ключами от дома; на нем даже бирочка была: «колодец» – очередное свидетельство чрезвычайной любви матери к порядку и аккуратности. Взять ключ ничего не стоило, как и повесить обратно, и мать ничего не заподозрила бы. А уж потом, сказал Кассис с какой-то незнакомой жесткостью в голосе, все будет зависеть только от нас самих. С Томасом Лейбницем мы никогда не были знакомы и никогда о нем не слышали. И никогда ни с кем из немецких солдат не общались. Хауэр и прочие, скорее всего, будут держать язык за зубами – они же понимают, что для них так лучше. В общем, нам нужно всего лишь прикинуться деревенскими дурачками и лишний раз не раскрывать рта.

Это оказалось гораздо легче, чем мы предполагали. У матери случился очередной ужасный приступ, так что она была совершенно поглощена собственными страданиями и не заметила ни наших бледных физиономий, ни заплаканных глаз. Она, правда, тут же отправила Рен в ванную, утверждая, что все еще чувствует исходящий от нее запах апельсина, а потом сама протерла ей руки камфарным маслом, но и этого ей показалось мало, и она принялась тереть их пемзой, пока Рен, плача от боли, не запросила пощады. Они вышли из ванной минут через двадцать; волосы Рен были закатаны в банное полотенце, и от нее сильно пахло камфарой; мать была чрезвычайно мрачна, сурово поджимала губы и явно с трудом сдерживала гнев, kloкотавший в ее душе. Ужина она не приготовила.

– Сами себе готовьте, если хотите, – сердито буркнула она. – Шатаетесь по лесам, точно цыгане. И на площади выставились, как не знаю что...

Она с трудом сдержала стон и одной рукой коснулась виска давно знакомым предостерегающим жестом, а потом молча уставилась на нас, словно впервые видела. Постояв так, она вдруг уселась в кресло-качалку у камина и с яростью взялась за вязание, покачиваясь и сердито поглядывая в огонь.

– Апельсины, – тихо пробормотала она. – И чего вы все время апельсины в дом тащите? Неужели так сильно меня ненавидите?

Ни к кому конкретно она не обращалась, да никто из нас и не решился бы ей ответить. Что мы могли сказать?

В десять часов она ушла к себе. Считалось, что для детей это уже довольно поздний час, но мать во время приступов как будто начисто утрачивала всякое представление о времени, а потому по постелям нас не отправила. Мы еще немного посидели на кухне, слушая, как она готовится ко сну. Кассис спустился в погреб поискать какой-нибудь еды и принес немного rillettes, завернутых в бумагу, и полкаравая хлеба. Мы поели, хотя никто из нас особого голода не испытывал. По-моему, мы ели только для того, чтобы не разговаривать друг с другом.

То, что мы сотворили сегодня все вместе, по-прежнему не давало нам покоя; та жуткая картина стояла перед глазами, точно кошмарный плод на ветке. Тело Томаса, его бледная кожа северянина, почти голубоватая на фоне пестрой осенней листвы, отсутствующее, словно обращенное в себя,

выражение мертвого лица. Когда мы сбрасывали его в воду, он выглядел каким-то сонным, покорным, словно разом лишившимся костей. Сперва мы ногами подгрести к его развороченному выстрелом затылку целую кучу опавших листьев – странно, ведь входное пулевое отверстие казалось таким маленьким и аккуратным, – потом медленно подкатили его к воде; послышался неторопливый, почти царственный всплеск, и мы оттолкнули его от себя. Черная ярость волной вздымалась в моей душе, затмевая даже тяжкое горе. «Ты обманула меня, проклятая Старуха! – думала я. – Ты обманула меня! Обманула!»

Первым молчание нарушил Кассис:

– Ладно, сама понимаешь, тебе туда идти. Давай. Пора уже.

Я с ненавистью на него взглянула.

– Это должна сделать ты, – настаивал он. – Давай, пока не поздно.

Рен умоляюще посмотрела на нас своими трогательными телячьими глазами.

– Хорошо, – ровным голосом произнесла я, – я все сделаю.

Затем я снова отправилась на реку. Не знаю, что я там рассчитывала увидеть – возможно, призрак Томаса Лейбница, который будет стоять, прислонившись к Наблюдательному посту, и курить сигарету. Даже странно, но река осталась обычной; над ней вовсе не висела та колдовская тишина, которая, как мне казалось, должна была бы окутать ее берега после столь страшного преступления. Мирно квакали лягушки, тихо плескалась вода под нависшим берегом. В сером холодном свете луны мертвая щука уставилась на меня своими глазами-подшипниками и словно усмехалась, приоткрыв покрытую слизью пасть. Я не могла отделаться от мысли, что она вовсе не мертва, что до нее доходит каждое слово, что она и сейчас ко мне прислушивается.

– Я ненавижу тебя! – бросила я ей.

Она продолжала смотреть на меня своими остекленевшими, полными презрения глазами. Вся ее морда вокруг зубастой пасти была утыкана поломанными рыболовными крючками; некоторые из них успели врасти в плоть и выглядели как странные, дополнительные, клыки. Я легла возле нее на траву, почти касаясь лицом ее морды. От щуки уже исходила гниlostная вонь, смешиваясь с влажным запахом земли.

– Я ведь отпустила бы тебя, – прибавила я, глядя ей в глаза. – И ты это знала. Но ты все-таки обманула меня.

В бледном лунном свете взгляд Старой щуки казался почти понимающим. Почти торжествующим.

Не могу с уверенностью сказать, сколько времени я провела возле нее. Наверно, я даже немного задремала, потому что, когда снова очнулась, луна уже почти спустилась за реку и по гладкой молочно-белой поверхности воды пролегла лунная дорожка. Было очень холодно. Я села, растирая онемевшие руки и ноги, потом осторожно приподняла дохлую щуку. Она была очень тяжелая и скользкая, вся покрытая слизью и речным илом; на ее боках поблескивала чешуя, отовсюду торчали острые остатки рыболовных крючков, точно осколки панциря. Больше я не проронила ни слова. Я молча подтащила ее к Стоячим камням, на которых все лето развешивала трупы водяных змей, и с трудом нацепила ее нижней челюстью на один из вбитых мною гвоздей. Тело рыбы было все еще плотным, упругим, и сначала я засомневалась, сумею ли проткнуть ее грубую шкуру, но после некоторых усилий мне это удалось. Старая щука висела с разинутой пастью над рекой, и казалось, что она одета в юбку из змеиных шкур, которые слабо шелестели на ветру.

– И все-таки я добралась до тебя, – тихо произнесла я.

И все-таки я добралась до тебя.

Мой первый звонок чуть было не закончился неудачей.

Женщина, подошедшая к телефону, видно, случайно задержалась на работе – было уже минут десять шестого – и не успела включить автоответчик. В ее голосе, очень молодом, так явственно звучала досада, что мужество меня тут же покинуло и я стала весьма невнятно, онемевшими вдруг губами излагать суть вопроса. Конечно, было бы гораздо лучше, если б мне ответил кто-нибудь постарше, кто не забыл войну, кто, возможно, вспомнил бы даже имя моей матери. Я была почти уверена, что девушка сейчас бросит трубку со словами, что все это дела давно минувших дней и никому теперь подобные истории не интересны.

Я почти слышала, как она говорит мне это, и хотела уже сама нажать на рычаг и отсоединиться, когда до меня вдруг дошло, что она настойчиво меня окликает:

– Мадам? Мадам? Вы слышите меня? Вы слышите меня?

– Да, слышу, – с трудом выдавила я.

– Вы сказали: Мирабель Дартижан?

– Да. Я ее дочь. Фрамбуаза.

– Погодите. Пожалуйста, подождите минутку! – В ее голосе не осталось и следа былой досады; она была по-прежнему профессионально вежлива, но прямо-таки задыхалась от волнения. – Только не вешайте трубку, пожалуйста!

Я ожидала обычной заметки, ну, самое большее статейки с парочкой фотографий. Вместо этого со мной затеяли беседу о правах на киносценарий и о возможности продать мои права за границу, причем не только на саму историю, но и на будущую книгу. Я, конечно, в ужасе заявила, что уж книгу-то написать мне точно не по плечу. Да, я умею читать и писать, но чтобы сочинить целую книгу... В моем-то возрасте? Они тут же принялись меня убеждать, что мои умения тут совершенно ни при чем, что для подобной работы как раз и существуют литературные «негры».

Литературные «негры»? Ничего себе! От этого выражения у меня мурашки по спине побежали.

Сначала я думала, что все делаю в отместку Лоре и Яннику. Желаю лишить их этой жалкой победы. Но время было упущено. Помнится, Томас как-то обмолвился, что мстить можно по-разному. И потом, они мне теперь и впрямь казались какими-то жалкими. Янник упорно слал мне письмо за письмом. Он сообщал, что живет теперь в Париже, что Лора подала на развод. Она со мной связаться даже не пыталась. И теперь я, пожалуй, относилась к ним обоим с некоторым состраданием. Они ведь, в конце концов, так бездетными и остались. А значит, не имеют понятия, какая из-за этого огромная между нами разница!

После звонка в редакцию вторым моим шагом был звонок Писташ. Она ответила мгновенно, словно караулила у телефона. Ее голос был очень спокойным, хоть и страшно далеким. Где-то на заднем плане слышались собачий лай и детские голоса – это Прюн и Рико играли во дворе в какую-то весьма шумную игру.

– Конечно, я приеду, – ласково пообещала Писташ. – Жан-Марк вполне может и один побыть с детьми несколько дней.

Ах, моя милая Писташ! Какая же она терпеливая и нетребовательная! Она даже не догадывается, каково это – носить такой камень на сердце. Ей-то, слава богу, не довелось пережить подобное. Она, наверно, меня любит и, возможно, даже простит меня, но вот понять по-настоящему никогда не сумеет. Впрочем, так оно и лучше. Для нее.

Мой третий, завершающий звонок был за границу. Я оставила сообщение, с трудом выговаривая иностранные слова. Голос мой по-стариковски дрожал, и мне пришлось несколько раз повторить просьбу, чтобы меня наконец поняли, – там слышались дребезжание посуды, чьи-то

громкие голоса и музыка из автомата. Оставалось надеяться, что мое послание все-таки передадут Нуазетт.

Теперь уже всем известно, что случилось после того, как Томаса нашли. А нашли его очень быстро, не прошло и суток, причем в Ле-Лавёз, а вовсе не поблизости от Анже. Его не унесло течением вниз, а выбросило на песчаный берег всего в полумиле от деревни. Нашли Томаса те же немцы, что сразу обнаружили его мотоцикл, спрятанный в кустах у дороги неподалеку от Стоячих камней. От Поля мы знали, какие сплетни гуляют по деревне. Одни считали, что немца пристрелили неизвестные борцы Сопротивления, потому что он, будучи в патруле, засек их после начала комендантского часа; другие – что его прикончил какой-то снайпер-коммунист, желая завладеть важными документами; а некоторые были уверены, что с ним разобрались свои же, когда выяснилось, что он спекулирует на черном рынке армейским имуществом. В Ле-Лавёз вдруг стало очень много немцев – и в черных формах, и в серых; во всех домах по очереди производились обыски.

Но к нашему дому немцы особого внимания не проявили. У нас ведь даже мужчины не было, только трое сорванцов да их больная мамаша. Дверь им, когда они постучали, открыла я; я же все им и показала, даже вокруг дома провела, но их, кажется, куда больше занимало, знаем ли мы что-нибудь о Рафаэле Креспене. Поль потом поведал нам, что Рафаэль почти сразу исчез, либо на следующий день, либо еще ночью. Исчез без следа, прихватив с собой все наличные деньги и документы, а в подвале «La Mauvaise Réputation» немцы нашли целый склад оружия и столько взрывчатки, что ее вполне хватило бы дважды взорвать всю нашу деревню вместе с обитателями.

Немцы приходили к нам два раза, обыскали весь дом от погреба до чердака и, судя по всему, окончательно утратили к нам интерес. Я с некоторым удивлением отметила, что офицер СС, руководивший обыском, – тот самый краснорожий весельчак, который в начале лета хвалил на рынке нашу клубнику. Он остался таким же краснорожим и веселым, хоть и занимался отнюдь не самыми веселыми делами; меня он узнал и шутливо мимоходом взъерошил мне волосы, а потом проследил, чтобы солдаты после обыска все привели в порядок. На дверях церкви вывесили объявление, написанное по-французски и по-немецки: всех имеющих какие-либо сведения по этому делу приглашали добровольно ими поделиться. Мать в те дни практически не покидала спальню – мучилась от

очередного приступа мигрени; днем она спала, а ночью бодрствовала и разговаривала сама с собой.

Мы же трое спали плохо, и всем нам снились кошмары.

Когда наступил финал, мы вроде бы даже испытали некоторое облегчение. Мы, собственно, узнали об этом, когда все было кончено. Это случилось в шесть часов утра у западной стены церкви Святого Бенедикта, поблизости от того фонтана, возле которого всего два дня назад восседала Ренетт в короне из ячменных колосьев и всех одаривала цветами.

Поль специально прибежал к нам с новостями. Он был очень бледен, на щеках красные пятна, на лбу вздулись жилы, и заикался он гораздо сильнее обычного. Не рассказ получился, а сплошное заикание. Но мы слушали его молча, мало того – мы прямо-таки онемели, застыли от ужаса; мы никак не могли понять, как столь крошечное семя зла, посеянное нами, успело превратиться в такой жуткий кровавый цветок. Поль называл имена погибших, и они падали мне на душу, точно тяжкие камни в глубокую воду. Десять имен, которые невозможно забыть, и я до конца жизни их не забуду: Мартен Дюпре, Жан-Мари Дюпре, Колетт Годен, Филипп Уриа, Анри Леметр, Жюльен Ланисан, Артюр Лекоз, Аньес Пети, Франсуа Рамонден, Огюст Трюриан. Они звучат в моей памяти, я невольно повторяю их, как прилипчивый припев какой-то песенки; этот жуткий «припев» будит меня среди ночи, он и во сне заставляет мое сердце тяжело биться, он контрапунктом звучит в мелодиях и ритмах моей повседневной жизни, безжалостно нарушая ее привычный ход. Десять имен. Десять человек – те, что в тот вечер были в «*La Mauvaise Réputation*».

Мы только потом догадались, что к этому привело исчезновение Рафаэля. В подвале кафе нашли оружие, в связи с чем предположили, что владелец кафе был связан с Сопротивлением. Но толком никто ничего не знал. Возможно, под прикрытием кафе и впрямь действовала одна из партизанских групп. А может, гибель Томаса немцы просто сочли мстью за смерть старого Гюстава Бошана. Как бы то ни было, Ле-Лавёз заплатила высокую цену за столь крошечный акт неповиновения. Точно осы под конец лета, немцы чувствовали, что близится их конец, и мстили с инстинктивной жестокостью.

Мартен Дюпре, Жан-Мари Дюпре, Колетт Годен, Филипп Уриа, Анри Леметр, Жюльен Ланисан, Артюр Лекоз, Аньес Пети, Франсуа Рамонден, Огюст Трюриан. Я часто думала, как они уходили: безмолвно, как исчезают во сне фигуры людей, или плакали, умоляли, цеплялись друг за друга в тщетных попытках спастись? Производился ли после казни осмотр тел? Может быть, кто-то еще дергался или стонал, и тогда немцы заставляли

таких замолчать, сделав из пистолета последний выстрел или попросту ударив по голове рукояткой. И может, кто-то из палачей уже после всего приподнял окровавленную женскую юбку, обнажив гладкое стройное бедро своей жертвы... Поль утверждал, что все свершилось в несколько секунд. Смотреть никому не разрешили; окна велели закрыть ставнями и снаружи выставили солдат с автоматами. Я и сейчас легко могу себе представить, как люди прятались за закрытыми ставнями, жадно льнули к каждой щелке, к каждой дырочке, одурев от ужаса, с полуоткрытыми ртами, опасаясь даже перешептываться, но все же перешептываясь еле слышно, полузадушенно, не в силах сдержать сыплющиеся из рта слова, словно те могли помочь в чем-то разобраться.

– Вон они идут! Братья Дюпре. И Колетт! Колетт Годен. И Филипп Уриа. И Анри Леметр... Господи, а этого-то за что? Он ведь и мухи не обидит. А Жюльен Ланисан и десяти минут на дню трезвым не бывает. Боже мой, и Артюр Лекоз, и Аньес Пети, и Франсуа Рамонден! И Огюст Трюриан...

Из церкви, где в то время служили утреннюю мессу, доносилось пение – гимн урожаю. Перед закрытыми дверями на страже стояли двое солдат, мрачные и явно скучающие. Отец Фроман, как всегда, что-то блял, паства вполголоса ему вторила. Но народу в церкви было не много, всего два-три десятка, да и у тех лица мрачные, взгляд обвиняющий: прошел слух, будто священник в стоворе с немцами. Орган играл вовсю, но так и не смог заглушить выстрелы, что раздались снаружи, у западной стены церкви; не смог он заглушить и негромкий стук пуль по старым камням; эти звуки навсегда врезались в плоть и кровь каждого из тех, кто был тогда в церкви; они вонзились им в память, как, случается, вырастает в мясо забытый рыболовный крючок и потом его уже ни за что не вытащить. У задней стены церкви вдруг кто-то запел «Марсельезу», но как-то неуверенно, будто спяну, и тут же смущенно умолк.

Мне все это часто снится, и сны эти куда яснее иных воспоминаний. Я отчетливо вижу лица этих людей. Слышу их голоса. С ужасом наблюдаю за этим внезапным, ошеломительным превращением живых людей в трупы. Душа моя пронизана горем настолько, это горе достигло таких глубин, что теперь мне до него не добраться; и если после тех снов я просыпаюсь с мокрым от слез лицом, то испытываю какое-то странное чувство удивления, почти безразличия. Томаса больше нет. А все остальное для меня почти не имеет значения.

Наверно, все мы тяжело, хотя и по-разному, переживали потрясение. Но никогда это не обсуждали; каждый справлялся сам, как мог. Ренетт

пряталась у себя в комнате, часами валялась на кровати и рассматривала киножурналы. Кассис без конца читал, и мне казалось, что он стремительно, прямо на глазах стареет, превращаясь чуть ли не в пожилого человека, словно в нем что-то надломилось и уже никогда не выправится. Ну а я почти все время проводила в лесу или на реке. На мать мы в то время внимания почти не обращали, хотя ужасные приступы у нее следовали один за другим и продолжались дольше, чем тот, самый долгий, вызванный мною с помощью апельсиновых шкурок. Но мы уже как-то успели забыть, что ее нужно бояться. Даже Рен перестала вздрагивать, слыша ее гневные окрики. В конце концов, мы ведь теперь стали настоящими убийцами. Чего ж нам ее-то бояться?

Ненависть моя, как и мой гнев, будто утратила цель: Старая щука была пригвождена к Стоячему камню, так что винить ее в смерти Томаса вряд ли имело смысл. Однако я постоянно чувствовала, что она жива, что она наблюдает за мной, словно в объектив фотоаппарата, щелкает затвором, разгоняя тьму и примечая все на свете. Выходя из своей комнаты после очередной бессонной ночи, мать выглядела бледной, измученной и какой-то совершенно отчаявшейся. И я ощущала, как ненависть в моей душе оживает, напрягается при виде ее, сжимается и превращается в изысканный черный бриллиант осознания.

Это была ты была ты была ты.

Она смотрела на меня, будто читая мои мысли.

– Что ты, Буаз?

Ах, каким дрожащим, каким уязвимым был ее голос!

И я отворачивалась, чувствуя, что ненависть окрепла в сердце, точно кусок льда.

А мать судорожно вздыхала у меня за спиной.

Затем в колодце испортилась вода. Всегда такая чистая и вкусная, она вдруг приобрела коричневатый, какой-то торфянистый оттенок и странный, горьковатый, горелый привкус, словно в колодец неведомо как упали сухие листья и теперь гниют там. День или два мы не обращали на это внимания, но вода становилась все хуже, и даже мать, у которой вроде бы стали не так часто случаться ужасные приступы, это заметила и предположила:

– Наверно, что-то попало в воду.

Мы уставились на нее, изобразив на лицах обычное тупое равнодушие.

– Схожу, пожалуй, взгляну, – решила она.

Мы стоически ждали разоблачения, старательно демонстрируя друг перед другом храбрость.

– Да ничего она не докажет, – с отчаянием в голосе заявил Кассис. – Ей ничего не известно.

Рен захныкала:

– Ты что? Она же сразу все поймет! Сразу! Как только все вытащит, так сразу и догадается!

Кассис яростно впился зубами в костяшки пальцев, словно пытаясь задушить рвущийся наружу вопль, и простонал:

– Ну почему ты скрyla, что в свертке был кофе? И о чем ты только думала?

Я пожала плечами. Единственная из нас троих, я хранила полную безмятежность.

Но разоблачение так и не состоялось. Мать вернулась от колодца с полным ведром сухих листьев и сообщила, что вода чистая.

– Наверно, ил с реки вместе с грунтовыми водами просочился, – пояснила она почти веселым тоном. – Вот спадет вода в реке, грунтовые воды понизятся, и вода в колодце будет совсем чистой, как прежде. Сами увидите.

Колодец она снова заперла на замок, а ключ повесила не на дверь, а себе на пояс, лишив нас всякой возможности все проверить самим.

– Сверток, наверно, ушел на самое дно, – предположил Кассис. – Он ведь довольно-таки тяжелый был, верно? Она не заметит его, если только

колодец не пересохнет.

Вероятность того, что наш колодец пересохнет, была крайне мала, и мы прекрасно это понимали. Как понимали и то, что к лету содержимое свертка наверняка превратится на дне колодца в непонятное месиво.

– Мы спасены, – подытожил Кассис.

Рецепт малинового ликера:

«Я сразу ее узнала. Сначала, правда, решила, что туда просто нанесло листьев, и попыталась подцепить их багром да выудить из колодца, надеясь, что вода станет лучше. Почистить малину, вынуть цветоножки и на полчаса замочить ягоды в теплой воде. И вдруг обнаружила, что это не листья, а скатанная военная форма, перетянутая ремнем. Мне даже в карманах рыться не было нужды – я и так тотчас догадалась. Потом воду слить, хорошенько подсушить ягоды и высыпать в просторную посудину или банку, полностью покрыв дно. Хорошенько посыпать сахаром и дальше накладывать слой за слоем – слой малины, слой сахара – до самого верха. Сперва-то я даже думать была не в состоянии. Детям просто сказала, что колодец я прочистила и воду теперь можно брать. А сама пошла и легла. Колодец я заперла на замок. Но сколько ни лежала, ясности в голове не прибавилось. Залить малину и сахар коньяком, лить осторожно, стараясь не повредить слои; когда устоится, долить коньяка до самого верха и оставить как минимум года на полтора».

Почерк мелкий и аккуратный; в записи использован тот дурацкий шифр, к которому она вечно прибегала, желая сохранить воспоминания в тайне от всех. Я почти слышу ее голос; она вполне спокойно, чуть в нос, делится своими выводами:

«Скорее всего, это я виновата. Я столько раз мечтала это сделать, что, наверно, все-таки в итоге довела задуманное до конца. В колодце ведь его одежда, в кармане – его солдатский медальон. Он, должно быть, снова явился, и я не сдержалась, застрелила его, раздела и столкнула в реку. Я теперь, пожалуй, могу в точности все вспомнить, хотя вспоминается как-то неясно, словно во сне. Теперь мне многое кажется сном. Может, оно и к лучшему. И о содеянном я вовсе не жалею. После того, как он обошелся со мной, после всех его поступков, после того, что он позволил им сотворить с Рен, и со мной, и с моими детьми, и со мной...»

В этом месте слова разобрать почти невозможно; такое ощущение, будто мать внезапно охватил ужас и ее рука с зажатой в пальцах ручкой

принялась выписывать по странице отчаянные вензеля, точно на коньках. Затем, видимо, она снова взяла себя в руки.

«Я должна думать о детях. Вряд ли они теперь в безопасности. Он ведь постоянно использовал их. Все это время мне казалось, что ему нужна я, но ему были нужны только мои дети, и он использовал их. Всячески меня тешил, притворялся влюбленным, но лишь для того, чтобы иметь возможность попользоваться моими детьми. Ох уж эти письма! Сколько же в них было злобы, но именно они и открыли мне глаза. Что мои дети делали в "La Rép"? Что он еще замышлял? Как после такого хотел их использовать? Может, даже и хорошо, что с Рен так получилось. В конце концов, ему эта история здорово подпортила жизнь. Как-то сразу все у него вышло из-под контроля. Да еще и человек погиб, что в его планы уж вовсе не входило. Те, другие немцы никогда по-настоящему во всем этом не участвовали. Их он тоже только использовал. Чтобы в случае чего свалить вину на них. А теперь и мои дети...»

Дальше совершенно неразборчиво, потом немыслимыми каракулями вкривь и вкось нацарапано:

«Господи, хоть бы вспомнить! Что на этот раз он обещал мне за молчание? Принести еще таблеток? Неужели он и впрямь думал, что я смогу спать спокойно, зная, какую цену отдала за эти таблетки? А может, он просто улыбался и гладил мне лицо, как только он один и умеет, словно все у нас с ним по-прежнему, ничего не случилось, ничего не переменилось? Но что все-таки заставило меня это сделать?»

Фразы прочесть можно, хоть и написаны они дрожащей рукой, и чувствуется, что мать невероятным усилием воли сдерживала эту дрожь.

«Платить, конечно, приходится за все. Но я не стану расплачиваться своими детьми! Возьмите кого-нибудь другого. Кого угодно. Возьмите хоть всю деревню, если хотите. Когда во сне я вижу их лица, то уверена, что сделала это ради них, своих детей. Надо бы, наверно, на время отослать их к Жюльетт, а самой со всем здесь разобраться и, как только кончится война, забрать их. Там безопасно. И от меня подальше. Да, надо отослать их подальше от меня, мою милую Рен, Кассиса и Буаз. В первую очередь мою маленькую Буаз. Да и что еще я могу для них сделать? Господи, кончится ли все это когда-нибудь?!»

Прямо посреди этой горькой исповеди аккуратно записан красными чернилами рецепт запеканки с крольчатинной. А дальше другими чернилами и совсем в ином тоне – ее дальнейшие рассуждения о планах на будущее; такое ощущение, словно она, пока писала рецепт, успела все хорошо обдумать.

«Итак, решено. Отошлю их к Жюльетт. Там они будут в безопасности. Сочиню что-нибудь на радость местным сплетникам. Не могу же я просто так взять и бросить ферму; и о деревьях в преддверии зимы нужно позаботиться. Прекрасная Иоланда все еще больна грибком, надо бы непременно его извести. Детям без меня будет безопасней. Это я теперь точно знаю».

Мне больно представить, какие мучительные чувства терзали ее душу. Страх, угрызения совести, отчаяние и ужас от мысли, что она все-таки сходит с ума, что ужасные приступы открыли дверь ее ночным кошмарам и те устремились напрямик в реальную жизнь, угрожая всему, что она так любит. Но и здесь видны твердость ее воли, ее стойкость и упрямство, которые я унаследовала от нее, а также инстинктивное желание любым способом, даже ценой собственной жизни удержать то, что ей принадлежит.

Однако тогда я совсем не понимала, что приходится переживать матери. Меня преследовали собственные кошмары. Но и пребывая в крайне угнетенном состоянии, я не могла не замечать, какие сплетни бродят по деревне, становясь все более громкими и угрожающими, хотя мать не только не желала их опровергать, но, казалось, совсем не обращала на них внимания. Та надпись на стенке курятника положила начало тонкой струйке недоброжелательства и подозрений, которые теперь, после расстрела у стен церкви, стали разливаться уже широким потоком. Люди ведь по-разному выражают горе – кто молча, кто в гневе, а кто-то и в ненависти к другим. Крайне редко горе пробуждает в людях их лучшие качества, что бы там ни вздумали вам поведать местные историки, и жители Ле-Лавёз не составляли исключения из этого правила. Кретьена и Мюриель Дюпре, потрясенных гибелью обоих сыновей, страшное горе на какое-то время повергло в безмолвие, но потом они вдруг принялись нападать друг на друга и постоянно лаялись – она сварливо и злобно, он грубо, по-хамски; они даже в церкви садились как можно дальше друг от друга, сердито сверкая глазами, и под глазом у Мюриель то и дело

красовался свежий фингал; все это весьма пахло настоящей ненавистью. Старый Годен забрался в свою нору, точно черепаха в панцирь в преддверии зимней спячки. Изабель Рамонден, всегда прежде острая на язык, если не злобная, вдруг превратилась в слезливую ханжу; она так беспомощно поглядывала на всех своими влажными темными глазами, и пухлый подбородок ее так дрожал, будто она вот-вот расплачется. Я сильно подозреваю, что она-то все и начала. А может, и Клод Пети, который слова доброго о своей сестрице не сказал, пока та была жива, зато теперь прямо-таки убивался по ней; или, возможно, Мартен Трюриан, который после расстрела брата должен был унаследовать все отцовское хозяйство. Смерть всегда заставляет крыс вылезти из подпола, а в Ле-Лавёз этих крыс было полным-полно: и зависть, и ханжество, и фальшивое милосердие, и алчность. Всего-то три дня прошло, а все уже подозрительно друг на друга посматривали. Шептались, собравшись по двое, по трое, а стоило пройти мимо, сразу затихали. Или ни с того ни с сего раздражались слезами, а потом вдруг буквально через минуту своим же друзьям были готовы выбить зубы. И вскоре даже я догадалась, что все эти перешептывания, это вынужденное молчание, все эти косые взгляды и невнятные проклятия так или иначе связаны с нами. Это чаще всего имело место, когда поблизости оказывался кто-то из нашей семьи – когда мы ходили на почту за письмами, или на ферму Уриа за молоком, или в скобяную лавку за гвоздями. Каждый раз те же косые взгляды, тот же гнусный шепот. Однажды кто-то, спрятавшись за молочным сараем, запустил в мою мать камнем; потом как-то – уже после комендантского часа – в нашу дверь полетели комья глины. Женщины отворачивались, не отвечая на наши приветствия. И снова стали появляться те надписи, теперь уже на стенах дома.

«НАЦИСТСКАЯ ШЛЮХА!» – гласила одна. А на стене сарая для коз кто-то вывел: «ЭТО ИЗ-ЗА ТЕБЯ ПОГИБЛИ НАШИ БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!»

Но мать относилась к этому с каким-то равнодушным презрением. Стала покупать молоко у Креси, когда на ферме Уриа ей отказались его продавать, а письма отправляла теперь из Анже. Прямо ей никто ничего не говорил, но однажды воскресным утром Франсина Креспен, возвращавшаяся из церкви, плюнула ей под ноги, и мать отреагировала мгновенно: плюнула Франсине прямо в лицо, и весьма метко.

А нас троих, казалось, в деревне вообще не замечали, особенно взрослые. Поль еще иногда общался с нами, но только когда никто не видел. Впрочем, время от времени кто-нибудь вроде сумасшедшей Дениз Лела мог подарить нам яблоко или кусок пирога; Дениз совала угощение нам в карманы и скрипела надтреснутым старушечьим голосом: «Возьми,

детка, возьми, ради бога! Какая жалость, что и дети оказались замешанными в такие грязные дела!», а потом спешила восвояси, волоча черные юбки по тусклой желтой пыли и крепко сжимая костлявыми пальцами ручку корзины для покупок.

В понедельник все вокруг только и судачили о том, что Мирабель Дартижан – немецкая шлюха и, наверно, поэтому ее семью с самого начала щадили, не облагая данью. Во вторник кое-кто уже вспоминал, что и отец наш как-то раз выразил симпатию по отношению к немцам. В среду вечером несколько пьяных – «La Mauvaise Réputation» давно закрылась, и люди, напиваясь в одиночку, становились все более злыми и жестокими – явились к нашему дому и стали выкрикивать под окнами всякие оскорбления и швыряться камнями по закрытым ставням. Мы сидели у себя с выключенным светом и дрожали от страха, прислушиваясь к полужнакомым голосам, пока мать не выскочила из дому и не прекратила все это. В тот вечер они ушли по-тихому. Но на следующий день вернулись и вели себя куда более шумно. А потом наступила пятница.

Мы только поужинали и тут услышали, что они опять идут. Весь день было сыро, промозгло, на небо точно набросили старое влажное одеяло, так что у всех уже успело накопиться раздражение. Да и вечер принес мало радости, выкатив на поля клубы беловатого тумана, среди которого островком темнела наша ферма; туман влажными языками просачивался в щель под дверью и между рамами. Ели мы в полном молчании, что, впрочем, стало уже привычным, и без особого аппетита, хотя, помнится, мать постаралась приготовить именно то, что мы больше всего любили: свежее испеченный хлеб, посыпанный маком, масло от Креси, rillettes, ломтики andouillette^[77] из прошлогоднего поросенка, горячие, шипящие в жиру кусочки boudin^[78] и темные гречишные блинчики, почти прозрачные и хрустящие, как осенние листья. Мать изо всех сил пыталась казаться веселой и даже налила нам в глиняные кружки сладкого сидра, но сама пить не стала. Я помню, она постоянно улыбалась – правда, улыбка у нее получалась какая-то жалкая – или вдруг начинала хохотать с притворным весельем, будто лаяла, хотя вроде никто не шутил.

– Я тут подумала, – прозвучал неожиданно серьезно и четко ее голос, как звон металла, – и решила, что нам нужно немного развеяться.

Мы равнодушно смотрели на нее. В воздухе висел прямо-таки одуряющий запах жира и сидра.

– Может, нам съездить в Пьер-Бюфьер провести тетю Жюльетт? – предложила она. – Вам там понравится. Это в горах, чуть повыше Лиможа.

У Жюльетт есть и козы, и сурки, и...

– Козы и у нас есть, – спокойно возразила я.

Мать снова рассмеялась тем же ломким невеселым смехом.

– Вот уж в чем я не сомневалась. Ты просто не можешь не перечить!

И я, глядя ей прямо в глаза, сказала:

– Значит, ты хочешь, чтобы мы сбежали отсюда?

Сначала она сделала вид, что не поняла, и произнесла с той же натушной веселостью:

– Конечно, вроде бы далековато, но на самом деле это только так кажется. Да и тетя Жюльетт будет очень рада с нами повидаться.

– По-твоему, нам лучше сбежать из-за того, что люди болтают? – не сдавалась я. – Будто ты фашистская шлюха?

Мать вспыхнула и резко воскликнула:

– Ты не должна слушать всякие сплетни! Ничего хорошего в этом нет!

– Нет? Значит, все это неправда? – обронила я просто для того, чтобы сбить ее с толку.

Я же знала, что неправда, даже представить себе не могла, что это может быть правдой. Я же видела настоящих шлюх. Все они были розовые, пышнотелые, довольно хорошенькие, с большими скучающими глазами и накрашенными губами – похожие на тех актрис из журналов Ренетт. Шлюхи то и дело хохотали и взвизгивали, носили туфли на высоких каблуках и держали в руках кожаные сумочки. А наша мать была старой, уродливой и раздражительной. Она, даже когда смеялась, все равно выглядела безобразной.

– Конечно неправда!

Но в глаза она мне ни разу не посмотрела. И я упрямо продолжила допрос:

– Тогда зачем нам убегать?

Мать не ответила. Как раз в этот момент во внезапно наступившей тишине раздался первый грозный гул собравшейся снаружи толпы, звон металла, глухие удары ногами в дверь – это все было еще до того, как в наши ставни полетел первый камень. Гул был голосом Ле-Лавёз, полным мстительного гнева и мелочной злобы; казалось, жители деревни перестали быть отдельными людьми, там больше не было Годенов, Лекозов, Трюрианов, Дюпре, Рамонденов, все они превратились в воинов единого войска. Осторожно выглянув в окно, мы увидели их: человек двадцать или тридцать у наших ворот, а может, и больше; в основном мужчины, но было и несколько женщин. Некоторые держали в руках фонари и факелы, и это напоминало недавнюю процессию по случаю праздника урожая, только у

многих карманы были набиты камнями. Мы, как зачарованные, уставились на них в кухонное окно; свет из него широкой полосой падал через весь двор. Вдруг Гильерм Рамонден, тот самый, с деревянной ногой, запустил камнем прямо по нашему освещенному окну, и от старой деревянной рамы посыпались щепки, а осколки стекла разлетелись по всей кухне. Лицо Рамондена в мерцающем красноватом свете факелов было почти неузнаваемым, но я даже сквозь стекло почувствовала, какой тяжелой волной обрушилась на меня его ненависть.

– Сука! – Голос его тоже можно было узнать с трудом, так хрипло он звучал, и явно не только от пьянства. – Выходи, сука, пока мы сами в твой дом не ворвались да тебя не поимели!

Вслед за этими словами вновь послышался невнятный рев, громкий топот ног, затем дикие вопли, и по нашим не полностью закрытым ставням застучали мелкие камни и комья глины.

Приоткрыв половинку разбитого окна, мать высунулась наружу и крикнула:

– Ступай домой, Гильерм, дубина стоеросовая, пока еще стоять можешь! Не то тебя людям нести придется!

В толпе засмеялись, слышались шутки. Гильерм потряс в воздухе костылем, на который опирался, и снова заорал во всю глотку:

– Что-то ты больно осмелела, сука немецкая! – Язык у него явно заплетался, фразы он произносил невнятно. – Кто им насчет Рафаэля-то стукнул, а? Кто про «La Rére» им рассказал? Уж не ты ли, Мирабель? Разве не ты эсэсовцам донесла, что это наши люди твоего любовника прикончили?

Мать снова высунулась из окна и ловко плюнула Гильерму прямо в рожу.

– Осмелела я, говоришь? – Голос у нее пронзительно зазвенел. – Только не тебе судить, Рамонден-смельчак! У тебя-то самого смелости только на то и хватило, чтобы в пьяном виде явиться под окна честной женщины и пугать ее детей! Впрочем, ты и на фронте куда каким смельчаком себя показал – через неделю домой вернулся! А мой муж там голову сложил!

Придя от этих слов в дикую ярость, Гильерм взревел, как бык, и его тут же поддержал хриплый вой толпы. По окнам вновь застучали камни и комки глины. Пол на кухне был весь засыпан землей.

– Ах ты, сука! – орал Гильерм.

Толпа уже вливалась в ворота, легко сорвав их с проржавевших петель. Наш старый пес пару раз тявкнул, потом вдруг пронзительно взвизгнул и

умолк.

– Не надейся, что нам ничего не известно! Не надейся, что Рафаэль никому ничего не успел сказать! – Рев Гильерма, торжествующий, полный ненависти, перекрывал все прочие голоса. В красноватой полутьме за окном сверкали его глаза, отражавшийся в них огонь мерцал и переливался, точно стеклышки адского калейдоскопа. – Мы знаем, Мирабель, что ты давно с ними в сговоре! Мы в курсе, что этот Лейбниц был твоим любовником!

Мать прямо из окна выплеснула полный ушат воды на тех, кто осмелился подойти совсем близко.

– Остынь, дурак! – в бешенстве крикнула она. – По-твоему, все только об одном и думают? По-твоему, все такие, как ты?

Но Гильерм уже ломился к нам в дверь, яростно колотя в нее костылем, и материны угрозы были ему нипочем.

– Выходи, сука! Знаем мы, чем ты с бошами занималась!

Я видела, как под его могучими ударами содрогается запертая на засов дверь. Мать повернулась к нам, лицо ее пылало гневом.

– Быстро сложите свои вещи. И достаньте из-под раковины коробку с деньгами. Документы только не забудьте.

– Но зачем? Мы ведь...

– Быстро! Делайте, как я говорю!

Мы кинулись собираться.

Сначала раздался жуткий грохот, от которого вздрогнули в доме все прогнившие половицы, и я решила, что рухнула входная дверь. Мы снова бросились на кухню и обнаружили, что мать забаррикадировала дверь, придвинув к ней буфет и переколовив при этом большую часть своих драгоценных тарелок. Затем к двери подтащили и обеденный стол, так что, если б даже буфет и удалось сместить, в кухню все равно никто бы не протиснулся. В руках у матери оказался отцовский дробовик.

– Кассис, быстро проверь заднюю дверь, – скомандовала она. – Вряд ли они уже вспомнили о ней, но мало ли. Рен, останься со мной. А ты, Буаз...

Она как-то странно на меня посмотрела и некоторое время не сводила с меня своих черных, сверкающих, непроницаемых глаз. Но отдать мне распоряжение не успела: в дверь со страшной силой ударили чем-то тяжелым, высадив верхнюю филенку и расщепив дверную раму, и теперь сквозь эту дыру виднелось темное ночное небо. Затем на фоне неба появились физиономии нападающих, красные от ярости и огня. Задние напирали; такие же красные рожи выглядывали из-за плеч тех, кто стоял

впереди. Но самая мерзкая, прямо-таки звериная, искаженная свирепым оскалом морда была у Гильерма Рамондена.

– Ты, сука, от нас в своей норе не спрячешься! – выдохнул он. – Мы все равно тебя оттуда выкурим! Ты у нас за все заплатишь! Заплатишь за то... что ты сделала... с моим...

Даже в те мгновения, когда рушился ее дом, мать сумела сохранить язвительный тон; она даже расхохотаться ему в лицо сумела.

– С твоим отцом, да? – отозвалась она звонко и насмешливо. – С твоим отцом, святым мучеником Франсуа? С нашим героем? Не смей меня! – Она подняла дробовик, чтобы Гильерм мог его видеть. – Твой отец был жалким старым пьяницей и по пьяному делу вечно носил мокрые портки! Твой отец...

– Мой отец был бойцом Сопротивления! – злобно взвизгнул Гильерм. – А иначе с чего ему было к Рафаэлю-то ходить? И с чего бы немцам было его арестовывать?

Мать снова обидно расхохоталась и переспросила:

– Ах, так он, оказывается, боец Сопротивления? И старый Лекоз тоже? Ну еще бы! Уж он-то, несомненно, участвовал в Сопротивлении! И бедняжка Аньес тоже! И Колетт!

Гильерм впервые несколько утратил воинственный пыл, а мать шагнула к сломанной двери, вскинула ружье и продолжила:

– Послушай меня, Рамонден, ничего за свои слова не требую, даром отдам. Твой отец – такой же боец Сопротивления, как я – Жанна д'Арк. Этот жалкий старый пьяница просто слишком много болтал, а больше он ни на что, пока не выпьет, способен не был. Не повезло ему – оказался не в том месте не в то время, в точности как вы сейчас, идиоты. Так что лучше отправляйтесь-ка все по домам! Все, все! – Она один раз выстрелила в воздух и снова пронзительно выкрикнула: – Все, я сказала!

Но Гильерм был упрям. Он вздрогнул, когда после выстрела какая-то щепка оцарапала ему щеку, однако головы не опустил и произнес, словно вмиг протрезвев:

– Но ведь кто-то же убил того боша? Кто-то же его казнил? Кто, если не бойцы Сопротивления? А потом кто-то выдал их эсэсовцам. Кто-то из нашей деревни. Кто же это мог быть, если не ты, Мирабель? Кто, кроме тебя, мог это сделать?

Мать рассмеялась. Я хорошо видела ее лицо, разгневившееся от гнева и ставшее почти красивым. Ее любимая кухня лежала в руинах. И среди этих руин ее хохот показался мне поистине ужасным.

– Ты хочешь знать, Гильерм? – В ее голосе появилась какая-то новая

нота, почти радостная. – Ты точно не уйдешь домой, пока не узнаешь? – Она снова выстрелила, теперь уже в потолок; вниз облаком посыпалась штукатурка, похожая в отблесках огня на окровавленный пух. – Твою мать! Ты действительно хочешь знать?

Гильерм вздрогнул – скорее, правда, от бранных слов, чем от выстрела. В те времена мужчинам вполне разрешалось ругаться, но чтобы женщина, во всяком случае приличная женщина, сквернословила? Это было совершенно немыслимо! И я понимала: этим мать сама себе вынесла приговор. Однако она, кажется, не закончила.

– А хочешь, Рамонден, я открою тебе всю правду, хочешь? – Ее жаркая речь постоянно прерывалась смехом. У нее, должно быть, начиналась истерика, но в тот момент я была совершенно уверена, что она по-настоящему вовсю веселится. – Хочешь послушать, как в действительности было дело? – И она радостно ему кивнула. – Мне вовсе не требовалось ни на кого доносить немцам, Рамонден. Отгадай, почему? Потому что это я убила Томаса Лейбница! Да, это я убила его! Что, не веришь? Его убила я! – И снова раздался сухой треск выстрела, хотя оба ствола были уже пусты. Красно-черная тень матери, скачущая по полу кухни, казалась мне огромной. Голос ее то и дело срывался в пронзительный крик. – Что, легче тебе от этого, Рамонден? Да, я убила его! Да, я была его шлюхой, но ничуть не жалею об этом. А потом убила его. И убила бы еще раз, если б пришлось. Я бы тысячу раз убила его! Ну, отвечай, Рамонден! Что ты, черт побери, об этом думаешь?

Она все еще что-то выкрикивала, когда на пол кухни приземлился первый горящий факел. Он быстро потух, но Рен, стоило ей увидеть огонь, сразу завизжала. От второго факела вспыхнули занавески, третий поджег полуразвалившийся буфет. Рожа Гильерма в дыре больше не появлялась, но я слышала, как он где-то там, снаружи, командует нападающими. В кухню влетел еще один факел, даже не факел, а подожженный пук соломы, очень напоминавший часть того трона, на котором совсем недавно восседала Королева урожая; этот огненный снаряд пронесся над буфетом и, дымясь, упал на пол. Мать, кажется, совершенно утратила власть над собой и все продолжала истерически повторять: «Да, это я убила его, подлые трусы! Все вы трусы! А я убила его и рада, что сделала это! Я и вас убью, каждого, каждого, только попробуйте тронуть меня и моих детей!» Кассис попытался взять ее за руку, но она так его оттолкнула, что он отлетел к стене.

– Давай к задней двери! – велела я брату. – Надо через заднюю дверь выбираться отсюда.

– А если они уже там? – захныкала Рен.

– Если, если! – нетерпеливо передразнила я сестру.

Снаружи доносились вопли и улюлюканье, казалось, разбушевавшаяся ярмарочная толпа вдруг превратилась в стаю диких зверей. Я схватила мать за одну руку, брат – за другую, и мы вместе потащили ее, все еще что-то истерически бормочущую и смеющуюся, в заднюю часть дома. Конечно, там нас уже ждали. Их лица, красные в свете факелов, тоже, казалось, пылали. Первым нам преградил путь Гильерм; рядом с ним тут же возникли мясник Лекоз и Жан-Марк Уриа, немного смущенный, но хищно, во весь рот улыбающийся. То ли они и впрямь упились вдрызг, то ли все еще осторожничали, готовясь к убийству и, точно дети, подзадоривая и подначивая друг друга. Они уже подпалили курятник и сарай для коз. В воздухе висела вонь горящих перьев, смешиваясь с холодным туманом.

– Никуда вы отсюда не уйдете, – грозно заявил Гильерм.

А за спинами у нас был дом, где разгорался пожар, который словно что-то шептал и чихал, словно отфыркивался.

Мать, молниеносным движением перевернув двустволку, с силой ударила Гильерма прикладом в грудь. Он упал, и толпа на мгновение расступилась. Я бросилась в образовавшийся узкий проход, расталкивая людей локтями и что было сил пробиваясь сквозь густой лес чужих ног, палок и вил. Кто-то схватил меня за волосы, но я, изворотливая, как угорь, сумела вырваться и снова ввинтилась в разгоряченную толпу. Люди напирали со всех сторон, и я чуть не задохнулась, зубами и когтями прокладывая себе путь; я почти не чувствовала сыпавшихся на меня ударов, пытаясь вырваться на открытое пространство и вдохнуть воздуха. Наконец, выбравшись из толпы, я сбежала куда-то во тьму и укрылась в саду среди высоких голых стеблей малины. Далеко позади слышался голос матери, в котором по-прежнему не было ни капли страха – только гнев, только ярость зверя, защищающего своих детенышей.

Противный запах дыма все усиливался. В передней части дома что-то с оглушительным треском рухнуло, и даже до меня донеслась волна страшного жара. Кто-то тонко истошно закричал, по-моему Рен.

Толпа казалась мне какой-то непонятной, бесформенной массой, исполненной ненависти. Ее черная тень в отблесках пламени доползла уже до малинника и даже дальше. А позади толпы с грохотом обвалилась часть крыши, вверх взвился сноп искр, над домом возник столб красного раскаленного воздуха, напоминавший огненный гейзер; внутри этого столба плясали огненные обломки, точно шутихи на фоне темно-серого ночного неба.

Из толпы вдруг вынырнула чья-то фигурка и бросилась через поле. Кассис! Он метнулся в заросли кукурузы, и я догадалась, что он направляется к Наблюдательному посту. Двое или трое преследователей попытались догнать его, но горящая ферма все же интересовала их гораздо больше, ведь пожар – зрелище всегда притягательное. Кроме того, добраться-то они стремились прежде всего до нашей матери. Сквозь вой толпы и треск пожара я слышала ее голос.

– Кассис! Рен-Клод! Буаз! – отчаянно звала она.

Я привстала в малиннике, готовая в любую секунду сорваться с места, если кто-нибудь двинется в мою сторону. Потом, приподнявшись на цыпочки, я мельком увидела мать. Она была похожа на огромную рыбину, глубоководное чудище из тех историй, что так любят рассказывать рыболовы, – загнанная в сеть, она все еще яростно сражалась, сопротивлялась; ее лицо, перепачканное кровью и сажей, в отблесках пожара казалось красно-черным. Я успела разглядеть еще несколько лиц: ханжеское личико Франсины Креспен с кроткими, как у овцы, глазками было искажено ненавистью, рот открыт в диком вопле; а старый Гильерм Рамонден и вовсе выглядел точно восставший из ада. Теперь к их ненависти примешивался суеверный страх, который они могли изгнать, только разрушая и убивая. Далеко не сразу они до этого дошли, но их время все же настало, и они превратились в убийц. Я заметила, как от толпы отделилась Ренетт и нырнула в кукурузу. Никто даже не пытался ее перехватить. Они по большей части были уже настолько ослеплены жадой крови, что и не сообразили толком, кто эта девушка.

Мать упала. Возможно, мне показалось, но, по-моему, чья-то единственная рука все же поднялась на ее защиту среди искаженных злобой лиц. Все происходило как в одной из книжек Кассиса «Нашествие зомби» или «Долина каннибалов». Не хватало только туземных тамтамов. Но страшней всего было то, что все эти лица, которые мне порой удавалось различить в кроваво-красном полумраке, были мне хорошо знакомы. Я видела там отца Поля и Жаннетт Креспен – ту самую, что чуть не стала Королевой урожая, – шестнадцатилетнюю девочку с перепачканным чужой кровью лицом. И даже наш святой агнец, отец Фроман, тоже явился, хоть и невозможно было сказать, пытается он восстановить порядок или сам участвует во всеобщем хаосе. Мою мать били по голове и по спине кулаками и палками, а она сжалась в комок, в кулак, точно пыталась своим телом заслонить младенца, которого держит на руках, и продолжала что-то гневно и презрительно выкрикивать. Вот только слов ее было почти не разобрать из-за навалившихся на нее разгоряченных тел; ее протесты

попросту тонули в море чудовищной людской ненависти.

И тут прозвучал выстрел.

Услышали его все, несмотря на адский шум; стреляли явно жаканом, скорее всего из двустволки, а может, из какого-нибудь допотопного ружья, какие до сих пор еще хранятся в деревенских домах – на чердаке или в подполе – чуть ли не по всей Франции. Стреляли в воздух, но Гильерм Рамонден, которому почудилось, что шальная пуля просвистела мимо его щеки, тут же со страху обмочился. Все завертели головами, пытаются понять, откуда прилетела пуля, однако в темноте никто ничего не видел. Моя мать, воспользовавшись тем, что палачи, безжалостно молотившие ее, вдруг разом замерли, стала ползком выбираться из толпы, вся израненная, окровавленная. На теле у нее было более десятка глубоких ран, волосы во многих местах выдраны с мясом, кисть руки насквозь проткнута палкой, так что рука с растопыренными пальцами повисла плетью.

Внезапно наступила такая тишина, что были слышны лишь звуки пожара – страшные, библейские, апокалипсические. Люди замерли, выжидая и вспомнив, возможно, треск ружей во время расстрела у церковной стены. И души их содрогались при виде сотворенной ими кровавой расправы. Как раз в эту минуту – то ли со стороны кукурузного поля, то ли со стороны горящего дома, а может, и прямо с небес – раздался голос, мужской, звучный, повелительный, такого голоса невозможно было не послушаться:

– Оставьте их в покое!

Мать все продолжала ползти. И толпа смущенно расступалась перед нею, точно пшеница под ветром.

– Оставьте их в покое! Расходитесь по домам!

Впоследствии люди утверждали, что голос вроде был знакомый. И выговор местный, но кто это был, толком определить так и не сумели. Кто-то истерически воскликнул: «Это же Филипп Уриа!» Но Филипп был мертв. По толпе пробежала дрожь. А мать тем временем уже достигла края поля и, словно бросая своим мучителям вызов, поднялась на ноги. Кто-то ринулся было к ней, пытаясь задержать, но, видно, передумал. Отец Фроман проблеял нечто жалкое, призывая к миру и порядку. Прозвучала еще пара злобных выкриков, которые тут же и погасли в холодном, суеверном молчании толпы. Дерзко поглядывая на наших мучителей и стараясь держаться к ним лицом, я стала осторожно пробираться к матери, отчетливо чувствуя их общую злобу и ненависть; лицо мое горело от жара, в глазах отражались языки пламени, плясавшие над нашим домом. Подойдя к матери, я взяла ее за здоровую руку.

Перед нами простиралось огромное кукурузное поле Уриа. Мы молча нырнули в кукурузу. И никто за нами не последовал.

А потом мы – Кассис, я и Ренетт – перебрались к тете Жюльетт. Мать пробыла там всего неделю и куда-то исчезла – под тем предлогом, что ей необходимо поправить здоровье; но, по-моему, ее гнало чувство вины, а может, и страха. После этого мы видели ее всего несколько раз. Как мы поняли, она сменила фамилию, вернувшись к своей девичьей, и уехала на родину, в Бретань. Все прочие подробности ее жизни были нам известны весьма смутно. Я слышала, что она вполне благополучно существует за счет своей фирменной выпечки. Кулинария всегда была ее главной любовью. Несколько лет мы жили у тети Жюльетт, потом при первой же возможности тоже разбрелись кто куда; Рен попыталась пристроиться в кино, о котором столько лет грезил, Кассис сбежал в Париж, а я – в замужество, довольно скучное, но уютное. Затем мы узнали, что наш дом в Ле-Лавёз пострадал от огня лишь частично, выгорела его передняя часть, а хозяйственные постройки на ферме оказались и вовсе почти не тронуты огнем. В принципе можно было бы вернуться, но известие о расстреле в Ле-Лавёз уже стало достоянием гласности, как и то, что наша мать признала свою вину в присутствии четырех десятков свидетелей. Ее слова: «Да, я была его шлюхой, но ничуть не жалею об этом... Его убила я... Я бы тысячу раз убила его!», как и те чувства, которые она прилюдно выразила по отношению к своим землякам, оказались вполне достаточными доказательствами ее вины. И люди вынесли ей соответствующий приговор. А десяти мученикам, Жертвам Великой Резни, воздвигли памятник, и по прошествии времени, когда этот памятник уже превратился в достопримечательность, когда боль утраты и весь тот ужас несколько улеглись, стало совершенно ясно: враждебное отношение к Мирабель Дартижан и ее детям поселилось в Ле-Лавёз навсегда. Так что мне пришлось посмотреть правде в глаза: в родной дом мне уже никогда не вернуться. Никогда. И в течение очень долгого времени я отгоняла от себя любую мысль о том, как сильно по нему скучаю.

Кофе еще кипит на плите. Его горьковатый аромат будит ностальгические воспоминания, точно запах горелых осенних листьев; и пар, исходящий от кофе, тоже почему-то пахнет дымом. Я пью его очень сладким, испытывая потребность подкрепиться, как после тяжелого потрясения. По-моему, теперь я начинаю понимать, что тогда чувствовала мать – ее неистовое стремление к свободе, ее желание от всего отрешиться.

Все уже уехали. Уехала та девушка с крошечными диктофонами и целой горой кассет, уехал фотограф. И даже Писташ уехала домой – впрочем, по моему же настоянию; но я все еще ощущаю, как ее руки обнимают меня, как ее губы касаются моей щеки. Моя милая добрая девочка! Я так долго пренебрегала ею из-за неразумной любви к другой своей дочери, злой. Но люди меняются. В конце концов, теперь я могу откровенно общаться и с тобой, моя дикарка Нуазетт, и с тобой, моя ласковая Писташ. Теперь я могу обнять вас и не испытывать того жуткого чувства, будто меня засасывает речной ил. Старая щука наконец-то мертва, проклятию ее пришел конец. Теперь уже никакой беды не случится, даже если я осмелюсь по-настоящему любить вас.

Вчера вечером Нуазетт перезвонила мне. Голос ее звучал напряженно, осторожно – впрочем, и мой, наверно, не лучше; я легко могла себе представить, как она стоит, опершись о стойку бара, отделанную плиткой, поза у нее в точности как у меня, а на узком лице сплошная подозрительность. Да и в словах ее было мало тепла; они летели ко мне через тысячи холодных миль, с трудом пробиваясь сквозь напрасно потраченные годы; но порой, когда она говорила о своем малыше, в ее голосе слышалось нечто иное. Подобное зарождающейся нежности. И радость вспыхивала в моей душе.

В свое время я непременно все ей расскажу, но не сразу – понемногу, потихоньку, постепенно приучая ее к себе. В конце концов, теперь я могу себе позволить быть терпеливой, а это я отлично умею. В определенном смысле для Нуазетт моя история, возможно, важнее, чем для кого бы то ни было другого; и уж конечно, гораздо важнее, чем для публики, которая с таким удовольствием поглощает любые новости, особенно скандальные, и обожает рыться в чужом старом белье. Нуазетт эта история нужна даже больше, чем Писташ. Писташ не выносит размолвок. Она воспринимает людей такими, какие они есть, честно и по-доброму. А Нуазетт необходимо

самой все узнать и понять; эта история и ее дочери Пеш будет полезна – я ведь не хочу, чтобы призрак Старой щуки вновь поднял голову. Хватит с Нуазетт и ее собственных демонов. Надеюсь, я теперь больше не вхожу в их число.

Сейчас, когда все уехали, дом кажется странно пустым и каким-то безлюдным. Сквозняк гоняет по плиткам пола несколько сухих листьев. И все же совсем одинокой я себя не чувствую. Смешно – неужели в этом старом доме обитают какие-то призраки? Я прожила здесь столько лет, но ни разу не замечала их присутствия, а вот сегодня мне почему-то все кажется... что там, в темном углу, кто-то есть; там действительно ощущается чье-то спокойное, тихое, почти незаметное, почти покорное присутствие; и этот неведомый некто словно чего-то ждет...

Я даже сама удивилась, как резко прозвучал мой голос:

– Кто там? Ну? Я, кажется, спросила, кто там!

Явственно звенящий в моем голосе металл гулким эхом отдавался от голых стен, от вымощенного плиткой пола. И тут из темного угла на свет вышел он. Я чуть не расхохоталась, увидев его, хотя, пожалуй, больше всего мне хотелось расплакаться.

– Твой кофе очень неплохо пахнет, – как всегда негромко, заметил он.

– Господи, Поль! И как только ты ухитрился так тихо войти?

Он усмехнулся и промолчал.

– Я уж подумала, что ты... я думала...

– Ты слишком много думаешь, – мягко оборвал меня Поль и направился к плите.

В неярком свете лампы его лицо казалось каким-то золотисто-желтоватым, а вислые усы придавали ему несколько скорбное выражение, впрочем противоречившее тем веселым искоркам, что плясали у него в глазах. Я попыталась представить себе, какую часть того, что я поведала девушке-журналистке, он сумел подслушать, сидя в темном углу. Я ведь совсем не принимала его в расчет.

– И слишком много говоришь, – прибавил он, довольно, впрочем, дружелюбно, наливая себе кофе. – Я уж боялся, ты целую неделю будешь тараторить без умолку, судя по началу.

Он быстро на меня взглянул и хитровато улыбнулся.

– Мне было нужно, чтобы они поняли, – сухо пояснила я. – И Писташ...

– А люди вообще понятливей, чем тебе кажется. – Он шагнул ко мне и погладил меня по щеке. От него хорошо пахло кофе, этот запах перебивал

даже застарелую табачную вонь, исходившую от его куртки. – Зачем ты вообще так долго пряталась? Что хорошего в том, чтобы от всех таиться?

– Просто... о некоторых вещах я никак не могла рассказать, – дрогнувшим голосом произнесла я. – Ни тебе, ни кому-либо другому. Я опасалась, что Расскажи я об этом, и весь мой мир тут же рухнет. Тебе просто не понять, ты ведь никогда ничего такого не совершал...

Он засмеялся, весело, легко.

– Ох, Фрамбуаза! Значит, вот какого ты обо мне мнения? Считаешь, что я не умею хранить секреты? – Он ласково сжал мою грязноватую ладошку в своих руках. – Что я настолько глуп, что своих секретов у меня попросту и быть не может?

– Я вовсе так не думаю... – начала оправдываться я, понимая, что он прав: господи, я ведь действительно именно так и думала!

– Ты до сих пор уверена, что весь мир способна нести на своих плечах, – прервал меня Поль. – Ладно, теперь послушай меня. – И в его речи вдруг вновь послышался сильный местный акцент, а в некоторых местах он даже заикался, почти как в детстве, и от этого будто неожиданно помолодел. – Буаз, ты помнишь те анонимные письма? Ну, такие совершенно безграмотные? А надпись на двери курятника помнишь?

– Да, – ответила я.

– А ты помнишь, как она п-прятала эти п-письма, стоило вам войти в комнату? Помнишь, как ты мигом соображала, что она получила очередное письмо? Тебе достаточно было взглянуть на ее лицо, и все сразу становилось ясно. А как она топала ногами, пугалась, гневалась, пылала ненавистью – именно потому, что боялась и сердилась? И как ты порой ненавидела ее – ненавидела так сильно, что собственными руками готова была убить?

Я кивнула.

– Это все я, – просто сообщил Поль. – Я написал их все. Все до одного. Сам. Спорим, вы даже не догадывались, что я умею писать, верно? Сколько же сил я положил на это, и до чего же гнусно все вышло! А я ведь просто надеялся отомстить. Потому что она назвала меня кретином – при всех. При тебе, при Кассисе и при Рен-К-к-к... – Его лицо исказилось от отчаяния, он весь побагровел, но имя моей сестры не получалось. Вдруг он взял себя в руки и совершенно спокойно закончил фразу: – И при Рен-Клод.

– Понятно...

Конечно понятно! Любая загадка кажется ясной как день, если знаешь отгадку. Я вспомнила, каким становилось лицо Поля всякий раз, как поблизости оказывалась Рен; как он при ней краснел и заикался, как

надолго умолкал; а ведь, бывая со мной, он вообще почти не заикался, и голос у него звучал совершенно нормально. Я вспомнила тот его взгляд, полный острой, неприкрытой ненависти, когда мать в сердцах бросила ему: «Да говори ты как следует, кретин чертов!», и тот странный шлейф горя и ярости, который тянулся следом за ним, когда он убегал от нас через поле к реке. Я вспомнила, как Поль иногда со странной сосредоточенностью смотрел через плечо Кассиса на страницы его комиксов – это Поль-то, который, как мы все считали, ни слова не может прочесть. Я вспомнила его оценивающий взгляд, когда я разделила апельсин на пять четвертинок, и то странное чувство, которое всегда появлялось у меня возле реки: мне постоянно казалось, что за мной кто-то наблюдает. Так было даже в тот самый последний раз, в самый последний день, который я провела с Томасом. Даже тогда, боже, даже тогда!

– Я и не предполагал, что все так далеко зайдет. Я просто хотел, чтобы она пожалела о своих словах. А всего остального – нет, не хотел, конечно. Кто ж его знал, что оно так получится. Ведь часто бывает – поймаешь слишком большую рыбу, а она того и гляди тебя за собой утянет вместе с удочкой. Я, правда, попытался под конец что-то исправить. Честно.

Я уставилась на него во все глаза.

– Господи, Поль! – Меня все это настолько потрясло, что я даже рассердиться не могла; да во мне и не осталось, пожалуй, места для гнева. – Это ведь был ты, верно? Это ты в ту ночь стрелял из ружья? Ты прятался в поле?

Поль кивнул. А я все смотрела и смотрела на него, словно впервые видела.

– Значит, ты все знал? Столько лет прошло – и ты все знал?

Он пожал плечами.

– Вы все меня чуть ли не за придурка держали. – В его голосе я не услышала ни капли горечи. – Думали, у меня прямо под носом все, что угодно, можно делать, а я не замечу. – Он улыбнулся, как всегда неторопливо и чуть печально. – Ладно, уж теперь-то все ясно. Во всяком случае, между нами. Теперь все в прошлом.

Я пыталась мыслить трезво, но факты сопротивлялись, отказывались вставать на свои места. Столько лет я считала, что всю эту историю с надписями заварил Гильерм Рамонден. Тот самый, что возглавил толпу в ночь пожара. Или, может, Рафаэль. В общем, кто-то из тех семей. Но выяснить теперь, что это дело рук Поля, моего собственного милого медлительного Поля, которому тогда едва двенадцать исполнилось и он был такой открытый и чистый, как летнее небо... Однако именно он,

оказывается, все это начал, он же все это и закончил с жестокой неизбежностью смены времен года. Обретя наконец дар речи, я сказала совсем не то, что собиралась, и мой вопрос, кажется, удивил нас обоих:

– Ты очень любил ее?

Мою сестру Ренетт с высокими скулами и блестящими кудрями. Королеву урожая с ярко накрашенными губами, в короне из ягод, со снопом пшеницы в одной руке и корзинкой яблок в другой. Именно такой я и сама всегда ее помню. Этот образ навеки врезался в мою память. И я вдруг ощутила укол ревности. Неожиданно и прямо в сердце.

– Наверно, так же, как ты любила его, – тихо промолвил Поль. – Как ты любила Лейбница.

Какими же дураками мы были в детстве! Жестокими, полными глупых надежд дураками. Я всю жизнь мечтала о Томасе, все годы замужества, проведенные в Бретани, и все годы вдовства – все эти годы я мечтала о таком, как Томас, с его беспечным смехом, с пронзительным взглядом серых, цвета речной воды, глаз; о Томасе моей мечты. Ты, Томас, только ты – навсегда. Проклятие Старой щуки оставило в душе страшную рану.

– Мне, как ты понимаешь, потребовалось какое-то время, чтобы превозмочь это, – продолжал Поль, – но я справился. И отпустил свою любовь. Это все равно что плыть против течения: только изматывает. А потом, какой бы ты ни был силач, тебе все равно приходится прекратить сопротивление и позволить всему идти своим чередом, и тогда река просто приносит тебя домой.

– Домой...

Мне показалось, что голос мой звучит странно. Я чувствовала, какие у него теплые ладони, по-прежнему нежно сжимавшие мои руки, теплые, чуть грубоватые, как шкура старого пса. Я вдруг странным образом посмотрела на нас обоих как бы со стороны: стоят, освещенные последними лучами гаснущего заката, точно постаревшие и поседевшие Ганзель и Гретель перед пряничным домиком ведьмы, когда им наконец-то удалось закрыть за собой ту заколдованную дверцу.

Только перестань сопротивляться – и река сама принесет тебя домой. Господи, неужели так просто?

– Мы с тобой долго ждали, Буаз.

– Слишком долго! – воскликнула я, отворачиваясь.

– А мне так не кажется.

Я глубоко вздохнула, собираясь с силами: да, теперь самое время. Пора наконец объяснить ему, что все кончено, что ложь между нами чересчур застарела – не удалишь, и чересчур велика – не перепрыгнешь; что мы,

увы, сильно постарели; что это даже смешно, что это попросту невозможно, и, ради бога, это же...

И тут он поцеловал меня. В губы. И не застенчиво, не по-стариковски, а настоящим мужским поцелуем, отчего я вся задрожала, смутилась, рассердилась и, как ни странно, преисполнилась надежды. А он с сияющими глазами уже что-то неторопливо доставал из кармана, что-то яркое, блестящее, желто-красное, отражающее свет лампы... Ожерелье из диких яблочек!

Я уставилась на него. Он аккуратно и бережно надел на меня ожерелье, и оно легло мне на грудь. Круглые маленькие яблочки сияли.

– Королева урожая, – прошептал Поль. – Framбуаза Дартижан. Только ты.

Дикие плоды, согревшиеся на моей груди, источали приятный терпкий запах.

– Я слишком старая, – дрожащим голосом возразила я. – Да и слишком поздно.

Поль снова поцеловал меня – сначала в висок, потом в уголок губ – и вытащил из кармана косу, сплетенную из желтой соломы; свернул ее и водрузил мне на голову, как корону.

– Домой вернуться никогда не поздно, – сказал он и с нежной настойчивостью привлек меня к себе. – Нужно только перестать плыть против течения.

Это верно: плыть против течения не имеет смысла – только изматывает. Я повернулась к нему и уютно, точно в подушку, уткнулась лицом в ямку у него на плече. От висевшего у меня на шее яблочного ожерелья исходил острый и сочный аромат, как в те давние октябри нашего детства.

Свое возвращение домой мы отпраздновали крепким сладким кофе с круассанами и конфитюром из зеленых помидоров, сваренным по рецепту моей матери.

После «расшифровки» английский текст выглядит так: «I want to explain. I can not bear it any more». – «Я хочу объяснить. Я не могу больше это терпеть». *(Здесь и далее примечания переводчика.)*

Бретонские лепешки; блинный пирог по-бретонски (*фр.*).

Pistache – фисташка (*фр.*).

4

Noisette – лесной орех (*фр.*).

Вдова Симон (*фр.*).

Cassis (*фр.*) – черная смородина.

Framboise (*фр.*) – малина.

Reine-claude (слива-венгерка) (*фр.*).

Песочное тесто (*фр.*).

«Дурная репутация» (*фр.*).

«Блинчик с малиной» (*фр.*).

Подливка; здесь сироп (*фр.*).

«У Фрамбуазы» (*фр.*).

Обязательный, диктуемый существующими условиями или модой (фр.).

Мясные заготовки и паштеты (*фр.*).

Котлетки из мелкорубленной свинины или гусятины, обжаренные в сале (фр.).

Сухие колбаски домашнего приготовления (*фр.*).

Блинная (*фр.*).

«Хозяйка и кухня» (фр.).

Кускус по-провансальски, рагу из баранины в горшочке с тремя сортами фасоли (*фр.*).

Сладкий пирог из мирабели с миндалем (*фр.*).

Сырный хлеб (*фр.*).

Пирог с красной вишней (*фр.*).

Грета Гарбо – знаменитая американская актриса, звезда Голливуда, игравшая роли загадочных, роковых женщин; с 1941 г. перестала сниматься в кино и избегала появления на публике; в 1954 г. получила премию «Оскар».

Как женщина! Как женщина! (нем.).

Буйабесс по-анжуйски (*фр.*).

Toupet (*фр.*) – чуб, вихор.

Frousse ($\phi p.$) – cтpax.

Cul (*фр.*) – задница.

Эх, хороша клубничка! (нем.).

До чего вкусна, верно? (нем.).

Чудесно! (нем.).

Хорошая, да (нем.).

«Золоченый дворец» (*фр.*).

Черная кровяная колбаса (*фр.*).

Фруктовый пирог (*фр.*).

Καφε «La Mauvaise Réputation».

«Рыжая кошка» (*фр.*).

Содовая с сиропом и мятой (*фр.*).

Пиво, разбавленное лимонадом (*фр.*).

Doux (*фр.*) – добряк.

Имена образованы от слов *prune* (*фр.*) – слива и *ricotta* (*ит.*) – сыр рикотта.

Щука по-анжуйски и сырный хлеб (*фр.*).

«Суперзакуска» (англ.).

Бифштекс с жареной картошкой, 17 франков (*фр.*), сосиска с жареной картошкой, 14 франков (*фр.*).

«Сверхпитательные гамбургеры» (*англ.*).

Маленькая кружка пива (*фр.*).

Американский «бургер» (*фр.*).

Фаршированные белые грибы (*фр.*).

Святоши (фр.).

Рагу из кролика (*фр.*).

Лисичка (*фр.*).

Губчатый гриб, например белый, подосиновик, подберезовик (*фр.*).

Волнушка (*фр.*).

Пиво с колбасками и шницель (нем.).

Пряники, штрудель, духовка, фрикадельки или котлеты (нем.).

Игра в шары, особенно популярная на юге Франции.

Сливовая или терновая наливка (*фр.*).

Кальвадос (*фр.*).

Национальный праздник Франции, день взятия Бастилии.

«Жирный вторник», последний день карнавала перед Великим постом
(фр.).

Милая, любимая (нем.).

Кто здесь? (нем.).

Проклятье! (нем.).

Кто это был? (нем.).

Не знаю. Это за стеной (нем.).

Лейбниц, что я должен... (нем.).

Умолкни! (нем.).

Прекрасно, Францль. Он мертв (*нем.*).

Pêche (*фр.*) – персик.

Блюдо из чечевицы или крем-брюле (*фр*).

Черная кровяная колбаса (*фр.*).

От «collaborationniste» (*фр.*) – коллаборационистка.

Самый черный кофе (*фр.*).

Домашняя колбаса (фр.).

Господь милосердный! (нем.).

Домашняя колбаса (фр.).

Кровяная колбаса (*фр.*).

Стэн Лаурел (Лорел) – псевдоним Артура Стэнли Джефферсона (1890–1965), англичанина, в начале 1910-х переехавшего в США с труппой Ф. Карно. Оливер Харди (1892–1957) родился в Америке. Лаурел и Харди составляли комическую пару «толстый и тонкий»: толстый и вечно попадающий впросак Харди и маленький тощий Лаурел, которому все удается.

Бела Лугоши (1882–1956) – американский актер венгерского происхождения, классический исполнитель роли Дракулы. Хамфри Богарт (1899–1957) – знаменитый американский актер, снявшийся в таких фильмах, как «Судьба солдата в Америке» (1940), «Мальтийский сокол» (1941), «Касабланка» (1943), «Иметь и не иметь» по Хемингуэю (1944).

Фильм М. Карне «Смягчающие обстоятельства», 1939. Арлетти (настоящее имя Арлетт Леони Батиа) – французская актриса, работавшая в оперетте и мюзик-холле, а с 1931 г. снимавшаяся в кино, прежде всего в фильмах М. Карне; ее игре была свойственна психологическая тонкость и артистизм.

Мишель Симон – знаменитый французский актер, снимавшийся у таких знаменитых режиссеров, как Ж. Ренуар, М. Карне и Ж. Дювивье; особенно известен ролями в фильмах «Набережная туманов» (1938), «Красота дьявола» (1950) и «Дьявол и десять заповедей» (1962).

Джон Вайсмюллер (1904–1984) – американский спортсмен, пятикратный чемпион Олимпийских игр по плаванию (1924, 1928), установивший 24 мировых рекорда. Исполнитель главной роли в знаменитом фильме «Тарзан» (12 серий, 1932–1948).

Лиллиан и Дороти Гиш – сестры, знаменитые американские актрисы, которых еще в 1912 г. открыл миру режиссер Д. У. Гриффит; они получили известность благодаря своим ролям в немом кино, но в звуковых фильмах снимались крайне редко.

Глен Миллер (1904–1944) – американский тромбонист, композитор и руководитель знаменитого джаз-оркестра, вместе с которым снимался в фильме «Серенада Солнечной Долины» (1941) и выступал на фронте; погиб в авиационной катастрофе.